

М
О
С
К
В
А

Москва

8

1960

8

1960

Москва

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ
IV

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Василий Захарченко. ВРЕМЯ ШАГАЕТ ШИРОКО 3

Александр Абрамов. Я ИЩУ КИТЕЖ-ГРАД.
Повесть 6

Олесь Гончар. ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ. Роман.
Авторизованный перевод с украинского М. Алексеева
и И. Карабутенко. (Продолжение) 45

Эрнест Хемингуэй. ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕ-
РЕВЬЕВ. Роман. Перевод с английского Е. Голышевой
и Б. Изакова. (Продолжение) 88

СТИХИ

Сергей Смирнов. СВЯТОЕ ОДИНОЧЕСТВО.—
ПОЭТ.— ВЫСТРЕЛ.— ТРИБУНА.— ВОСХОЖДЕНИЕ. Из
«Книги посвящений» 133

Владимир Цыбин. ЩЕДРОСТЬ 135

Анатолий Поперечный. ЖЕНЩИНА С КОР-
ЗИНОЙ ЯБЛОК.— УХОД ЛЕТА 138

Поэты Осетии. Борис Муртазов. РАЗДУМЬЕ.— Ге-
оргий Кайтуков. УСАТЫЕ КОЛОСЬЯ.— Андрей Гулуев.
НА УТЕСЕ 139

Сергей Есенин. ЛЕБЕДУШКА. Неизвестная
поэма 140

ДЕЛА И ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ

Л. Арнаутов и Я. Карпов. ТАЙНА ЗОЛОТОГО
РУНА 142

ОЧЕРК

Вера Шапошникова. ПРЕЛЮДИЯ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ 148

8

Трибуна писателя

Леонид Соболев. СОВРЕМЕННОСТЬ И МАСТЕРСТВО	175
Григорий Медынский. ПУТИ И ПОИСКИ	184

ЧИТАТЕЛИ О ПОВЕСТИ ГРИГОРИЯ МЕДЫНСКОГО «ЧЕСТЬ»	194
---	------------

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. Перцов. О ТАЛАНТЕ И ЧУВСТВЕ ИСТОРИИ	200
Н. Маслин. ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА.— А. Эльяшевич. ОСКОЛКИ ВРЕМЕНИ	208

НАУКА И ТЕХНИКА НАШИХ ДНЕЙ

Леонид Шароль. ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	212
--	------------

СТРАНИЦЫ МИНУВШЕГО

Ал. Лесс. ГЕРОИ РАССКАЗА «СОЛОВЕЙ»	216
---	------------

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Л. Дарова. ОНИ УЧАТСЯ В МОСКВЕ.— А. Лазебников. ВЕТО ДОКТОРА СТРИЖАК.— М. Толмачев. ЛИФТ ВМЕСТО КРАНА.— Э. Шолок. ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОТРЯДА.— Бор. Надеждин. БАЛЕРИНА И СКУЛЬПТОР	218
---	------------

ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

А. Волков. МЕЖДУ СТРОК.— Евгений Осипов. КНОПКА.— М. Шульмейстер. ПОЧТИ С НАТУРЫ... Из альбома художника.— В. Андреев. СЛОН И МОСЬКА.— И. Шеферан. ЭПИГРАММЫ	
---	--

На вклейках:

Работы **Г. И. Окуловой-Теодорович.**

Молодость. Фото **Б. Бсяринского.**

А. Куприн среди своих друзей — итальянских артистов.
(С неизвестной фотографии).

Главный редактор **Е. Е. ПОПОВКИН**

Редакционная коллегия: **Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, Е. Ф. КНИПОВИЧ, В. А. КУЛЕМИН, Е. В. ЛЕБАКОВСКАЯ, А. В. НИКУЛИН, А. С. ОВАЛОВ** (зам. главного редактора), **С. А. САВЕЛЬЕВ, А. А. ЦЫГУЛЕВ** (зам. главного редактора), **П. К. ШАРИ, М. А. ШОЛОХОВ**

Художеств. редактор **Н. Бобкова**

Техн. редактор **Г. Дубман**

Адрес редакции: Москва Арбат 20, тел. Г 1-78-01

Подписано к печати 22/VII 1960 г. А 04194 Тираж 63 000 экз Формат бумаги 70 X 108^{1/16}. Печ. л. 14 = 19,18 усл. л. = 22,2 уч.-изд. л. + вкладка = 0,365 + вклейки = 23,187 уч.-изд. л. Заказ № 1725. Цена 6 руб.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

ВРЕМЯ ШАГАЕТ ШИРОКО

На заре становления нашего социалистического государства Владимир Ильич Ленин мечтал о наступлении «самой счастливой эпохи», когда с трибуны всенародных съездов выдающиеся ученые, рабочие и крестьяне, партийные и общественные деятели будут высказывать свои мысли по самым насущным проблемам жизни. Величайшая свобода волеизъявления, величайшие возможности претворения крупнейших планов и проектов в реальность — не это ли характеризует начало «самой счастливой эпохи»?

Не таким ли был только что закончившийся июльский Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза?

В Кремле собрались лучшие люди страны. Мужественные, одухотворенные лица, зрелые речи, твердая уверенность в будущем. Пленум превратился в яркую демонстрацию величия советского человека, благородства его устремлений. С волнением мы слушали ученых, партийных руководителей, хозяйственников и рабочих, поднимавшихся на трибуну.

Этот живой обмен мнениями продолжался в кулуарах. Здесь можно было видеть академика Несмеянова, беседующего с шахтером Мамаем, Валентину Гаганову, отвечающую на вопросы молодых работниц Сибири, и министра, за просто спорящего с членом бригады коммунистического труда.

В этой дружеской деловой беседе принимали участие члены Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, в перерыве между заседаниями гулявшие по Кремлевскому саду.

Ни на мгновение не замирала напряженная жизнь совещания. Всех волновала решающая проблема нашего времени — досрочное выполне-

ние семилетнего плана развития народного хозяйства.

Две крупнейшие задачи стоят сегодня перед нашим народом. Одна — это создание материально-технической базы коммунизма — организация такого производства материальных и технических благ, когда все достижения «процветающего» капитализма останутся позади. Другая задача, требующая большой тонкости и внимания, касается перестройки человеческой души, формирования человека коммунистического общества.

Творческим переплетением этих двух главных вопросов нашего времени и была пронизана вся работа исторического Пленума ЦК КПСС.

Время шагает широко... Советский человек — творец этого времени. Это он за истекшие полтора года семилетки повысил темпы роста производства, явился инициатором технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства, героическим трудом своим создал гарантию досрочного выполнения самых романтических наших планов — планов семилетки.

В мирном экономическом соревновании социализма с капитализмом мы можем одержать верх, только беспредельно повышая темпы технического прогресса. Все основания к этому у нас есть. Наука, вышедшая на первое место в мире, способна практически решить любую проблему. Высочайшая техника, которая органически пронизала все отрасли народного хозяйства.

Пленум обсуждал вопросы, связанные с рациональными методами организации труда и производства, с проблемами кооперирования предприятий, их специализацией. Центральная наша задача — выявление и полное использование всех возможностей науки и техники.

Вот почему с трибуны съезда мы слышали голоса ученых и производственников, руководителей предприятий и руководителей партийных организаций. Эти люди сознают свою ответственность за судьбы государства не по должности, а по велению сердца, по своему характеру и по тому, что с полной ответственностью мы называем сегодня *советским образом жизни*.

Есть много трудностей на пути внедрения нового. Взять, к примеру, сварку. Изобретение, сделанное много десятков лет назад выдающимся русским ученым Славяновым, хорошо известно. Именно в России сварка получила широкое распространение. Но когда сегодня мы встречаемся с достижениями одного лишь Украинского института электросварки имени Е. О. Патона, мы начинаем понимать, как еще много надо сделать, чтобы то новое, что уже внесено советской наукой в область сварки, стало повседневным методом строительства.

Почему же порой эти достижения так медленно внедряются в практику? Вот здесь и встает перед нами вторая половина проблемы — формирование коммунистического отношения к труду.

На Пленуме шел горячий разговор о роли новаторов труда, изобретателей, рационализаторов — этого беспокойного поколения творцов техники и науки, строителей коммунистического завтра. Ведь они, эти создатели нового, и являют собой пример творческого отношения к труду, подлинно государственного отношения ко всей жизни страны.

Время выдвигает перед советским человеком требование по-новому организовать производство, труд, еще с большей заинтересованностью относиться к творческим идеям, предложениям, достижениям.

Решающее значение для ускорения темпов технического прогресса имеет развитие машиностроения, средств комплексной механизации и автоматизации, которые должны опережать другие отрасли техники. Вот почему во всех отраслях производства взаимоотношение «человека

и машины» должно быть поставлено на уровень взаимоотношений при *коммунизме*.

Говоря о соревновании социализма с капитализмом, Ленин указывал, что победит та система, в которой производительность труда будет выше. Недавно я заинтересовался сопоставлением роста производительности труда. С 1913 года производительность труда в Америке выросла более чем в 2,5 раза, во Франции — в 2 раза, в Англии несколько меньше. В Советском Союзе за этот же период производительность труда выросла почти в 20 раз. Мы будем всемерно повышать темпы этого роста. Но интересно, что в этом процессе роста, который опирается на широчайшую механизацию и автоматизацию трудовых процессов, наступил период, когда организация производства несколько поотстала от самого промышленного производства — она также требует своеобразной «автоматизации».

На Пленуме шел разговор о необходимости широкого внедрения счетно-решающих и кибернетических устройств в планирование, учет, снабжение, в работу проектных организаций и организаций, руководящих промышленностью. И опять-таки вопросы эти логически сводились к новому пониманию взаимоотношений «человек и машина» в социалистических условиях. В откровенном разговоре выявились еще имеющиеся у нас недостатки. Внедрение новых машин проходит замедленно. Новое оборудование не всегда отвечает современным требованиям, не является комплексным. Есть недостатки и в осуществлении технического прогресса на транспорте.

Но здесь же на Пленуме подводились итоги и творческих достижений. Горняки криворожской шахты «Большевик» за полтора года почти вдвое увеличили производительность труда. Коллектив Нижне-Тагильского металлургического комбината только за один прошлый год и пять месяцев нынешнего года выдал сверх плана 34 тысячи

тонн чугуна, 82 тысячи тонн стали и около ста тысяч тонн проката. Коллектив Сталинградского тракторного завода изготовил сверх плана более трех тысяч тракторов. Можно было бы беспредельно продолжить список передовых предприятий, где коммунисты и беспартийные работают творчески — по-новому.

С единодушным энтузиазмом Пленум подчеркнул правильность нашего пути — пути к победе коммунизма и одобрил политическую линию партии в ее борьбе за построение коммунистического общества. И здесь же Центральный Комитет КПСС подтвердил свою верность принципам Декларации и Манифеста мира. Борьба за мир остается первостепенной задачей коммунистического движения.

Большие задачи встают перед партийными организациями. Это они должны проникновенно и своевременно видеть все новое и передовое, что зреет и растет в глубинах народного разума, умело руководить борьбой за досрочное выполнение семилетки и привести производственные коллективы к желанной победе.

Живым воплощением творческого единства советских ученых, писателей, деятелей искусства с руководителями партии и правительства явилась встреча, состоявшаяся на следующий день после окончания работы Пленума. Такие встречи стали прекрасной традицией в нашей стране. Откровенный дружеский разговор, лишенный налета официальности, общая заинтересованность в успехе нашего дела — вот что составляло сущность этой замечательной встречи советской интеллигенции с Никитой Сергеевичем Хрущевым и его боевыми соратниками. Разве не об этом мечтал великий Ленин, который еще на заре советской власти определил наше время как начало самой счастливой эпохи человечества!

Эпоха эта наступает на всей Земле. Хотят того или не хотят капиталисты, но в поступи времени неотвратимо звучат шаги коммунизма.

Время шагает широко... Сплочен строй социалистических стран. Он

занимает около одной трети суши, насчитывает около одной трети населения земного шара. Уже в 1965 году социалистический сектор мира будет производить половину всей мировой продукции.

Как нам не радоваться этим успехам!

Сорок два года тому назад родился и окреп под руководством Ленина, под руководством нашей партии новый общественный строй. Существование его не дает спокойно спать господам капиталистам. Но и они, проводя политику «холодной войны», провоцируя беспокойство и военные конфликты, уже начинают понимать все значение событий, происходящих в мире.

Эти краткие мысли об историческом Пленуме мне хочется закончить небольшим воспоминанием.

Два года тому назад, когда весь мир был потрясен запуском первых советских спутников, на Всемирной выставке в Брюсселе я случайно разговорился с неким respectable господином, который рылся в книжках на советском стенде.

— Что вы ищете? — спросил я.

— Я ищу книгу одного вашего руководителя. Он писал как будто о возможности построить в одной стране социализм...

— Я помогу вам найти эту книгу — ее автор Ленин. Но зачем она вам?

— Я экономист по профессии и приехал сюда из США.

Господин низко наклонился к моему уху и продолжал шепотом:

— Я пишу работу о возможности сохранить капитализм в одной стране...

— ?..

— Может быть, в вашей книге я найду что-нибудь полезное...

Видно, туговато приходится сегодня господам капиталистам, если их представителя уже беспокоят такие мысли и если он тянется в чистую копилку нашего разума с тщетной попыткой обрести надежду на свое спасение.

Да, нынче время коммунизма шагает широко. И это видят даже самые злые его враги!

Александр Абрамов

Я ищущу Китеж-град

ПОВЕСТЬ

I

Я сплю чутко. Дома на Чейн-уок я всегда просыпаюсь от скрипа тормозов автомобильной тележки молочника. Здесь меня разбудило едва слышное монотонное жужжание. Это у Виктора на окне в соседней комнате включился миниатюрный моторчик. Белая шелковая шторка автоматически поползла вправо, закрывая от солнца стеклянные стеллажи с орхидеями. Через тридцать пять секунд, натянув шторку, мотор выключался и умолкал. Но сейчас я насчитал сорок, а жужжание еще продолжалось. Значит, Виктор не спал.

Даже не глядя на часы, я знал, что было не больше шести. Солнце еще не показалось из-за строящегося дома напротив. Его бетонная площадка, доведенная до четвертого этажа, была пуста. Высокий ажурный кран беззвучно простирает над ней худую вытянутую руку. Рука не двигалась. Строители еще не начинали работу. Тишина за окном ощущалась на слух, как в лесу.

Вдруг что-то громко стукнуло в соседней комнате, и тотчас же я услышал укоризненный Галин шепот.

— Виктор! С ума сошел.

— Плоскогубчики упали. Извини — нечаянно.

Виктор шептать не умел.

— Не ори. Разбудишь.

Вероятно — жест в сторону моей комнаты и виноватый взгляд Виктора в том же направлении. Я отчетливо представлял себе этот дуэт. Галин нос, торчащий из-под одеяла, — несмотря на протесты Виктора она всегда натягивала одеяло на голову — и широкая спина Виктора, склонившаяся над столом, обитым линолеумом. Из-за орхидей на окне в комнате рассеянный свет — зайчиками.

— Хороший старик. Чудной только, — шепчет Галя.

Виктор, не понимающий капризов Галиной мысли, должно быть пожимает плечами.

— Почему чудной?

— Все ищет чего-то. Совсем заскучал. За Иверскую, за храм Христа-спасителя...

Повесть премирована на конкурсе журнала «Москва».

Смешок.

— Не «за», а «по», — назидательно поправляет Виктор. — Скучать по ком-нибудь.

— Знаю, отстань. Это я по привычке. Вчера в Кремле был.

— Не понравилось?

— Не понравилось. Все, говорит, не так теперь, как раньше было. Конечно, старому москвичу, может, и обидно.

— Какой он москвич! Не русский даже.

Я уже знаю, что Виктор начинает поддразнивать Галю. И как всегда, у него — клюет. Галя обижается.

— Дело ведь не в паспорте. Что там чернилами записано — ладно. А вот что кровью в сердце?

— Ты веришь?

— Почему нет? Здесь родился, здесь вырос. А первая любовь что по-твоему — пар? Нет, — Галя сочувственно вздыхает, — кто это знает, тот верит.

Тишина. И снова Галин шепот:

— И фамилия у него наполовину русская — Барнет. У нас кино-режиссер такой есть.

У Виктора опять что-то упало. Потом заскрипел паркет — это Виктор на цыпочках подошел к моей двери и чуть-чуть приоткрыл ее. Я зажмурился.

— Спит, — сказал он.

И опять заворковали голоса.

— Ты что поднялся в такую рань?

— Отрегулировать кое-что. Реле времени.

— А день на что?

— К Снегиреву надо зайти. Насчет зажимных устройств. Пневматику будем менять.

— Все воскресенье?

— Что все воскресенье?

— У Снегирева просидишь?

— Почему? Нет, конечно. Потом ребята хотели собраться. А вечером лекция.

— Господи, — вырвалось у Гали, — и зачем тебе все это?

— Что все? Ты об университете культуры? — удивился Виктор.

— Да нет. Об оранжерее твоей. Встать в пять часов из-за какого-то реле! Зачем тебе эти орхидеи? Ты же токарь.

— А что — токарь? Цветов любить не должен?

— Какие цветы?! — Галя говорила теперь громко, раздраженно. — Цветы в саду хоршши. Я сама их люблю. Но не эти! На них и дохнуть нельзя — еще заразишь! Теплый дождь им устраивать надо. Электроплитками воздух подогревать. Ты эти парники завел я знаю почему. Чтобы вызвездиться. У людей нет, у тебя есть. Индюшачье в тебе это. От гордости.

Я с интересом ждал, что ответит Виктор.

— Нет, — сказал он, и в голосе его послышалось что-то для меня новое. Он не оправдывался, не спорил, он мечтал. — Не от гордости, нет. От трудности. Ты же знаешь, мне чем труднее — тем интереснее. Я вообще зелень люблю, а эта культура особого труда требует, повышенного внимания, изобретательности, если хочешь, техники. И зря ты взъелась, Галка. Не навек эти парники. Освою — брошу. Новенькое что-нибудь придумаю.

Громыхнув стулом, он встал.

— Пойду завтрак готовить. Лежи пока. А его потом разбудим. Старость — не радость... Пусть спит.

Но я уже встал и по привычке смешивал коньяк с боржомом. Ста-

рость — не радость? Наверное. Только я в свои шестьдесят семь лет что-то не чувствую себя Мафусаилом. Недаром говорят, что англичанин до тридцати лет ребенок, а до семидесяти юноша.

Англичанин?

В конце восьмидесятых годов мой отец приехал в Москву представителем бирмингамской металлопромышленной компании Бальфура. Через несколько лет Эндрю Джон стал Андреем Ивановичем, завел дружбу с оптовиками-скобянщиками и даже влюбился в купеческую дочь из Зарядья. С ней он сыграл свадьбу по русскому обычаю, прижил троих детей и уже не помышлял о возвращении на родину.

Я родился за семь лет до нового века, был торжественно окрещен в англиканской церкви и наречен Джоном. Мать меня тут же превратила в Ивана: дома у нас говорили только по-русски, а она не выучилась английскому даже в Англии.

Таких полуанглийских, полурусских семей было тогда немало в Москве. На Ореховской мануфактуре у Саввы Морозова подвизались Чарноки, у заводчика Бари в Симоновке — Дэвисы, Пикерсгили причесывали на европейский лад филатовскую торговлю в Зарядье, Мершанты внедряли тормоза Вестингауза. Многие, подобно отцу, легко и прочно вросли в московский быт, без запинки говорили по-русски, выезжали на лето в Серебряный бор и в Покровское-Стрешнево, соблюдали православные праздники и обучали детей в казенных гимназиях. Я не был исключением, конечно, пригостишкой спотыкался на букве ять, а великовозрастным гимназистом — на биноме Ньютона. О Теннисоне и Мередите я едва ли слышал в то время, а Пушкина и Гоголя знал лучше Теккерея и Байрона. Третьяковка была для меня так же «своей», как «своими» были Малый и Художественный театры, я заслушивался октавой протодьякона Розова в храме Христа-спасителя и мерз в очереди за билетами на гастроли Шаляпина. Тогда я не задавал себе вопроса, англичанин я или русский, — я просто жил, дышал воздухом Москвы, гранил ее улицы, слушал ее речь, читал ее книги. И думал, что так будет всю жизнь.

Увы, это кончилось в декабре тысяча девятьсот семнадцатого, когда бирмингамская компания Бальфура решила прикрыть свое русское представительство. Вместе с Дэвисами и Пикерсгилями отец с семьей выехал в Англию, проклиная страну, в которой больше никому было продавать добротную бирмингамскую проволоку, манчестерский шевит и шэффильдскую сталь.

Помню свинцовое декабрьское небо, свистящую поземку на Арбате и слезы матери, казавшиеся мне растаявшими снежинками на побелевших щеках. Студенческую фуражку мою унесло ветром, я повязал голову теплым шарфом по-бабьи и стал похож на солдата наполеоновской армии, бредущего из русского плена. Ах, как мне хотелось тогда остаться в этом плену!

...В соседней комнате застучали босые пятки по паркету — Галя одевалась. Сейчас она подойдет к двери и позовет. Так и есть.

— Иван Андреевич, вы не спите?

— Не сплю, Галя, не сплю.

— Вставайте. Горячая вода пошла.

— Сейчас, Галенька.

Их дом только что подключили к теплоцентрали, и снабжение горячей водой иногда капризничает: где-то проверяют котлы и трубы. Но Галя искренне огорчается: она уже не представляет себе жизни без горячей воды, которая просто течет из водопроводного крана.

А в доме, где она выросла, за водой надо было бежать на улицу к колонке со скрипучим, заржавленным рычагом. Зимой вокруг нее рас-

ползались наледи, по которым с трудом можно было пройти даже в валенках. Один раз я попробовал. Первое ведро я налил, но уже со вторым растянулся, опрокинув его на себя на двадцатиградусном морозе.

Самое удивительное, что я ничего не забыл. Этой зимой мы кормили голубей у колонны Нельсона на Трафальгар-сквере. Мы — это я и туристы из Москвы, инженер автомобильного завода и его жена, учительница. Они улыбались мне, неуклюже склеивая коротенькие английские фразы. Я же долго крепился, прежде чем заговорить по-русски, все боялся, что забыл, разучился, не сумею передать мелодику родной речи. А когда, наконец, заговорил, соседи мои растерялись, как дети.

— Вы... русский?

Я улыбнулся.

— Не эмигрант?

— Нет, — мне было легко и весело, — я англичанин.

Они не поверили.

— Не разыгрывайте, — засмеялась учительница, — вы даже «акаете» по-московски.

Я объяснил. Наступило молчание. Инженер, видимо, тщательно обдумывал то, что собирался сказать, но жена его оказалась менее сдержанной.

— И вы не приезжали к нам после этого?

— Нет.

— Почему?

Я пожал плечами. На этот вопрос я не ответил бы себе самому.

— Столько лет прошло, а вас ни разу не потянуло в Москву?

— Скажи: на родину, — вмешался инженер.

— И скажу, — она говорила громко и возбужденно, не стесняясь прохожих, как говорят на юге Франции или в Италии. — Вы родились и выросли в Москве. Вы прожили там почти половину жизни. Так неужели же вы ничего не оставили за собой? Не верю. Какая-то часть вашей души там, в Москве.

Что я мог сказать ей, первой встречной, чужой и не очень симпатичной мне женщине? То, что я оставил там свое сердце? Об этом я не говорил никому, даже Джейн.

— Я ведь не зря спросил вас, не эмигрант ли вы, — сказал инженер. — В известном смысле вы — эмигрант. Легальный, правда, но это не меняет дела.

Я должен был отбить этот удар.

— Нет, я не уехал врагом новой России. Я не был ее врагом и все последующее сорокалетие. Я просто не знал ее. Да и сейчас не знаю.

— И не хотите узнать? Бойтесь, что наша Москва зачеркнет в памяти вашу? — он усмехнулся, прочтя в моих глазах ответ. — Есть такая опасность. Перешагните ее, советую. Или вы избавитесь от хлама воспоминаний, или она даст вам новые радости. В обоих случаях вы выиграете.

Художники часто пишут на старых холстах, не соскабливая ранее положенных красок. Они просто загрунтовывают их фоном для новой картины. Так она и живет другой жизнью, пока прежняя не выглянет из-под облупившейся краски. Русские подсказали мне это раньше, чем заметил я сам.

Заметила это и Джейн. С тех пор, как она переехала ко мне, отказавшись жить с мачехой, от нее ничего нельзя было скрыть.

В тот день я читал эмигрантские рассказы Куприна, полные такой нестерпимой тоски по родине, что хотелось пощупать страницы: не мокры ли они от невидимых слез.

Джейн повертела в руках книгу и улыбнулась.

— Скучаешь, дед?

Я вздохнул. Что скрывать, если не скроешь.

— Съездил бы ты в Москву. Сейчас это нетрудно. Ты свободен, сбережения у тебя есть. В конце концов даже неблагодарно после стольких лет разлуки не повидать старых вязов.

— Березок, Джейн.

— Все равно. Только не притворяйся стариком, дед. Не на Марс лететь.

Она ошиблась. Именно на Марс. На другую планету.

...Сейчас мы завтракаем в большой светлой комнате, которая за время моего пребывания здесь служит им и столовой и спальней. Одно из ее высоких окон загораживает тропическая оранжерея Виктора, построенная им самим из органического стекла. Все в ней механизировано. Специальные электроплитки подогревают воздух, лампы дневного света подключаются на подмогу здешнему северному солнцу, автоматически действует дождевальная установка, многократно орошающая пестрые, диковинные цветы. Все это Виктор сконструировал сам, собственноручно выточив каждую шестеренку. Рассказывал он об этом неохотно, не затрудняя себя объяснением непонятных мне технических терминов.

— Вы инженер? — спросил я.

— Нет, — ответил он просто, — но буду. Со временем, — прибавил он, улыбнувшись.

— Он будет, — с обожанием сказала Галя.

Сейчас она чем-то расстроена. Будто черная кошка пробежала между нею и Виктором. Может быть, та самая, что царапалась утром?

— Хоть бы вы повлияли на него, Иван Андреевич. Не могу я больше, — говорит Галя, не глядя на Виктора.

Но он невозмутим. Дожевывая холодную котлету, он обращается ко мне:

— Вы на нее повлияйте. Лучше будет.

— Свинья ты, Витька, — Галя закипает, продолжая обиженной скороговоркой: — Сегодня вечер свободный, думала — в кино пойдем... так нет...

Галя работает медицинской сестрой в заводской амбулатории, и ее свободные часы не всегда совпадают с отдыхом Виктора.

— Я же говорил: лекция у меня, — хмуро произносит он.

— Каждый день что-нибудь. А я?

— Что ты?

— Зачем было замуж выходить? Тоска.

— Займись чем-нибудь. Я же учусь, и ты учись.

— Опять!

У Гали розовеют щеки.

— Опять, — тон Виктора непреклонен и тверд. — Ты уже три года сестрой работаешь. Пора на медфак подавать.

— А что? Сестры не нужны?

— Нужны. Но если ты можешь стать врачом, добивайся.

Тон Виктора невольно приобретает наставительный оттенок, который так не нравится женщинам. И Галя опять вспышивает:

— А экзамены кто будет держать, ты? Я все забыла.

— Вспомнишь. Я подготовлю тебя за лето по общим предметам.

И Галя теряет ся. Глаза у нее затуманиваются — вот-вот заплачет.

— У меня и способностей нет, — тихо произносит она, опустив глаза.

— Есть! — убежденно провозглашает Виктор, — есть. Все есть —

и способности и желание. Да объясните ей это, Иван Андреевич. Ведь умная она, а не собранная.

Обращение ко мне чисто риторическое. Ни Галя, ни Виктор не ждут моего ответа. А я думаю о Джейн. Будет ли у нее когда-нибудь такая ссора?

...О Джейн я впервые вспомнил, когда мы уже подлетали к Москве. Город еще не различался вдаль. Он лежал у горизонта лиловой дымчатой массой. Внизу под крылом самолета зеленели квадратики дачных участков, пересекаемые полосками пыльных дорог. Мутное пятно аэродрома поблескивало местами, как озеро.

Неразговорчивый чех, с которым я летел из Праги, вдруг уступил место девушке лет двадцати в прозрачной нейлоновой кофточке и таких же перчатках. Я искоса взглянул на нее. Пучок соломенных волос на затылке, румянец во всю щеку, как на вятских игрушках, и рыженькие деревенские веснушки у глаз не делали ее красивой.

— Можно, я в окно посмотрю? — бесцеремонно спросила она, — у нас за крылом не видно.

— Пожалуйста, — сказал я и попытался встать.

— Сидите, сидите. Мне и отсюда видно, — она нагнулась к окну. — Заметили полоску? Это Внуковское шоссе. А там за лесом вон — дома. Видите, строятся?

Внизу по краям серой ленты, исчезающей в фиолетовой дымке, смутно различались темные пятнышки, похожие на спичечные коробки.

— Три года назад их еще не было. Стройка только за университет заходила. А теперь, видите, где? Так, пожалуй, до самого аэропорта застроим.

В глазах у нее загорелись веселые искорки.

— Наши дома... мы их строим. Пятое стройуправление, — пояснила она. — Раньше я в тринадцатом у Ануфриева работала, а теперь он город-спутник строить будет.

Я с любопытством глядел на нее, не решаясь спросить, что означает «мы строим» и «пятое стройуправление». Заинтересоваться городом-спутником было естественнее. Может быть, он в космосе, где-нибудь на орбите Венеры?

— Это где? — спросил я.

— А где же ему быть? В Крюкове. Ну тот, о котором писали. Первый. — Она опять заглянула в окно. — И здесь бы надо город-спутник. Смотрите, сколько зелени. Все сохранилось бы... А Москву сюда тянуть... зачем?

В ее интонациях послышалось что-то личное. Я не утерпел и спросил:

— Извините за любопытство. А почему вас, собственно, это беспокоит?

— Как почему? А транспорт. Живешь здесь, а на работу за пятнадцать километров ехать!

— Вам ехать?

— Почему мне? Я вообще говорю.

— А Лондон вот хаотически раздвигается, — усмехнулся я. — Пригороды проглатывает, как бутерброды. И никого это не беспокоит.

Она недоверчиво покосилась на меня.

— Откуда вы знаете? Может, кого и беспокоит. Считаете, если за граница, так люди о себе только думают? О разном тревожатся. Я вот тоже из-за границы еду, из Праги... Опыт передавали.

— Одна?

Я имел в виду ее возраст, но она поняла меня иначе.

— Зачем одна? Не такой опыт у Тоньки Барышевой, чтобы ее одну

посылать. И Петр Евсеевич ездил, и Коля, и Райка Мысина — полбригады. Вон сзади сидят.

Что делает некрасивую женщину хорошенькой? Улыбка, глаза, женственная мягкость движений? Тоня вдруг засмеялась, обнаружив жемчужины нетронутых дантистом зубов, и словно стало светлее.

— Мы с Райкой от гостиницы отказались — у пражских девчат в общежитии устроились. Все такие же строители, как и мы. Так знаете, о чем к вечеру пошел разговор? Не о блоках, конечно, из которых дома складываются, — об этом на собрании шла речь. И не о тряпках, хотя девчата везде одинаковы. О любви. Какая, мол, будет любовь при коммунизме. Вы не смейтесь...

— Что вы, Тоня. Мне просто интересно.

— Правда? Ведь если бы это в Москве было, мы бы ни за что первые в разговор не полезли. Поумнее нас люди есть. А тут окружили нас, ждут, что скажем. Ну и пришлось, конечно. Надо же честь поддерживать.

Самолет легко, почти без толчка коснулся колесами широкой бетонной дорожки.

— Уже! — воскликнула Тоня и вскочила с места. — Вот мы и дома. Спасибо за разговор.

Тут я и вспомнил о Джейн, мысленно представив ее в споре с Тоней о том, какая будет любовь при коммунизме. Нет, я действительно летел не в Москву, а на Марс.

Я не узнал Москвы.

Есть такая игра «джиг-со» — головоломка для взрослых. Была она популярна в кризисные годы в Америке, но потом забылась. Берут многокрасочный литографский портрет или пейзаж, наклеивают его на фанеру и распиливают на множество мелких кусочков. Потом все это смешивают, и игра готова. Требуется из кусочков воссоздать целое, из хаоса цветных дощечек — первоначальный портрет или пейзаж.

Моя встреча с Москвой напоминала эту игру. Сначала я ничего не узнавал. Потом находил вдруг знакомые кусочки картины и пробовал восстановить ее в памяти и сравнить с тем, что видел в действительности. Удавалось мне это редко.

Воспоминания, такие послушные в Лондоне, в Москве растерялись. Я шел по улице, сворачивал в переулок, останавливался где-нибудь у чугунной решетки ворот или у подъезда с потемневшими от пыли и копоти стеклами и говорил себе: конечно, здесь! Воспоминание приходило зыбкое и неуверенное и тотчас же исчезало, насмешливо шепнув на прощание: нет, старина, не то, не то. Оно нуждалось в декорации, в знакомом фоне, в уцелевших свидетелях былого, которые могли бы скомандовать ему: «Сезам, отворись!» Но их не было.

Я не нашел ни Китайской стены с книжной сутолокой у ее подножия, ни Охотного ряда, ни Иверской, ни кафе Филиппова на Тверской, ни цветного рынка у Триумфальных ворот. Скучный серый дом стоял на месте церковного дворика в Благовещенском переулке, где Володька Климов, впоследствии прославленный центр «Униона», обучал меня искусству бить по воротам под штангу и в угол. Не было и самой церковки, где я впервые познакомился с Машенькой, и чистенькой польской кондитерской с позолоченной надписью по стеклу витрины: «Кава, хербата, домове часто», где за крохотным столиком у окна однажды прозвучало самое прекрасное на земле слово: люблю.

Иногда воспоминание умиляло, как старая кинохроника в новом фильме. Не знакомые мне скульптуры стояли у входа в зоологический сад, но черные австралийские лебеди так же доверчиво подплывали к берегам пруда. Милым видением детства промелькнули белые фарточки школьниц на плисах. По-прежнему на Кузнецком у Шанкса тор-

говали готовым платьем, а у Вольфа — книгами. Правда, другие вывески извещали об этом, но они не запомнились. Я приехал из Англии с чувством дружеского любопытства к новой Москве, но в Москве оно почему-то погасло. Придирчивый глаз иронически подмечал белье, развешанное для просушки на балконе нового дома, нехитро убранную витрину универсального магазина, испорченные автоматы на улицах, но не проявлял интереса к заботам и хлопотам московских хозяев. Я смеялся про себя над паломничеством к университетскому небоскребу, равнодушно проходил мимо концертных афиш, а молодые липы, высаженные вдоль новых проспектов, вызывали во мне только жалость. Они казались чужими здесь, эти липы, хилые дети загородных перелесков, поставленные кем-то в строй на празднике кирпича и бетона.

Тени юности исчезали, не возвращаясь, и напрасно искал я их средствами, доступными человеку. В адресном столе не оказалось адресов ни Володьки Климова, ни Жени Пикерсгиль, не последовавшей за семьей в Англию. Я вспомнил ее полуукоризненные, полунасмешливые слова, сказанные мне на прощание: «Эх ты! Остаться смелости не хватает». Пусть так, я даже обрадовался, что ее не нашел. Одним воспоминанием меньше.

Эта мысль пришла мне в голову и на автобусной остановке на Филлах, когда я, сойдя с автобуса, остановился в недоумении перед ансамблем многоэтажных домов на скрещении типично городских улиц. Здесь когда-то была наша дача, стоявшая на краю широкого зеленеющего оврага, по которому струилась приткая прозрачная речушка в желтых кувшинках. То было видение совсем из другого мира, мгновенно исчезнувшее на фоне незнакомого города.

Курносый парень в ковбойке, медленно шагавший к автобусной остановке, лениво взглянул на меня.

— Потерял что, дед?

В глазах у него читались скука и полное ко мне равнодушие. Меня даже умиляло это отсутствие любопытства у москвичей к моей все-таки иноземной особе. Должно быть, нескладный готовый костюм и украинская рубашка с вышивкой, купленные мной по приезде в Москву, прочно предохраняли меня от такого любопытства. Я, что называется, слился с пейзажем.

— Потерял что, говорю? — повторил свой вопрос парень.

Мне вдруг захотелось рассказать ему о своей неудаче. Он молча выслушал, пыхтя папироской, и ловко выплюнул окурок в самый центр ближайшей дождевой лужи.

— Жил, значит, здесь?

— Жил.

— И ничего похожего?

— Ничего, — вздохнул я. — Поиски утраченного времени.

— Силен.

Я не понял.

— Силен, говорю. Интеллигенция, — он сладко зевнул. — Может, пивка выпьем?

— Да нет. Я пойду, пожалуй.

— погоди. Вон Клавка идет на твое счастье. Эй, Клавочка, ходи сюда!

Худенькая девушка в косынке, переходившая улицу, подошла к нам. В сумке вместе с круглой буханкой хлеба торчал учебник английского языка.

Парень в ковбойке театрально поклонился ей и певуче продекларировал:

— Вы родились здесь, графиня? И звезды, которые нам светят, уже давно светили вам? Не так ли?

— Опять психуешь,— нахмурилась девушка.— Я думала, ты серьезно.

— Постой. Вот дедок вчерашнее воскресенье ищет.

Она взглянула на меня с любопытством.

— Вы в самом деле что-то ищете?

— Нет,— сказал я.— Просто я сорок лет здесь не был.

— И ничего не узнали?

— Не узнал.

— Я и сама не знаю, что здесь раньше было. Родилась, правда, здесь, только не так давно.

— Забота у нас простая, забота наша такая — жила бы страна родная, и нету других забот,— вполголоса запел парень и, не прощаясь, пошел к остановке.

— Как поет, слышите? — встрепелась девушка.— А мы его в хор затащить не могли. Из драмкружка тоже ушел.

И она побежала за ним.

Тут я решил уехать. Заасфальтированный Кремль и Охотный ряд без охотного ряда — не для меня. Вчерашнее воскресенье ищет дедок. Нет, баста. Хватит с меня поисков. Возвращаюсь.

Я даже воскликнул про себя, вспоминая об этом. И должно быть пошевелил губами, потому что Виктор заметил. Он всегда все замечает, глазастый черт.

— О чем думка, Иван Андреевич,— понимающе усмехается он.— Обманула вас Москва?

Мне не хочется спорить с Виктором, но в лукавом его вопросе я уже слышу звон шпаги.

— Откровенно говоря, обманула.

— И Кремль не тот, и Охотного ряда нет,— насмешничает Виктор.— Даже памятник Пушкину переехал.

— К сожалению, переехал. Только не понимаю, зачем.

— На что же вы надеялись?

— На живучесть старого,— принимаю я вызов.— Старики всегда консервативны, Витя. При всех режимах, во все времена. Всегда им удастся что-то уберечь, что-то удержать в стремительном потоке жизни. Вот это я и хотел увидеть. Неумершее и непретворенное. Вы меня понимаете?

— Что ж тут не понять? Вы в Сандуны ходите. Те же стены, те же лавки. И банщики небось в таких же клеенчатых передничках. И по-прежнему все голые.

— Я не о том, Витя.

— А о чем? Сервис не тот?

Виктор продолжает в том же тоне. Напрасно. Сейчас он будет наказан.

— Сервис не тот? — весело переспрашиваю я.— Тот, Витя. Именно тот. Кое-что вы сохранили для старого москвича. Вы знаете, что такое Сухаревка? Это — не только рынок, шире: сервис для народа. В России всегда так было: для немногих — первоклассная работа, на рынок — дрянь, дешевка. Вот на эту дешевку я и люблюсь. Рынок снесли, а Сухаревка осталась. На мой костюм посмотрите — Сухаревка! А Галины серьги? А эти украшения на дверях? А шпингалеты на окнах? Помню, этого рукоделия в Зарядье, бывало, не выкупишь. А где же «для немногих», Витя? Где ювелиры, где портные-художники? Где мастерство?

Виктор слушает, сосредоточенно разминая кусочек хлебного мя-

киша. Его умные пальцы и тут ухитряются создать какие-то индустриальные формы.

— Где то, что украшало жизнь? — почти кричу я.

Галя, то и дело бросающая на Виктора нетерпеливые взгляды, наконец вмешивается.

— Что молчишь? Или во всем согласен?

— А почему бы нет? — опять улыбается Виктор. — Верно, еще шьем костюмчики, вроде этого. И ювелиров маловато. И шпингалеты дрянные. Только зачем же обобщать? Есть поганки в лесу, так лес от этого не редееет. И к небу тянется, и хорошеет помаленьку. А поганки вытопчем, и жизнь научимся украшать — было бы желание. Вы знаете, чему мы научились за сорок лет? — он посмотрел на меня пристально и строго. — Знаете, конечно. Только не интересно вам это. Вот и ищите не то, не тем и любуетесь. Потонул ваш Китеж-град, Иван Андреевич.

Гале не нравится резкая прямота мужа.

— А на что ему смотреть? — вступает она за меня. — Как дома́ строят — пыль глотать? Подумаешь, как интересно. Вы бы в парк культуры сходили, — сочувственно добавляет она, укоризненно поглядывая на Виктора. — Я бы сама с вами пошла, да в амбулаторию надо. Может быть, подождете? Я скоро.

— Что вас огорчает, мне понятно, — продолжает атаку Виктор. — Неудовлетворенность воспоминаний. Забудьте о них. Мы ведь не только новый город построили — новый мир...

— В котором я как Кэвор у селенитов, — добавляю я, надеясь смутить Виктора. Наверное, он не читал романа Уэллса.

Но смутить его трудно.

— А ведь Кэвор остался у них не так уж случайно, — парирует он удар. — Если помните, он к этому морально был подготовлен.

Возразить мне нечего.

II

На предложение Гали пойти в парк культуры я согласился только из вежливости. Мне хотелось побывать совсем в другом месте — в маленьком переулке, доживавшем даже не дни, а часы.

Он и полвека назад был дряхлым, облезлым, почерневшим от грязи стариком. Его мостовая, утыканная крупными, бесформенными булыжинами, горбилась посредине и провалилась по концам, пугая редких извозчиков-смельчаков. Между камнями росла трава и торчали стекла от разбитых бутылок. Подслеповатые деревянные домишки отгораживались друг от друга искривленными тополями и липами, гнилыми заборами и сараями, встречавшими прохожего запахом выгребных ям. В Москве было много таких переулков, и он ничем не выделялся из них, кроме того, что здесь жила Машенька, моя первая и единственная любовь.

Она работала в мастерской дамских шляп на Малой Бронной, где после шести каждый вечер я поджидал ее на бульварчике у Патриарших прудов. Отсюда мы шли пешком через всю Москву в этот забытый богом и людьми переулок.

На углу его белой вороной стоял древний дворянский особнячок, вечно пустой и запущенный. Кроме глухой сторожихи там никто не жил, и никто не тревожил нас, когда мы, раздвинув сломанные зубья решетки, пробирались на двор и усаживались на скамеечке, скрытые от улицы в густых кустах бузины. Отсюда сквозь пролом в стене Машенька уходила к себе во двор соседнего дома. Она была сиротой,

брошенной на попечение не любивших ее родственников. Одни жили где-то в Самаре, другим принадлежал этот бревенчатый дом, который здесь уважительно называли доходным. Я тогда увлекался Горьким, и все Машенькино окружение в горбатом переулке казалось мне живым воплощением Окурова, откуда я мечтал вырвать и увезти ее навсегда. Увы, только мечтал. Я не смог этого сделать даже тогда, когда она призналась мне в том, что у нас будет ребенок.

В семнадцатом году я кончал юридический, жил на средства отца и в любой момент мог лишиться даже карманных денег, водившихся у меня редко и в ничтожном количестве. О женитьбе на Машеньке с согласия родителей нечего было и думать. Не могли мы и тайно обвенчаться: с моим англиканским вероисповеданием это обошлось бы в Москве не дешево. Тогда мы решили сделать это в Самаре. В конце октября Машенька выехала из Москвы, обещав тотчас же по приезде написать обо всем. А через несколько дней началось вооруженное восстание в Москве.

Маша не написала, ее самарского адреса я не знал, мир, с которым мы связывали свои мечты и надежды, лежал в развалинах. Остаться в Москве у меня не хватило мужества. Я взял клятву с Жени Пикерсгиль, вышедшей замуж за армейского подпоручика, при первой же возможности разыскать Машеньку, оставил письмо для нее и уехал. И никогда не услышал больше ни о Машеньке, ни о Жене. Так все кончилось.

Что было потом, неинтересно. Я жил, как уэллсовский мистер Бритлинг, скучно и респектабельно. Занимался гражданским судопроизводством, женился и не заметил, как прошла жизнь. О Москве не вспоминал, забыл, заставил себя забыть. Только под старость память все чаще и чаще напоминала о доме с водопроводной колонкой на дворе в тихом московском переулке, мощенном крупными диковинными булыжниками.

Я пошел туда на другой же день по приезде в Москву. В первый не рискнул — испугался, откладывая это, как откладывают мучительное объяснение с близким человеком. Но уже первые шаги в Москве, первые разочарования на берегах моего потонувшего Китеж-града подсказали мне, что бояться нечего, что вероятнее всего я никого не найду, ничего не узнаю, оборванная страница былого так и останется непрочитанной.

И вот передо мной этот переулок, я почти узнал его, как после долгих-долгих лет узнают старого друга только по улыбке или смешной морщинке у глаз. Знакомый особнячок, опоясанный чугунной решеткой, все еще стоял на углу. Он даже посвежел почему-то, подкрасился, подновил поломанную решетку, а кусты бузины во дворе, скрывавшие нашу скамейку, разрослись еще гуще. У дверей с улицы появилась вывеска, которой не было раньше: «Интернациональный детский дом имени Клары Цеткин», но в доме по-прежнему никто не жил и в саду, как и тогда, таилась настоженная тишина.

— Уехали, — сказала проходившая мимо женщина, заметив мой растерянный вид, — дом ломать будут. Кругом ломают, видите?

Переулок действительно доживал последние дни. Он даже не раздвинулся, а как-то растянулся вширь, булыжная мостовая скатилась в кучи камней по краям — их заглатывали ковши двух маленьких экскаваторов, сыпая в обшарпанные грузовики-самосвалы. Те же экскаваторы, должно быть, срезали и горб на спине переулка.

Домишки по одной его стороне бесследно исчезли, словно их сдуло ветром, оскорбленным зрелищем этого деревянного хлама. А позади во всю длину переулка вырос розовый восьмиэтажный домина, вырос и уперся в соседа с другой улицы — она двигалась издали, с пригоро-

дов, проглатывая старенький переулок, как питон кролика. Проглатывая, но еще не проглотив: пять-шесть почерневших бревенчатых старичков еще стояли по другой стороне его, покорно ожидая кончины.

Машенькин дом торчал среди них все тем же невзрачным близнецом, только вместо снесенных ворот зиял проезд между двумя законченными флигелями. Здесь стоял грузовик, на который сносили мебель из двери с крылечком во двор.

Женщина, только что говорившая со мной на улице, зычно командовала укладкой.

— На по́па, на по́па ставь! Бочком к оттоманке. Слышь?

Два парня в вылинявших футболках, поставив на платформу рыжий, пузатый шкаф, молча ушли в дом. Женщина, ничуть не удивленная моим появлением, ликующе улыбнулась. Счастье переполняло ее.

— На другую квартиру переезжаем, — объявила она. — В новые дома. Седьмой корпус.

— А этот свое уже отжил, — сказал я, оглядывая флигель.

— Давно пора. Уже все переехали.

— И Трошины?

— Какие Трошины?

Я показал на пару верхних раскрытых окон.

— Не-ет, — протянула она, — это лекаревские. А подале — Сычуков.

— Может быть, Трошины раньше жили?

— Не знаю. Я здесь с сорок второго. Из разбомбленного дома вселили. Может, до войны?

— Они давно жили, — сказал я.

Мираж уходил.

— Погодите. Наверное бабушка помнит. Пелагея Никоновна! — закричала она в открытые окна. — Бабушка!

— Не кричи. Не глухая, — послышался старческий басок, и на крыльцо выплыла широкоплечая, прямая старуха, каких в молодости зовут бой-бабами. Одну такую я здесь помнил. Как ее звали? Поля, кажется. Пелагея Никоновна? Не знаю. Может быть.

Рыжая, грудастая девка стояла тогда у ворот и смеялась над студентом, опрокинувшим на себя ведро воды у колонки. «Машуня! Штаны ему посуши. А то простынет...»

Она?

Я растерянно всматривался в суровое пергаментное лицо старухи и не узнавал.

— Вот, гражданин Трошиных ищет, — женщина у грузовика кивнула на меня, — были такие, не знаете?

— Трошиных? — переспросила старуха, окинув меня цепким, оценивающим взглядом. Должно быть, оценка была не из высоких.

— Давно не живут.

Теперь она подошла ближе и смотрела на меня строго и недоверчиво.

— А кто из Трошиных вам требуется?

— Мария Трошина, — сказал я робко. — Маша. Не помните?

Старуха не ответила.

— Вы посмотрите здесь, Пелагея Никоновна, — вмешалась позвавшая ее женщина, — а я наверх схожу. Хорошо?

Старуха даже не обернулась.

— Машуня, — прошептала она. — Доброго человека вспомнили. Давно отсюда уехала, в войну. Втроем и уехали.

— Втроем? — я не мог скрыть своего удивления.

— Втроем. С дочерью и внучкой. Три года девочке было. Говорят, мать у нее там и померла. В эвакуации. Был такой слух.

Я ничего не понял.

— Простите, кто умер? Маша?

— Зачем Маша? Дочка у нее померла, Ольга. А Маша — не знаю. Может, и до сих пор жива.

— Пелагея Никоновна, расскажите мне о Машеньке... все, что помните. Мне очень важно знать... вы даже не представляете себе, как это важно...

Просьба моя, может быть даже помимо воли, прозвучала так взволнованно, что старуха чуть-чуть улыбнулась. Глаза ее потеплели.

— Ну что ж... Вон крылечко — присядем, — она указала на другое крыльцо в глубине двора. — Там уже все уехали.

Мы сели на ступеньках возле старого искривленного тополя. Окна напротив были раскрыты настежь — там тоже уехали.

— Что же рассказывать-то, — задумалась старуха, — родственница она вам, нет? Много горя видела женщина. Мужа у ней кулаки в двадцать девятом убили. Детей сама вырастила.

— Детей?

— Двоих. Сын у нее большой человек сейчас. Архитектор. Сажин фамилия. Может, слышали?

— Когда же она замуж вышла?

— В гражданскую. Вскорости как из деревни с дочкой приехала. Дочь-то у нее от первого. Мужа не мужа, а так вроде. Пустой человек был, студент. Бросил он ее.

— Он не виноват, — пробормотал я и не узнал собственного голоса, — совсем не виноват. Он не хотел... Так случилось.

— Все они такие невиноватые, — презрительно процедила старуха.

— А письмо? — спросил я. — Он оставил письмо для нее...

— Не знаю. Чего не помню, того не помню. Переживала она очень.

И старуха посмотрела мне прямо в глаза, сразу прочитав в них все, что я прятал.

— Много годков прошло, — усмехнулась она, — состарились мы. Сразу и не узнать...

— А вы... узнали?

— Догадалась. Кому ж еще о ней спрашивать.

— И не осуждаете?

— Я не судья всевышний. Вы бы к сыну ее сходили. Он здесь в Москве проживает.

— Бабушка! — закричала женщина с крыльца напротив. — Я дверь запираю.

— Не кричи. Не глухая, — сказала старуха и встала. — Ну прощай, студент.

— Прощайте, Пелагея Никоновна.

Я низко поклонился ей и пошел на улицу.

Архитектора Сажина Николая Федоровича я разыскал легко. Он жил в надстроенном доме под самой крышей с огромным окном в небо, как парижские художники-мансардисты.

На мой звонок он сам открыл дверь, чуть прихрамывая на левую ногу. Ему, наверное, было около сорока, но выглядел он моложе — молодили глаза, озорные, насмешливые, совсем мальчишеские глаза.

В его кабинете с покатой стеной-окном было светло, как на улице. Я огляделся, ища портретов на стене, но повсюду висели только чертежи — архитектурные проекты хозяина.

— Интересуетесь? — оживился он, перехватив мой взгляд. — Все новые работы. И здесь, и здесь... А вот это — на Внуковском шоссе, на четырнадцатом километре. Не квартал, а кварталище.

Мне показалось, что он хвастает. А может быть, это была законная гордость? Я вспомнил Тоню Барышеву.

— А почему не город-спутник? — спросил я небрежно, представляя себе эту урбанистическую загадку чем-то вроде коттеджей в лесу. — Там лес, кажется? Будет жаль, если погибнет.

— Кто вам сказал, что погибнет? — вспыхнул Сажин. — Лесной массив мы сохраним. Будет создан не только новый географически, но и новый по методам строительства экспериментальный квартал.

Вспышка погасла. Профессиональное уступило место человеческому.

— Простите, увлекся. Чем обязан?

— У меня к вам особое дело, — замялся я.

— Вы архитектор?

Я отрицательно покачал головой.

— Строитель?

— Нет. Дело совсем частное. Только не удивляйтесь. Ради бога не удивляйтесь. Просьба моя покажется вам, вероятно, странной... но, уверяю вас, для меня это все очень важно...

Он смотрел на меня с любопытством. Но как трудно, как мучительно трудно было произнести это.

— Расскажите мне о... вашей матери и сестре.

— Кто вы такой? — спросил он.

Я назвал себя. Наступила пауза, как в цирке во время опасного номера. Не хватало только барабанной дроби. Он все смотрел на меня и молчал. Я даже не ожидал, что одно только имя мое вызовет такую реакцию.

— Интересно, — наконец заговорил он, — знаменитый семейный миф претворился в действительность. Ну и ну! Дайте, я на вас как следует подивлюсь.

Он вскочил с кресла и, отойдя, посмотрел на меня, прищурив один глаз и склонив голову набок, как делают художники на выставках своих собратьев.

— Ни черта нет в вас иностранного. Обыкновенный собесовский старичок. А разговор... Ни за что бы не поверил, — он развел руками. — А вы не привидение?

Я молчал выжидательно и настороженно. Сажин тоже.

— Напрасно ехали, если надеялись оживить воспоминания, — переменил он тон. — Мать умерла четыре года назад, а Ольга еще раньше, в эвакуации.

— Скажите, — спросил я, — Маша... Мария Викторовна никогда не рассказывала вам о письме, которое я оставил ей уезжая?

— Нет. Но она никогда не осуждала вас.

Я опустил голову еще ниже. Старческие слезы так же солонь, как и в дни первого горя.

— Я не спрашиваю, почему вы раньше не приезжали. Вероятно, были причины. Но спросить кое-что хочется, — вежливо сказал Сажин и усмехнулся. — Не каждый день приезжают такие гости из-за границы.

Я пожал плечами — не все ли равно теперь.

— Спрашивайте.

— Все-таки что побудило вас приехать в Москву? Особенно после стольких лет равнодушия, может быть даже враждебности?

— Не те слова. Не равнодушие и не враждебность.

— Тогда филантропия?

— Я вас не понимаю.

— Желание по-христиански исправить зло, содеянное в молодости.

Я встал.

— Кажется, мы оба не понимаем друг друга.

Он с силой усадил меня опять.

— Не обижайтесь. Для меня вы человек с того берега. Я просто хочу вас понять. Неужели безотчетно потянуло на старости лет? Тоска по родине?

— Настоящий англичанин счел бы ваш вопрос оскорбительным, — сухо ответил я. — Но формально вы правы. Я здесь родился.

— Ага, — обрадовался он, — вот мы и договорились. Настоящий англичанин! А вы не настоящий, нет! Здесь ваша родина, Иван Андреевич, и куда вы от этого не уйдете. Небось Пушкина наизусть учили. И песни наши пели. Не «Типперери», а «Коробочку»? Здорово я вас раскусил? — он засмеялся, очень довольный. — Значит, Москву-матушку приехали посмотреть? На белокаменную полюбоваться?

— Нет больше Москвы-матушки.

Он пренебрежительно отмахнулся.

— Есть еще. Хотите сведу? И переулочки горбатенькие найдем и дома, построенные при царе-косаре. Торчат они кое-где, как лишайник. Можете умиляться.

— Я уже умилялся, — отпарировал я. — Даже на крылечке посидел.

— Вот как?! Где?

— В доме вашего детства.

— Не снесли еще? Жив?! — захохотал Сажин. — Ну и монстр! Все равно ему капут скоро. Всему переулку капут.

— Увы, — вздохнул я. — Видел.

Должно быть, в словах моих прорвалась все-таки предательская нотка сожаления, потому что Сажин тотчас же насмешливо процитировал:

— «И стало беспощадно ясно: жизнь прошумела и ушла». Так, Иван Андреевич?

Я промолчал. Мне уже не хотелось ни о чем спрашивать. Прошлого не было. Настоящее не интересовало.

— Все, — сказал я, — надо возвращаться. Не удалась моя встреча с юностью.

Ключие, насмешливые глаза Сажина весело заискрились.

— Не говори гоп, Иван Андреевич, — хитренько подмигнул он мне и тут же не выдержал — рассмеялся. — Так и быть, устрою вам встречу с юностью. Пощекочет нервишки. Да не смотрите на меня, как на фокусника. Все очень просто: у Ольги осталась дочь. Ей сейчас двадцать один.

Я вспомнил рассказ Пелагеи Никоновны — он как-то вылетел у меня из головы после слов Сажина. Трехлетняя девочка... Как я мог об этом забыть?

— Неужели?..

— Вот именно. Внучка, Иван Андреевич. И сирота. Батяка на фронте погиб, под Курской дугой. Галина, Галя.

— Она знает?

— О вашем существовании? Конечно. Ни мать, ни отец из этого тайны не делали. Вообще, мы в детстве были ужасно заинтригованы — таинственный родственник из романов Гранстрема! Ольга, помню, даже мечтала: хоть бы разок на него посмотреть. Отцом вас она не звала — только «он». И классовую грань, извините, проводила решительно. С детства. «Почему он маму бросил? Потому что буржуй».

— Буржуй, — повторил я с горечью. — Галя тоже так думает?

— Когда Галка выросла, вы уже стали мифом. Ваша внезапная материализация ее наверное заинтересует — девчонка любопытная.

Впрочем, — Сажин сочувственно усмехнулся, — не очень рассчитывайте на взрыв родственных чувств. Галка, если хотите, это — «сэлф мейд ууман» — в опоре не нуждается. Жить у меня отказалась — в общежитие переехала, а замуж вышла — мы только через год об этом узнали.

Я слушал рассказ Сажина как отголосок чужой жизни, ставшей вдруг близкой и до жути волнующей. Бывает так: вы останавливаетесь в гостинице и замечаете в окне напротив частицу чужой, непонятной жизни. Изю дня в день вы наблюдаете ее, и непонятное становится понятным и притягательным. Что-то угадываешь, что-то припоминаешь, что-то настораживает и манит. Тихо шумит чужая жизнь, и вы становитесь невольным ее участником. Такое же ощущение возникло сейчас у меня.

— Галка — это совсем новое поколение, боюсь, вам уже вовсе не понятное, — продолжал разговорившийся Сажин. На мою удачу он, видимо, любил поговорить. — Наше поколение вы еще можете себе представить, мы — продукт эпохи, от которой вы бежали, большевистского штурм унд дранга. Мы росли, как молодой лес на пожарище. Вынесли и стужу, и засухи, и пургу, и бури. Выстояли и выросли. Теперь подлесок растет, и взгляните: такой лес вырастет — ахнете! Дети социализм начали строить, а внуки уже к коммунизму тянутся. У них и шаг шире, и прошлое в ногах не виснет, назад не оглядываются. Вот с Галкой познакомьтесь, а еще лучше с мужем ее, Виктором, — смотрите в оба, Иван Андреевич: таких у себя не увидите.

Дверь приоткрылась, и звучный женский голос спросил:

— Будешь ужинать, Коля?

— Поужинаем? — подмигнул мне Сажин.

Я отказался.

— Ну как знаете. И мне, пожалуй, не хочется. Тонечка, — повысил он голос, — резервируй ужин на более поздний срок. У меня еще дела есть.

Он взял телефонную трубку и взглянул на меня с лукавой усмешечкой.

— Хотите с Галкой встретиться, а?

И, не ожидая ответа, набрал номер.

— Амбулатория? Галю можно? А когда освободится? В девять. Отлично. Вот и передайте: Николай Федорович вышел к ней в восемь пятнадцать. Идет пешком по правой стороне улицы. Пусть выходит навстречу.

Без лишних слов мы поднялись.

— Трепещите перед экзаменом, — засмеялся Сажин и открыл дверь.

...Мы вышли на Садовую, спустились к Смоленской площади и, не доходя, остановились на углу улицы, в начале которой, вернее посредине ее, уцелел желтый купеческий особняк, рассекавший ее дельту на два узких канала, а за ним уже ничем не разделенная широченная улица устремлялась вниз к освещенному высокими огнями мосту через Москву-реку.

— Узнаете? — спросил Сажин.

Я недоуменно промолчал.

— И немудрено. Это — Кутузовский проспект, новая московская магистраль. Здесь еще она отрывает прошлым: как-никак склеена из двух переулков, а вот дальше пойдем — увидите. Вы ходок хороший?

— Пошли, — сказал я.

И мы пошли. Улица была тиха и пустынна, и только мимо, не оста-

навливаясь, как на гонках, неслись одна за другой легковые машины. Несчетные огоньки, отражаясь, мерцали в темном речном зеркале. Ступенчатый массив гостиницы «Украина» сверкал всеми своими этажами по ту сторону реки. Я чувствовал себя Гулливером, рискнувшим прогуляться по вечернему Бробдиньягу.

Сажин не отвлекал меня разговорами, он просто время от времени поглядывал на меня с любопытством, как бы проверяя мои впечатления. Неужели он думал, что я буду восхищаться? Эти огромные каменные коробки, окаймлявшие строгим, почти суровым орнаментом не очень светлую, широкую улицу, часто недостроенные, с темными глазницами окон, к которым еще не прикасались ласковые руки хозяек, с однообразно плоскими фасадами без колонн и балконов, вызывали у меня тоскливое чувство одиночества. Душа алкала света, обилия света, ослепляющих магазинных витрин, пестрящих неоновых вывесок, множества огней на фронтонах кинотеатров, у домовых подъездов, высоко над улицей. Хотелось, чтобы широкие тротуары заливал шумный поток прохожих, чтобы в ушах звенел громкий смех, обрывки разговоров, музыка из открытых окон.

Я сказал об этом Сажину, он засмеялся.

— Все это будет, и очень скоро. Вы присутствуете при рождении улицы, первых часах ее жизни. У себя вы этого не увидите. У вас новая улица — это минимум десятилетия, а старая — уже история, века. Пиквик сейчас не заблудится ни в Сохо, ни в Сити. А у нас, скажем, Чацкому пришлось бы кричать: караул, где я?! Старая Москва умирает и новая рождается у нас одновременно на всем гигантском пространстве города, и в центре и на окраинах. И в этом, пожалуй, самое характерное в облике Москвы пятьдесят девятого года.

Сажин говорил увлеченно и громко, как с трибуны, не понижая голоса. На него оборачивались. Здесь было болеелюдно и светло. Только что кончился сеанс в кинотеатре напротив, и люди расходились, заполнив широкие тротуары. Сверкающие витрины «Гастронома» бросали на асфальт большие квадраты света. Концентрированное сияние дня, разлитое в продолговатые стеклянные колбочки, заливало рассеянным дневным светом витрины фруктового магазина. За пирамидами груш и яблок из папье-маше как будто всходило солнце, прятавшееся в прозрачных, блистающих облаках.

— Ага,— обрадовался Сажин,— уже не чувствуете себя одиноким! Обжита улица. А вот и милые вашему сердцу балконы и лоджии,— он указал на дом напротив с темными лепными украшениями по углам.— Несколько лет назад мы строили и такие. Теперь одумались. Отрыжка барокко — неэкономично и бесполезно.

— Философия бедности,— съязвил я.

Сажин как-то искоса посмотрел на меня и усмехнулся.

— А что смешного? — обиделся я.— Бедность есть бедность. Голодный тоже мечтает о хлебе, а не о зернистой икре.

Он засмеялся громко, с добродушным превосходством учителя над не в меру строптивым учеником.

— Не помогает мимикрия, Иван Андреевич, не помогает. Наша рубашечка,— он ткнул меня пальцем в грудь,— а нет-нет да и выглянет из нее этакий просвещенный британец. Философия бедности! — повторил он презрительно.— Не бедности, друг сердечный, а необходимости! Необходимости дать удобное, светлое жилище миллионам людей и дать как можно скорее. Неужели вы не видите грандиозности задачи? Я вижу. И грандиозность и поэтичность.

Он замолчал и прибавил тихо, почти устало:

— Вот что надо видеть в Москве сегодня. Сейчас. Профиль будущего. И людей, которые его строят. Да вот вам одна из них.

И Сажин весело подхватил бросившуюся к нему девушку в светлом пыльнике. Что-то знакомое вдруг мелькнуло в ее лице и тотчас же исчезло, в каком-то движении, в каком-то ракурсе на мгновение воскресив прошлое. Так вот она, Галя.

— Что случилось, дядя Коля? — спросила она.

— Ничего страшного, — усмехнулся Сажин, — но нечто любопытное все-таки произошло. Материализовался дух твоего предка, Галочка. Знакомься. Перед тобою твой таинственный английский де-душка.

Если Сажин рассчитывал смутить Галку, он ошибался.

— Здравствуйте, — сказала она просто.

— Здравствуй, Галя.

Мне хотелось назвать ее нежнее и ласковее, но у меня ничего не вышло.

— Ой, как вы хорошо говорите по-русски!

— Как видишь, не разучился.

Сажин стоял в сторонке, хитренько улыбаясь.

— Я, пожалуйста, покину вас, — сказал он. — Вон мой автобус идет. Вы и без меня договоритесь.

Но прошло не десять и не двадцать минут, пока мы договорились. Наш разговор напоминал серию вопросов и ответов из англо-русского разговорника, причем спрашивала только Галя. Я отвечал послушно и предупредительно, как ученик на экзамене.

— Почему вы раньше не приезжали?

— Как-то не получалось, Галя. То было некогда, то не решался. Не так легко совершить экскурсию в прошлое.

— Разве вы приехали в прошлое?

— К счастью, я ошибся.

— Я знаю от бабушки все. Но если вы любили, зачем уехали?

Ее синие глаза смотрели строго-строго. Что я мог ответить ей?

— Я написал ей, Галя. Тогда я не мог иначе.

— Струсил. Впрочем... — Галя задумалась и прибавила уже мягче, — бабушка никогда о вас плохо не говорила. Должно быть, не мне судить. А все-таки... — она дернула плечиками, — не понимаю я... От любимого можно уйти лишь тогда, когда чувствуешь, что мешаешь ему, что стал или можешь стать ему в тягость...

Целый квартал мы шли молча. Я искал слов и не находил. Разговор возобновила Галя, и так же стремительно, как и начала.

— У вас есть семья в Англии?

— Была. Сейчас никого, кроме Джейн.

— Это ваша дочь?

— Внучка. Такая же, как и ты. Девятнадцать лет.

— Я старше. А она красивая?

— По-моему — да. Впрочем, я плохой судья.

— Не такая, как я, уродина?

Я мысленно поставил Джейн рядом с ней. Галя была не хуже.

— Ты похожа на бабушку, Галя.

— Скажете тоже. Бабушка красавица была, — глаза у Гали заблестели. — А все-таки чудно. Вдруг оказалась сестричка в Англии. Ну не сестричка, а вроде. Она не говорит по-нашему?

— Нет, Галя. Ни слова.

Она вздохнула.

— Жаль. Значит, не сговоримся. А то хотелось бы поглядеть на нее.

— Почему же нет? Приедешь — познакомишься.

— А почему она с вами не приехала?

— Она служит, Галя. А фирма Клепкем не дает отпусков.

— Даже за свой счет?
— Увы.
— Я и забыла, что у вас капитализм,— сказала она с нескрываемым сожалением.
— Капитализм,— согласился я.— Только все это гораздо сложнее.
— Читала,— равнодушно заметила Галя.— И ребята рассказывали. Которые ездили. А у нас вам нравится?
— Я еще многого не понимаю, Галя.
— Поймете. Поживете и разберетесь. Вы где остановились?
— В гостинице.
— А вы к нам переезжайте. У нас две комнаты — поместимся. А то, можно сказать, родственник, и вдруг в гостинице. Нехорошо.
Я не мог сдержать улыбки. Галя вспыхнула.
— А вы не смейтесь. Конечно, нехорошо. Только я вас буду звать Иван Андреевич. У меня уже был один дед. Ладно?
— Зови, как хочешь. Ты — прелесть, Галя. Знаешь, на кого ты сейчас похожа? На добрую девочку из сказки, пожалевшую старого колдуна.
Я искренне любовался ею.
— Это вы-то колдун? — засмеялась она.— Нет, вы хороший. Только...— она испытующе посмотрела на меня и замаялась.
— Что только?
— Не такой, как мы. И такой, и не такой...— Галя смущенно подыскивала слова,— что-то есть в вас... не наше. Вы не сердчайте, но что-то действительно есть. Или в разговоре,— она почему-то взглянула на мои руки,— или вот, как вы шляпу держите. Почему вы ее сняли и не надели?
Как объяснить ей?
— Шляпу всегда снимают в церкви. А я чувствую себя сейчас, как в церкви. Ты это понимаешь, Галя?
Она опять замаялась.
— Не знаю... Тот, другой мой дед... никогда бы так не сказал.
И мне показалось, что прошла по крайней мере минута, прежде чем она добавила просто и задушевно:
— А может, все потому, что я к вам еще не привыкла. Вот переедете и — привыкну. И Виктор рад будет. Он до людей жадный.
...Так я переехал на восьмой этаж нового дома в квартиру знатного токаря Виктора Черенцова.

III

Он сразу же ушел на завод после завтрака. Мне уйти не удалось — Галя просила дождаться ее, она собиралась ненадолго в амбулаторию.

— Зачем, Галенька? Сегодня же воскресенье.

— А у нас непрерывка. У меня правда, выходной, но сегодня Ритка в хирургическом. Боюсь — не справится. В четверг Петьку Холопова с порезом привели. Кровь так и хлещет. Ритка, как увидела, так сразу в обморок. Даже Мария Кондратьевна расстроилась.

У Гали обостренное чувство долга. Я не совсем понимаю, перед кем. Перед нанимателями, обществом? У меня оно тоже было: за сорок лет ни одного замечания. Но фирма Клепхем не подарила своему юристу ни одного лишнего пенни, а я не отдал ей ни одной лишней минуты. Мы квиты. Так же работает Джейн.

Галя почему-то думает и действует иначе. Может быть, она хочет помочь подруге?

— Да она мне вовсе не подруга, зануда она и задавака.

— Может быть, мало опыта у врача?

— Конечно. Мария Кондратьевна всего второй год работает.

• Я, кажется, начинаю понимать.

— Значит, хочешь помочь неопытному врачу?

— Почему неопытному? И опытный был бы — все одно пошла бы. В воскресенье матери свободны, детей приводят. Они как птички раненые — сидят в хирургическом забинтованные. Жалко.

— Так ведь есть же дежурная сестра. И, конечно, опытная.

— Все одно беспокойно. Как там? Нет, уж пойду. Надо.

Пока я размышлял, у дверей позвонили.

— Откройте, Иван Андреевич,— крикнула Галя из ванной,— я пока оденусь.

Я открыл дверь и невольно шагнул назад. Передо мной стоял мой собеседник с автобусной остановки в Филях. Только сейчас я обратил внимание на оттенок его загара — он отливал медью. Так загорают только на юге.

— А-аа,— протянул он, узнав меня,— вчерашнее воскресенье. Здорово, дедуля.

Он уверенно вошел в переднюю, бросил взгляд на Галин пыльник на вешалке и рассеянно обернулся ко мне.

— Ты чей дедок — Галкин или Виктора?

— А вас почему это интересует? — спросил я.

— Меня это совсем не интересует. Я из вежливости,— засмеялся парень.— Галка дома?

— Она одевается,— буркнул я. Парень мне явно не нравился.

— Не гордые — подождем,— сказал он и прошел в комнату.

Даже не взглянув на оранжерею Виктора, он присел к столу и зашвистел.

— Нехорошо,— заметил я укоризненно.

— Что плохо?

— Швистеть.

Он оглядел комнату и ухмыльнулся.

— Верующий? А икон нет — значит, можно.

Но свистеть перестал. Я выжидающе смотрел на него.

— Что глядишь? Дивуешься?

— Загорели вы очень.

— В степи,— равнодушно пояснил он.— На целине.

Я буквально выпучил глаза. Передо мной был живой человек из того почти как Антарктида, страшного мира, каким со страниц «Дейли мейл» выглядят советские целинные земли.

— Сбежал? — спросил я.

— Дураки бегут, а я в отпуск приехал. Дело есть.

— А как там?

— Ничего. Наворачиваем.

— В землянках живете?

— Много вы о нас знаете,— фыркнул он и сплюнул.

Плевок пролетел на некотором расстоянии от меня и очень точно попал в раскрытое настежь окно. Я отшатнулся.

— Удивляешься,— засмеялся парень.— Это я в степи научился. Пылица по дорогам — смерть. Все горло забьет. А живем ничего. По-лучше нашего живем. Кровати с шишечками. Радио.

— Ого,— сказал я дипломатично.

— Амбулаторию огоревали. Вот я и приехал за Галкой.

— За Галей? — удивился я.— А Виктор?

— Виктор ей ни к чему. У него ни души, ни сердца — одна электроника.

— Ну, знаете, — начал было я.

— Знаю, если говорю, — отрезал парень. — Я за Галкой топал, когда тебя, дедок, здесь не было. Так бы душу вынул и на стол положил — на, бери, делай что хошь. Не взяла.

Он произнес это с такой откровенной горечью, что язвительная насмешка застыла у меня на губах. Я только спросил:

— Думаете, теперь возьмет?

Он помолчал, потом сказал, глядя в окно.

— Вызволить ее надо. Пропадет она с ним.

— Кого это ты вызволять собираешься?

В дверях стояла Галя. В синих глазах ее светился смех.

В первый раз увидел я, как он смутился. Кровь густо прилила к его лицу и шее. Даже стойкая сила загара не смогла скрыть этой предательской красноты.

— Когда ты только поумнеешь, Павел?

— Да вот как вижу тебя, так и дурею.

— Значит, и видеть не надо.

— А если такая дурь любого ума слаще, — нахохлился Павел.

— А мне в ней какая радость? На дурь и ищи дур!

Она подошла к зеркалу, кокетливым жестом поправив волосы. Павел стоял, опустив глаза, и не видел того, что увидел я: Галя отнюдь не сердилась.

— Давно приехал?

— Дня два.

— Когда назад собираешься? Или совсем не собираешься?

— Это от тебя зависит, Галка. Как ты захочешь.

— Значит, завтра и уедешь.

— Какая ты злая, Галина.

— Да уж какая есть.

Должно быть, растерянность Павла ей показалась забавной, потому что она громко рассмеялась и прибавила добродушно:

— Не расстраивайся, Павлуша. Я шучу. Лучше проводи меня до уголка.

— А ты не шути, — сказал упрямый парень. — Меня этим не отошьешь. Я прилипчивый.

— Ну пойдем, прилипчивый.

Появление Павла и Галина радость, плохо замаскированная наигранным пренебрежением к гостю, заставили меня призадуматься. Злые слова Павла об «электронике» вместо сердца у Виктора также наводили на размышление. Что-то уже так прочно связало меня с Галей и Виктором, что я не мог отнестись безразлично к ощущению неведомой опасности, занесенной ветром с целинных земель.

Сказать или не сказать Виктору? И что сказать? И не покажусь ли я на старости лет смешным гидальго из Ламанчи, забывшим о том, что в этом уголке подлунного мира действуют совсем иные моральные критерии и законы?

Пока я размышлял об этом, пришел Виктор и пришел не один. Его сопровождали Николай Дорохов, Света Минчук и Федя Семячкин. Курносенький Ежик Белкин с аккордеоном через плечо замыкал шествие. Все они работали в одной бригаде с Виктором, хотя я имел очень смутное представление о том, что такое бригада. Средний возраст их не превышал двадцати.

— Вот и хорошо, Иван Андреевич, — обрадовался Виктор, увидев меня дома, — с нами посидите. Ребят моих вы знаете.

Мы условились с Виктором и Галей, что для всех окружающих я буду просто их дальним родственником, приехавшим погостить на

лето. «Тихонький старичок», как меня окрестили соседи, ни в ком не возбуждал любопытства. Не заинтересовались мной и гости Виктора.

— У нас тут небольшое собрание, — пояснил он мне, — поговорим о жизни и вообще... Поинтересуйтесь, если хотите.

На мальчишеском лице Ежика отразились разочарование и недовольство. У него даже аккордеон всхлипнул.

— На заводе собрание, в клубе собрание, — протянул он, — я думал пивка выпьем, поиграем...

— Бесаме мучо, — съязвила Света.

— А что? Сила — песенка.

— Потом, — поморщился Виктор. — Не было бы дела, не позвал бы.

— А может, перенести? Не все ведь собрались. И Снегирева нет, — сказал Дорохов. Шрам на щеке, оттягивающий верхнюю губу, придавал лицу его суровое выражение.

— Это какой Снегирев — инженер? — спросил Ежик. — А он зачем?

Виктор промолчал, о чем-то раздумывая. Ежик настаивал:

— Зачем инженера тянуть?

— Где ты был, сопляк? — вмешался Федя. — Лабораторию Виктору дают. Не слышал, что ли?

— Ну, знаю.

— Инженера к ней прикрепляют и чертежницу.

— Это какая лаборатория, Витя? — заинтересовался я.

— Ну как бы вам объяснить попроще... Нечто вроде постоянно действующей группы рационализаторов. Подобрались люди разных специальностей — токари, карусельщики, заточники. Словом, комплексная бригада. Только каждое техническое улучшение будем искать не кустарно, а лабораторным путем. Вместе с инженером, конечно.

— Вот бы и собрались вместе. Лучше бы со Снегиревым, — все еще сомневался Дорохов.

— Нет, — возразил Виктор, — не о работе пойдет речь — о жизни. Со Снегиревым еще будет что обсуждать. А пока нам его догонять нужно. Отстали.

— Это в чем же отстали? — задорно откликнулась Света. — А если он отстал?

— Если отстал, — подтянем. Только я о культуре говорю — тут спорить нечего.

— Да ведь учимся, — сказал Дорохов, — кто на вечернем, кто на заочном. О тебе и говорить нечего. Ежик только. Так и он с осени обещал.

— Обещанка-цацанка, а дурному радость, — не утерпела Света.

Ежик нахмурился.

— Думаешь, не сдержу? Нет?

— Нет.

— Уже документы подал.

— Врешь. Куда?

— В техникум.

— Я не с кухни кума, я из техни-кума, — фыркнула Света. — Все равно врешь.

— Да будет вам, — остановил их Дорохов. — В чем Снегирев нас обогнал? Только в технике. Так сразу не догонишь — инженер.

В глазах у Виктора появилось уже знакомое мне выражение упрямого терпения. Я знал, что оно не исчезнет до тех пор, пока он не объяснит всего, что им непонятно. Виктор мог объяснять часами, не проявляя ни малейших признаков раздражения. Я испытал это на себе.

— Хочешь знать, в чем он нас обогнал? На прошлой неделе он был

на концерте Ойстраха. А мы были? Нет. Кто из нас интересуется серьезной музыкой? Никто. Еще пример. Встречаю Снегирева на книжном базаре у библиотеки Ленина. Смотрю, книжки покупает. Багрицкий и Брюсов. И то и другое — стихи. А знаем мы таких поэтов? Не знаем... или мало знаем,— поправился он, заметив протестующее движение Светы.— И не любим стихов. Не читаем.

— Я Есенина люблю,— сказал Ежик.

— Ну а кроме? Молчишь. А кто «Гамлета» в театре видел? Света видела... Больше никто? А Снегирев в двух театрах его смотрел. Зачем, спрашиваю? Для сравнения, говорит.

— Всего не посмотришь,— сказал Дорохов.

— И не прочтешь,— добавил Федя.

Оппозиция только подхлестнула Виктора. Он ринулся в атаку, как танк, подавляя батареи противника.

— Ну и что? Не прочтешь всего и не надо. А что прочтешь — твое. Я вот о чем: работа не может и не должна целиком поглощать человека. И чем дальше, тем у нас будет все больше свободного времени. Все время учиться тоже нельзя — надо отдыхать. А как? Я много думал об этом, и вот что вам скажу. Пить водку, песни горланить или весь вечер лежать на брюхе у телевизора — это не занятие для настоящего человека. Надо чем-нибудь интересоваться помимо дела. И чем больше интересов, тем богаче человек. Для серьезной музыки у меня, пожалуй, ухо пока еще неподходящее. Слуху мало. А вот Ежику прямое дело на концерты ходить — слух абсолютный. Я лично живописью заинтересовался. Прослушал пару лекций, почитал кое-что, по выставкам походил. Многого, понятно, не достиг, но уже разбираюсь немножко. Рыночных лебедей у себя не повешу.

— Это жена,— смутился Дорохов,— не может расстаться.

— Я не в укор,— продолжал Виктор,— я об интересах только. Например, орхидеи мои. У нас говорят: блажь. Смеются. И зря. Сколько я книг в связи с этим прочел — один Тимирязев чего стоит. Золото! И химией подзанимался маленько — надо составы для удобрений знать.

— Ну, я эти сады разводить не буду. Не по мне,— перебил Дорохов.

— И не надо. К чему влечет, тем и занимайся. Вон Федор, к примеру, марки собирает...

— Бросил уже,— смущенно признался Федя.

— Напрасно. Он хорошо марки собирал, с умом. Географию лучше всех нас знает. Помнишь «малюку силлатан», Федор?

Подобревшие глаза Виктора, поощрив Федю, остановились на мне.

— С ним, знаете, какой случай был, Иван Андреевич. Принесит как-то треугольную марку с рыбами. Внизу подпись: «Малюка силлатан». Ни он, ни я такого государства не знаем. Посмотрели атлас в читалке: нет такого государства. Увидела нас Верочка, секретарша директора. Чем, спрашивает, интересуемся? Мы объяснили. Пойдемте, говорит, со мной, у директора в кабинете большой атлас есть. Пошли. Посмотрели алфавитный список — нет такой страны, даже названия похожего нет. А тут директор заходит: понадобилось ему что-то вечером. Федька улизнул, а я объяснил, в чем дело. Извините, говорю, только и ваш атлас не помог. Не нашли? — спрашивает. Не нашли. Он сейчас же Кольке своему позвонил — сын у него тоже марки собирает. Есть у тебя такая марка? Нет, говорит. А знаешь такую страну? И страны не знает. Тут Федька в кабинет обратно стучится. Прощения прошу, товарищ директор, только страну я, кажется, нашел. Какую? Подходящую: Молуккские острова в Индийском океане. Директор взял трубку, знакомому профессору позвонил. И что же? Прав Федька оказался, конечно.

— Ошибся маленько,— сказал польщенный Федор.— Не в Индийском, а в Тихом. Я потом по карте проверил.

— Нарисовать может карту,— сказал Виктор с той же одобрительной интонацией.

— Что нарисовать, поехать бы!

— И поездишь.

— Где уж,— вздохнул Федя,— считаешь, и то хлеб. Я теперь книги собирать буду, библиотеку составлять.

— Поставить на полку не хитро, читать кто будет? — процедил Дорохов.

Но Виктору, видимо, понравилась идея собственной библиотеки.

— А мы с него спрашивать будем,— засмеялся он.— Купил книгу — прочти. Прочел — рассказывай. И давайте, вообще, закрепим такой разговор. По выходным у меня или у Коли. Можем судить тогда: растем или стынем.

Виктор остановился и подождал, будут ли возражать. И мечтательно, почти робко, словно боясь, что его не поймут или поймут неправильно, добавил:

— Хорошо бы еще дневник завести... коллективный.

Света вдруг жалобно и громко вздохнула.

— Ой, и трудно с тобой работать, Виктор.

— Начнет теперь стружку снимать,— отозвался Ежик.

— А ты думаешь: коммунистический — это только прилагательное? Была бригада коммунистического труда — старались, подтягивались, росли. Теперь этажом выше поднялись — считаешь, меньше тянуться будем. Ты только вдумайся хорошенько в слова: лаборатория коммунистического труда. Тут не только новаторский труд, бери шире: поиски лучших форм такого труда, самых передовых форм. Ведь и бригады коммунистического труда бывают разные: одни работают хорошо, другие еще лучше. Понял? Вот почему лаборатория — это проверка и пропаганда лучшего и в труде, и в себе самом.

Все сидели тихо, как в театре. Ни один голос не возразил Виктору. А я думал, что никогда и нигде я ничего подобного не слышал. Даже тончайшие английские «хайбрау» — высоколобые никогда не рискнули бы связать совершенство в труде с личным интеллектуальным и морально-этическим совершенством. Сажин был прав: они вырастили подлесок, он уже шумит, этот невиданный, богатырский лес.

— А где Галя? — вдруг спросил Виктор.— Она должна бы уже вернуться.

Я рассказал о целинном госте.

— Пашка? — удивился Ежик.— Сбежал, значит.

— Кажется, нет,— уточнил я.— Дела у него.

— Знаем его дела. Летун.

— Теперь у Виктора Галку отбивать будет,— вмешалась Света. Она даже побелела от гнева.

— Еще подколет,— прибавил Федя.

Виктор молчал.

— Если он к нам на завод думает,— не выйдет. Не возьмем,— сказал Дорохов.

Виктор обернулся ко мне и тихо спросил:

— Не знаете, он совсем приехал?

Я предпочел умолчать, что это «зависит от Гали».

— Я не верю, что он сбежал,— продолжал задумчиво Виктор,— нет, не верю.

— Какая разница,— отмахнулся Дорохов,— тебе-то что?

— Я бы его взял в лабораторию.

Даже я почувствовал в наступившем молчании единодушное осуждение. Дорохов только головой покачал.

— Ты с ума сошел, — чужим голосом сказала Света.

— У него светлая голова и золотые руки, — спокойно возразил Виктор. — Знаешь, как раньше о таких говорили? От бога механик.

— Это ты — от бога механик, — рассердился Дорохов. — Дурака валяешь.

— Ведь он тебя ненавидит, Виктор, — вмешалась Света.

— За что?

— Будто не знаешь.

— Не верю.

— А в клубе скандал забыл? А финку, которую у него отняли? Не будь христосиком — смешно!

Виктор сидел со странно отсутствующим видом. Казалось, он никого не видел.

Федя дипломатично посмотрел на часы.

— А как насчет столовой, товарищи? Не опоздаем? А то еще обеды кончатся.

Ребята поднялись. От них веяло холодком.

...Я все-таки поехал еще раз взглянуть на Машенькин дом. Нам надо было проститься.

Поехал я на метро; кстати сказать, впервые за время моего московского сидения. По капризу или из упрямства, но я ни разу не заглянул туда, может быть потому, что и в Лондоне и в Москве москвичи наперебой советовали мне прежде всего побывать в метро. Меня даже забавляла эта наивная гордость таким в сущности обычным для европейца средством передвижения. Но когда я сказал об этом Сажину, он расхохотался.

— Да мы вовсе не средством передвижения гордимся, а тем, что выстроили.

Я тогда не поверил ему, но, спустившись в прохладную мраморную глубину, наполненную сквозными ветрами и светом бесчисленных люстр, я понял, чем гордились хозяева новой Москвы. Для англичанина вокзал — это прежде всего вокзал, место, где садятся в поезд, и только. Он продолжает улицу — те же рекламные перед глазами, те же окурки под ногами, та же торопливая, недружелюбная суета. Вокзалы метро в Москве тоже продолжают улицу, пуритански чистую московскую улицу, но их мраморное величие говорит уже о завтрашнем дне. Они лишь частично принадлежат сегодняшней Москве и естественнее вписываются в облик Москвы будущей, в которой не останется ни одного кривого, горбатого переулка.

Переулка, который я искал, также не было. Последние дома лежали бесформенной грудой штукатурки и деревянного лома. Рабочие уже ушли — тишина смерти окружала черные от старости бревна.

Я присел на бульварной скамейке у полоски газона, окаймлявшей новый дом на противоположной стороне улицы. Прямая, как стрела, она, казалось, уходила в бесконечность, исчезая в дымке угасающего летнего дня.

Возле меня на скамейке лежала серенькая ученическая тетрадка — ветер небрежно листал ее страницы. Я взял тетрадь. На обложке ее прыгающими детскими буквами было записано: «Англ. яз. для памяти. Клавдия Новикова». Дальше на пяти-шести листках были выписаны столбиком идиоматические выражения, наиболее часто встречающиеся в английском языке. Тут же приводился русский текст, взятый из словаря. Два выражения в конце были подчеркнуты, и против них вместо перевода стоял большой вопросительный знак.

Мне показалось вдруг, что на меня смотрят. Я не ошибся. Тоненькая девушка в белом фартуке, только что подметавшая тротуар, глядела на меня пристально и сурово. Мне стало неловко.

— Кто-то забыл эту тетрадку, — пояснил я.

— Никто не забыл. Это я оставила.

— Вы?

— Я. А что — непохоже? — улыбнулась она и взяла у меня тетрадь.

Я посмотрел почему-то на ее руки. Она покраснела.

— Простите, это вы — Клавдия Новикова?

— Я. Что это вы спрашиваете, как в милиции? Моя тетрадка.

Мне вдруг показалось, что я ее где-то видел.

— Может быть, — ответила она равнодушно и хотела уйти.

— Постойте, — остановил я ее, — вспомнил. На автобусной остановке, в Филях. Правда?

Она мельком взглянула на меня и сказала уже добродушнее:

— Верно. Вы кого-то разыскивали. Нашли?

— Нашел в общем, — неопределенно ответил я и подвинулся. — Садитесь. И не гневайтесь на любопытного старика.

Она присела на край скамейки, сунув тетрадку в карман.

— Вы здесь живете? — спросил я.

— Сейчас здесь. Дали комнату в общежитии. А то тащись с Филей через весь город. Я здесь дворником работаю, — пояснила она.

Признаться, я не нашел, что сказать. Она тотчас же это подметила.

— Удивлены? Профессия для девушки неподходящая? Или дворнику не подобает изучать английский язык?

Я вспомнил иконописного Никона у нас на дворе, косноязычного Егора с налитыми кровью глазами, дворника-татарина у Пикерсгилей и не смог удержаться от улыбки.

Она совсем рассердилась.

— Что ж тут смешного?

— Ничего, конечно. Но для дворника это уж не так обязательно.

— А я и не собираюсь всю жизнь мести улицы. Поступила потому, что стипендии не хватает. Шить я не умею. На завод разряд нужен. А на одну стипендию не проживешь — у меня еще тетка больная.

Какой еще сюрприз, черт возьми, преподнесет мне Москва? Ведь говорил же Сажин: не к зданиям, а к людям здесь надо присматриваться. Девушка, почти девочка, с кудряшками на висках. Девятнадцативешняя, сказал о ней Северянин. Да разве он о ней сказал? Такие ему и не снились. Дворник с метлой и бляхой на фартуке, изучающий английские идиомы! Господа туристы, включите в свои маршруты это московское чудо!

— И успеваете? — спросил я с невольным уважением.

— Трудно, — созналась она. — И помочь некому — в общежитии все девчата чужие. Вы английский знаете?

— Знаю.

— Что такое опен шоп? Буквально: открытый магазин. А по смыслу не подходит.

— Не магазин, а завод, — поправил я. — Завод, принимающий на работу неорганизованных рабочих и штрейкбрехеров.

Я повторил это по-английски.

— Какое у вас произношение, — сказала она с завистью. — Вы были в Англии?

— Жил.

— Долго?

— Сорок лет с лишним.

Она по-детски всплеснула руками.

— Ой! Целый век! Наверно, и думаете по-английски?
— Конечно. В Англии — по-английски, а здесь — по-русски.
— Все-таки сорок лет,— задумалась она.— Я бы не могла так долго... Мне бы хоть на недельку съездить. Очень трудно без практики.
— А вот давайте разговаривать по-английски,— засмеялся я.
— Не надо, я боюсь,— замялась она.— Лучше я вас так спрошу, когда трудно будет. Вы где живете?

Я объяснил.

— А не рассердитесь, если скоро приду?

Домой я не пошел. Долго-долго бродил по улицам, и Москва почему-то уже не казалась чужой. Зажглись фонари. Москва-река почернела и стала похожа на Темзу. Так же отражались в ее темном зеркале огоньки города, так же пыхтели пароходики, волоча за собой длинные, низко сидящие баржи. Над асфальтом набережных подымался туман. Я шел с ощущением странной легкости, словно сбросил с плеч тяжелый рюкзак.

Легко жить без воспоминаний.

Ни Гали, ни Виктора не было дома, когда я вернулся. Как я заснул, не помню, но мне показалось, что сейчас же проснулся. В соседней комнате зазвенела ложка в стакане. Должно быть, Виктор пил чай. Он всегда пил чай на ночь.

И тотчас же послышался тихий шепот:

— А я и не слышала, как ты пришел. Старик спал уже, и я легла. Где был?

— На лекции. Оттуда пешком шли.

— А я в клубе. После кино потанцевала немножко.

— Охота тебе?

— Почему? Я давно не танцевала. Музыка... свет... Хорошо. Меня наперебой приглашали.

— Кому что.

— Однобокый ты человек, Виктор. Думаешь, при коммунизме танцев не будет?

— Почему не будет? Будут. По потребностям. Есть потребность, ну и танцуй.

— А у тебя нет потребности?

— Нет.

Грустный вздох Гали. Потом тишина. Потом вопрос Виктора:

— С Павлом была?

— А ты уже знаешь?

— Совсем приехал?

— Разве его поймешь.

— К нам на завод не собирается?

— Не знаю. Да его и не возьмут.

— Я возьму. К нам в лабораторию.

Молчание. Потом глухой, изменившийся голос Гали:

— Ты в уме?

— Станный вопрос. У него инструмент в руке, как скрипка. Кто же не возьмет?

— Скрипка! При чем здесь инструмент? Ты нарочно.

— Не понимаю.

— Чтобы меня уколоть.

— Ты глупая, Галка.

— Я знаю, что говорю. Не лги.

— Я никогда не лгу.

— И не ревнуешь?

— Зачем? Ты замужем.

— И замужних отбивают.



РАБОТЫ Г. И. ОКУЛОВОЙ-ТЕОДОРОВИЧ
Композиции из засушенных цветов



«Решительность и неу-
страшимость, четкая речь
и на редкость четкая
жизнь стойкого, убежден-
ного большевика, — такой
будет жить в сознании
всех знавших ее Глафира
Ивановна Окулова», — пи-
сал Г. И. Кржижановский.
Вспоминаю одну из старей-
ших членов Коммунисти-
ческой партии Г. И. Окуло-
ву-Тедорович.
В последние годы жиз-
ни она увлекалась самооб-
разной живописью — живо-
писью цветами. Кротоли-
во подбирая засушенные
цветы и листья, она со-
здавала интересные по коло-
риту и композиции панно
и картины. Репродукции
с некоторых из них публи-
ковались в этом номере
журнала.





— А кто отбивается, туда и дорога. О чем тогда говорить?
Опять молчание. Звенит ложка в стакане. Виктор пьет чай.
— Ты что делаешь? — спрашивает Галя.
— Так кое-что. План домашних занятий. По-моему, стоит языком подзаняться.
— Чем?
— Скажем, английским. А то приезжают на завод иностранцы, а ребята ни бе, ни ме. И за границу поехать — тоже пригодится. Как думаешь, Иван Андреевич согласится группу вести?
Галя молчит, потом отвечает чужим голосом:
— Ты не человек, Виктор.
— Опять!
— Нет, не человек.
Она начинает смеяться.
— Тише! С ума сошла.
— Ты робот.
Смех переходит в хохот. У Гали истерика.
— Галочка, что с тобой? Галочка!
— Отстань... У тебя души нет.
Слова Гали прерываются глухими всхлипываниями.
— Отстань, говорю.
— Галочка!
Звенит стакан. Очевидно, Виктор дает ей пить.
— Я спать хочу. Оставь.
И тишина.
В эту ночь я долго не мог заснуть.

IV

Уж больше недели мы одни с Виктором. Галя ушла совсем. Ушла на другой же день после нашего разговора, оставив две коротких записки.

Одна предназначалась Виктору.

«Я ухожу совсем, Витя. Иначе — не могу. Я не подходящая для тебя жена, а мне с тобой трудно. Я как низкорослое дерево, сколько его ни тяни — не вырастет. Только с корнем вырвешь. Поэтому надо кому-нибудь сказать: конец. Вот я и говорю: прощай, Витя. Не ищи со мной встреч. Не надо».

Ниже было приписано карандашом:

«Простите, Иван Андреевич, что испортила вам отпуск. Из нашего разговора вы уже все поняли — добавлять нечего. На душе так горько, что хоть вниз головой из окна. Как видите, и в нашей счастливой стране бывают у людей свои несчастья. Не судите плохо о советских людях — не у всех так. Когда будете уезжать, оставьте адрес Витьке — может, написать захочется. Ведь кроме дяди Коли и вас, у меня родных нет».

Мы долго сидели в тот вечер друг против друга. Ни одного слова не было сказано. Виктор умел страдать молча, без жалоб, без слез, без упреков.

— Будем чай пить, Иван Андреевич? — спросил он наконец.
— Не хочется, Витя.
— Жить ведь надо.
— Надо, Витя.
— У меня к вам просьба, Иван Андреевич. Не уезжайте пока. Одному мне теперь будет очень трудно.

...Утром я послал Джейн телеграмму о том, что мое московское турне задерживается: все, мол, в порядке, не беспокойся. Ни я, ни она не любили длинных посланий. Эпистолярное искусство, достигшее совершенства в викторианские времена, в наш атомный век грубеет и чахнет. Даже любовники в разлуке предпочитают разговор по междугородному телефону.

Я не писал Джейн о Гале, предпочитая все рассказать по приезду. Да разве письмо объяснит ей, что случилось вдруг дома у Виктора Черенцова и что вообще может случиться, если у тебя в семье начнется строительство коммунизма.

После злополучного воскресенья, когда события уже назревали, Виктор ушел на завод очень рано, и мы с Галей завтракали одни. Она была необычно молчаливой и казалась нездоровой. Веки у нее припухли и покраснели.

— Не притворяйтесь, Иван Андреевич, — сухо сказала Галя, отвечая на мой вопрос, не больна ли она. — Сами видите — плакала я. И глаза распухли.

Незачем было спрашивать, отчего она плакала: я-то ведь знал.

— Трудно мне с Виктором, — заговорила она, помолчав, — ох, как трудно. Наверное, заметили?

— Приметил.

— Помните наш разговор на улице, когда я попрекнула вас, что уехали. Я сказала тогда: уйти от любимого человека можно, если ты ему в тягость. Только тогда. Кажется, это у нас с Виктором наступило.

Я, старавшийся до сих пор сохранять во всем позу бесстрастного наблюдателя, вдруг испугался. А что, если это серьезно?

— В тебе говорит обида, Галя.

— На что?

Я вспоминаю ночной разговор. Что-то действительно было. Но что?

— Может быть, Павел...

— Что вы, Иван Андреевич! Виктор даже и не ревнует. Ни любви нет у него, ни ревности... Говорят, на Брюссельской выставке машину показывали. Думает, как человек, отвечает на вопросы, как человек. Только не смеется и не плачет, не жалуется и не сердится. Так и Виктор.

Я взглянул на орхидеи в окне. Миниатюрная дождевальная установка включилась, и веселый круговорот водяных струй побежал по широким листьям и мхам. Удивительно изящно, смело и остроумно было все это придумано.

— Все-таки ты не права, Галенька.

— Не знаю. Я жить хочу, как все люди живут. В кино пойти, в клуб. Я танцы люблю... Девчонок иногда позвать хочется, попеть. А у него одно: учись. Мало ему, что я медсестра неплохая, — на врача учись. Сам предлагает в университет подготовить. Думаете, не подготовит? Подготовит, как на курсах. А какой из меня врач?

Она произнесла это с таким внутренним убеждением, что если бы не серьезность минуты, я бы расхохотался. Славная, глупая девочка.

— Если у вас так легко поступить в университет, зачем же отказываться?

— Если бы легко! А потом сколько муки претерпеть — не считаете? Ведь я не старуха. Инженер Снегирев мне стихи писал, Пашка из-за меня смерть примет — так любит. А Виктор, знаете, о чем думает — о любви? — синие глаза ее недобро вспыхнули, — английскому языку нас учить — вот о чем. Чтоб вашим туристам удобно было. А по мне пусть русский учат, если к нам ездят.

— Виктор, наверное, надеется, что скорее выучит английский, чем наши туристы — русский. И, кстати говоря, он прав, — сказал я. — Ты просто не понимаешь его.

— А вы понимаете? — это было сказано с накипающим раздражением.

Я попытался объяснить.

— Он — фанатик, Галя. Одержимый одной идеей, которой подчинил всю свою жизнь. Великая страсть владеет им: создать общество духовно совершенных людей, достойных тех социальных форм, какие ему рисуются в будущем. Он называет это борьбой за коммунистического человека. Пусть так — неважно. Но разве это не благородная, не красивая страсть? И разве он не достоин подруги, которая бы шла вместе с ним, верила ему, училась у него...

Ах, Джейн! Что стало с твоим сумасбродным дедом? Никогда он не произносил таких речей, да еще с такой неприличной запальчивостью! Но до сердца Гали моя речь не дошла.

— Видно, и вас он сагитировал, Иван Андреевич, — сказала она с горечью и поднялась из-за стола.

Это был последний мой разговор с Галей.

Еще несколько дней.

Как будто мало что изменилось. Мы с Виктором по-прежнему обедаем на фабрике-кухне, завтракаем и ужинаем дома. По утрам я езжу в Парк культуры у Крымского моста, по вечерам хожу в кино. Старую Москву больше не вспоминаю.

Порой мне кажется странным, что я когда-то жил на Чейн-уок и читал «Дейли экспресс» по утрам. Теперь я читаю «Правду». В доме меня все уже считают своим, а сосед Иван Егорыч при встрече удостаивает даже разговором.

— Эй, тетка! Читал?

— Что именно? — интересуюсь я.

— Что-что... О пленуме речь.

С помощью Виктора я теперь уже легко лавирую между съездами, пленумами, бюро и секретариатами. Я уже знаю, что значит «всыпать на бюро», «снять стружку», «выложить билет на стол». Но Ивану Егорычу можно не отвечать, его достаточно слушать.

— Разворачиваем автоматику. Великое дело.

Я соглашаюсь.

— Через год в цеху больше десяти человек не останется. Все автоматы.

Его раздувает от гордости, а я думаю, как эта же перспектива заставила бы английского рабочего почернеть от страха. Но я не рядовой английский турист — мне удивляться не полагается. К тому же я проник уже в тайны социалистической рационализации и знаю, что ни самому Ивану Егорычу, ни его товарищам агрессия автоматики ничем не грозит. В худшем случае их переведут на другую работу.

И, как всегда, на прощанье он приглашает меня перекинуться в домино.

— Забьем козла, сосед. Заходи.

Но меня тянет к Виктору. Вчера он купил новенький телевизор и тотчас же разобрал его до последнего винтика. А сейчас снова собирает, напевая вполголоса. Голос у него приятного низкого тембра, и я удивляюсь, почему он никогда не пел раньше. Ведь Гале так хотелось «попеть».

Виктор не слышит меня, он поет:

Ты меня не ждешь давно-давно,
Нет к тебе путей-дорог...
Счастье у людей всегда одно,
Только я его не уберег.

И такая щемящая грусть в словах его, что я застываю в дверях, стараясь даже не дышать. Я-то ведь знаю, как потом стыдится он таких минут.

Но он услышал, обернулся. И тут же замолчал. Я подсаживаюсь к нему и молча слежу за его работой. Молчать мы можем часами. Но выдержки у него всегда больше.

— А что вы, собственно, делаете сейчас на заводе, Витя? — завожу я разговор, осторожно выводя его из «молчанки».

Но Виктор упрямится.

— Сейчас? — отвечает он нехотя. — Совершенствуем зажимные устройства, внедряем пневматические приводы к станкам.

— Я не совсем понимаю, Витя.

Он оживляется, в нем просыпается популяризатор.

— Ну как вам объяснить? Что такое токарный станок, представляете? Прежде чем пустить в ход резец, надо установить и закрепить стальную болванку. Делается это вручную, винты затягиваются с помощью рычагов и ключей. Снимают готовую деталь тоже вручную. Десятки раз в смену, тьма времени. Ну а пневматическое устройство позволяет мгновенно заклинить деталь в патроне. Нажал кнопку, и сжатый воздух все сделает без рычагов и ключей.

Виктор увлекается, и рассказ о зажимных устройствах превращается в лекцию об автоматике. Через полчаса я знаю об этом несравненно больше любого корреспондента английской газеты, набившего руку на «московских сенсациях».

Я все больше люблю его, этого человека, к которому нельзя подойти со старыми душевными мерками. Не холодноватое английское «нравится», а именно русское, славянское «люблю», сплав привязанности и восхищения. Меня восхищает и сдержанность его чувств, благородная мужская сдержанность, которая чем-то сродни подлинной чистоте души, и даже его душевная неприступность, которую он носит как панцирь против человеческого сожаления и любопытства. Это не отчужденность от людей, нет — он готов говорить взволнованно и горячо обо всем, что его интересует, но есть одна заповедная тема, которая замыкает наши уста. Это понимаю не только я, но и его близкие друзья.

Вчера к нам забежали Светлана и Федя.

— А Виктора нет, — объявил я, впуская их, — и когда он придет, не знаю.

— Мы к вам, Иван Андреевич, — тихо сказал Федя и заговорщически оглянулся вокруг, точно нас мог подслушать кто-нибудь в пустой квартире.

— Он Павла видел, — пояснила Света.

— Сидел у окна автобуса, увидел меня и отвернулся. На Фили ехал.

— Никуда они не уехали, — присовокупила Света.

— Вы думаете, что Галя в Москве? — спросил я.

— Непременно. Пашка нахрапом действует. С налета. А если не по его, сразу скисает. А Федька говорит: он кислый ехал.

— Значит... — задумался я.

— Значит, сразу не увез — так не увезет. Не поехала она с ним. Вот мы и решили: Галку разыскать и взять в работу.

Я усомнился. Взять в работу... Точно деталь на станке. Да и выйдет ли?

— А с Виктором говорили?

— Как же, поговоришь с ним.

— Каменный.

— Тогда нельзя,— решил я.— Неудобно. Все-таки его дело, частное.

— Старый вы человек, Иван Андреевич,— назидательно заметил Федя,— и понятия у вас старые. Не частное дело, а наше, общее. Государственное дело. Душа у него болит, делу мешает. А мы что ж — молчи?

— Найти и поговорить с ней по-комсомольски. Против коллектива не пойдет,— не утерпела Света.

Я опять усомнился.

— Не всегда коллектив вправе вмешиваться в личную жизнь человека.

— Всегда,— безапелляционно сказал Федя.

Так мы и не договорились. Они ушли, заставив меня задуматься над проблемами коллектива и личности. Неужели сверстникам Сажина удалось воспитать поколение, совсем не тронутое ржавчиной индивидуализма? Тогда это одно удивительнее всех индустриальных побед!

Когда пришел Виктор, я наконец решился. Заповедная тема перестала быть заповедной.

— Почему вы никогда не спросите меня о моем разговоре с Галей?

Виктор отвечает с обычным спокойствием.

— Потому что представляю его содержание. Опять Павел?

— Дальнозоркие обычно не видят у себя под носом. Речь шла не о Павле, а о вас.

— Обо мне?

— Вы шагаете вперед в семимильных сапогах, другие же следуют за вами в обыкновенных ботинках, даже в тапочках. А вы не видите этого.

— Аллегория! И не очень понятная.

— Возьмем другую. Вы — тренированный альпинист, дышите свободно на любой высоте. А люди, связанные с вами одним ремнем, терпят дыхание. Что надо сделать?

Виктор саркастически усмехается.

— Очевидно, ослабить ремень.

— Или шаг,— не сдаюсь я,— надо быть понятливее, терпимее, Витя, душевнее, если хотите, к человеческим слабостям. Люди не одинаковы.

— А чего я от них требую? Учись, читай, расти. Невозможно это? Чуть! Ежик вон на футбол бежит, а я ему книжку сую. Ну что же, после футбола прочти. Недоспи, а прочти. Только осознай, что так надо, что нельзя без этого, тогда и простить можно, если силенок не хватает.

Трудно спорить с Виктором, но я все-таки пытаюсь.

— Вы стремитесь к духовному совершенству, Витя. Но духовное совершенство, как и физическое, невозможно для всех.

— Чепуха! — сердится Виктор.— Безногий не пробежит стометровку, но любой нормальный, здоровый человек пробежит. И раз от разу может улучшить время. Это — моя аллегория. Понятно? Если я хочу стать лучше, почему другой не может хотеть этого? Только зачоти, воспитай в себе это «хочу». Вот этого я и требую.

Спор можно продолжать, но я уже выдыхаюсь. Виктор в чем-то убедил меня, но мне кажется, что и сам в чем-то поколеблен.

Мы не успеваем уточнить этого — раздается звонок.

Пришла Клавдия Новикова.

Виктор несколько удивленно подвел ее ко мне, но удивиться по-настоящему пришлось мне, а не им, потому что Клавдия, рассмотрев

Виктора, освещенного настольной лампой,— в комнате было темно,— вдруг воскликнула.

— Черенцов! Витя!

Виктор смущенно протянул руку:

— Здравствуй, Клава.

— Странно,— заметил я обиженно,— все друг друга знают, а я кручусь среди вас, как щепка в омуте.

— Да мы с детства знакомы,— сказала Клава,— на одном дворе жили. Витя, я и Павлик. Ты знаешь, он здесь сейчас.

— Слышал,— неопределенно отозвался Виктор.

— Вы разве не встречаетесь?

— Нет.

Несколько смутившись сухостью Виктора, Клава перешла к делу, которое привело ее ко мне. Ей нужно было перевести небольшой кусочек английского текста.

Текст оказался технический, и я сразу же спасовал. Пришлось привлечь Виктора, который, к моему удивлению, довольно сносно умел читать.

— В школе занимался, да забыл потом,— признался он,— сейчас только алфавит и помню.

Но помнил он много больше, а самое главное, отлично знал техническую терминологию. И пока я неуверенно подбирал по смыслу русские слова, он, подумав, сразу называл нужное. Клавдия уже не на меня, а на него глядела с почтительным уважением.

Мне пришла в голову одна идея.

— Вы ищете учителя, Виктор. Группу хотите создать. Искать, по моему, незачем. Вот вам и педагог.

Виктор не признавал ложной вежливости.

— А ты справишься? — с сомнением спросил он.— Молода очень.

— Не знаю,— смущенно пробормотала Клава и потупилась.

Я тут же пришел ей на помощь.

— Неправда, Клава. Знаете. Педагогический огонек у вас должен быть, раз в педагоги идете. Интерес к делу есть и знаний, по моему, достаточно. Ну, а опыт дело наживное.

— Попробуем,— согласился Виктор,— начнешь со мной, а там и с группой решим.

Однако я скоро пожалел о своей инициативе. Клава приходила каждый день и, возвращаясь домой, подсаживалась ко мне на скамеечку — обычно во время уроков я спускался вниз посидеть на деревянном диванчике, поставленном у подъезда лифтером. Здесь она и успевала за несколько минут надоесть мне иступленным захваливанием Виктора.

— Какой потрясающе способный человек (это я уже знал), и какая у него память (и это я знал), мы проходим сейчас по три главы зараз (и это знание меня не обогатило).

Если б только она ограничивалась уроками!

— Почему от него жена ушла, вы не скажете?

Я молча вздыхал, деликатно намекая на нежелательность темы.

— Слепая! От такого человека уйти!

Я скрежетал зубами и молчал.

После третьего или четвертого урока она, как обычно, выбежала из подъезда и, присев рядом со мной, радостно выпалила:

— А сегодня он не такой задумчивый. Даже смеялся. По моему, он ее забывает.

Я не выдержал.

— Вы уже успели влюбиться?

Она простодушно не заметила сарказма.

— Я еще девчонкой была в него влюблена. А сейчас это совсем простительно.

— Нет, Клава, не простительно, — я уже не щадил ее. — Вы не знаете правды. Он страдает и мучается и будет страдать и мучиться до тех пор, пока не вернется Галя. Он — однолюб и никогда не полюбит другую.

— Сказки, — откликнулась она, но уже далеко не уверенно.

Тогда я нанес последний удар.

— И Галя его любит и в конце концов вернется, я уверен, — я произнес это почти вдохновенно, — не создавайте себе иллюзий, девочка.

Она вдруг погасла и согнулась, как сгоревшая спичка. Только надежда, до конца не оставляющая человека, слабо тлела в глазах.

— А почему же... почему она ушла? — тихо спросила Клава.

Я рассказал ей историю Гали и Виктора так, как знал ее сам.

Теперь погасла и надежда.

— А кто этот... с целины?

— Вы его знаете. Это — Павлик, о котором вы говорили. Парень, позвавший вас тогда на автобусной остановке, помните?

Она отшатнулась почти с ужасом.

— Хорьков?! Павел! Не может быть...

Она закрыла лицо руками и медленно поднялась со скамейки.

— Теперь я все понимаю.

Кончики пальцев ее на лбу побелели от напряжения. Она отняла их, в широко раскрытых глазах ее светилась странная решимость.

— Все будет хорошо, Иван Андреевич. Только не говорите Виктору.

— О чем, Клава?

— О нашем разговоре. Слышите? Я все сделаю.

И побежала к воротам.

— Клава! — закричал я ей. — Погодите!

Она даже не обернулась.

На следующий день Виктор работал в вечерней смене. Было жарко и душно, особенно к вечеру. Долго не потухающее небо от жара и пыли, стоявшей высоко над Москвой, казалось сиреневым. Даже не утихавший никогда сквознячок из ворот не приносил прохлады.

Я сидел на своей скамеечке у подъезда и смотрел, как дети играли в классы. Древняя игра, известная, должно быть, с сотворения мира.

— Здорово, дедок, — услышал я знакомый голос.

И человек был знакомый в той же выцветшей ковбойке с воротничком, почерневшим от пота. Целинный загар его поблек под московским небом. И весь он как-то поблек, только воспаленные глаза горели, как угли, на осунувшемся лице. Казалось, он не спал, может быть пил всю ночь и весь день до этой минуты. От него пахло спиртом.

Я инстинктивно отодвинулся.

— Не пьян я, дедок, не бойся. Галка дома?

— Нет, — удивился я.

— Значит, не пришла еще? Придет. Проиграл Павел Хорьков, еще раз проиграл свое счастье. Ну что ж, заплатим проигрыш, как положено.

Он присел на кончик скамьи, руки бессильно упали на колени.

— Я ее у знакомой бабочки поселил, когда она от Витьки ушла. Думал, со мной уедет... замуж пойдет.

— Обещала? — спросил я.

— Нет. Разговору у нас об этом не было. Так и сказала: «Ты мне душу не тревожь, Павел, а то последний раз меня видишь». Только комнату и приняла. Хорошая, между прочим, комната. Сирень на

дворе. А она даже не улыбнется. Задумчивая такая, строгая. Я как цуцик за ней ходил, стихи ей читал...

Я буду краток, жить недолго мне:
Мой срок короче горького рассказа,—

продекламировал он и, задыхаясь, продолжал: — Я много стихов знаю — в драматическом кружке выучил. «Почитай мне, Павлик», — скажет. А о жизни ни слова. Я уже тогда понял, что все проиграно, что зря она от Витьки ушла.

Он говорил тихо и монотонно, как в бреду.

— А тут еще эта Клашка пришла к квартирной хозяйке — тетка она ей. Я не досмотрел, не было меня. А то эту мышшь... — он сжал кулак так, что пальцы хрустнули. — Уж не знаю, что она Галке наговорила... догадываюсь, конечно. Только Галка после этого собрала вещи и ушла. Все равно бы ушла, я уж знаю, только все-таки непереносно. Любит она Витьку...

— Любит?

— А то нет? Иначе удержалась бы, думаешь? Никогда. Я как из Шекспира прочту:

Любовь на крыльях понесла меня,
Ведь для любви и камень не преграда...—

— разве кто удержится? — он дохнул мне в лицо винным перегаром, только глаза были трезвые, ясные, до жути горящие глаза. — А она нет! Как отрезала. Тут и решил было: кончу Витьку. Ране не довел, теперь доведу. Только ведь кровью не умоешься и счастья не вернешь. Не бывает на крови счастья...

Он поднялся твердо и уверенно, будто и не пил вовсе.

— Прощай, дедок. Видно, не дожидаться мне Галки. Да и ждать, пожалуй, не стоит. В степь поеду. Легче дышится там, в степи... Домá не мешают. А Галке скажи, — прибавил он и замаялся. — Нет, не надо. Не говори ничего. Пусть...

И, не договорив, медленно побрел по двору — побитый, не страшный, споткнувшийся человек.

И тоже не оглянулся.

...А Галя пришла совсем поздно, после того как вернулся Виктор и я уже поджарил котлеты к ужину.

Она вошла как лунатик с протянутыми руками, ничего не видя, кроме Виктора, стоявшего у окна.

— Витя!

— Люба моя!

— Я измучилась, Витька. Не могла больше.

— И я.

Я тихо затворил за собой дверь.

А минуту спустя Галя ворвалась ко мне, и я ощутил сразу все: и силу едва не задушивших меня объятий и теплоту ее слез, высохших у меня на щеках,

— Иван Андреевич! Спасибо вам...

— За что, Галенька?

— За Витьку, за меня, за то, что образумили дуру березовую.

— Я ничего не знаю, Галенька.

— Не выдумывайте. Все вы знаете. Все понимаете. Умница вы моя.

Она говорила, а Виктор стоял в дверях и улыбался, очень смешной и помолодевший.

А ночью за дверью снова знакомый шепот, без которого так долги были мои стариковские ночи.

— Я выброшу оранжерею!

— Не смей, Витька.

— И будем три раза в неделю ходить в клуб. Я уже решил.

— Милый.

— И на танцы.

— А лекции?

— Хватит времени и на лекции.

— Не дури, Витька. Пусть все остается по-прежнему. Я дурой была.

— Неправда.

— Нет, правда. Ну, может, один вечерок выкроишь.

— Сто. А по выходным будем за город ездить. Хорошо?

— Не знаю. Я заниматься буду. Поможешь?

— Неужели нет?

— А сколько я тебе писем написала! Напишу и порву... напишу и порву...

— А я тебе стихи написал. Думаешь, только Снегирев может?

— Покажи.

— Дурочка, ведь ночь.

— Все равно...

Нет повести прекраснее на свете...

V

Наконец я уезжаю.

Самолет на Лондон вылетает днем. Виктор и Галя поэтому приедут во Внуково прямо с работы.

На аэродром меня везет Сажин.

Он сам ведет машину и очень торопится — ему еще надо успеть на заседание какой-то архитектурной комиссии, — мало разговаривает, представляя мне молча проститься с Москвой.

А что можно увидеть в московский июльский полдень сквозь ветровое стекло быстро мчащегося автомобиля? До блеска выбеленную солнцем перспективу будто вымеренных линейкой проспектов, автомобильные перекрестки, белые кители милиционеров, сутолоку у витрин — живой, глазастый, по-летнему расцветенный орнамент города.

Щемит сердце, как при расставании с новым, поллюбившимся другом — я подчеркиваю н о в ы м — ведь мой Китеж-град давно потонул в прошлом до кончиков своих золотых маковок. И я уже не считаю на улицах особняки и церкви — на моем пути их больше нет.

Зато я считаю строящиеся дома.

Их срезанные на разной высоте этажи, кажется, кричат в небо: мы растем, растем, завтра будем еще выше. Ажурные стрелы строительных кранов подхватывают бетонные плиты, те взлетают над этажами и застывают в воздухе, прежде чем стать стеной или перекрытием. Белая пыль бьет в глаза.

И долго-долго потом при воспоминании о Москве будет вставать в памяти эта картина — белые срезы домов, взлет бетонной плиты и стальная рука великана из сказки о современном городе.

— Проняло? — смеется Сажин, перехватывая мой взгляд. — То-то вижу я, что вы все на стройки смотрите. Даже пыль его не берет — не морщится.

Он прибавил скорость — мы выехали за черту города.

— К концу семилетки опять приедете — не то увидите. Эту вот

шоссейку не узнаете: такой проспект вытянется — ахнете. На Кутузовке похудеют от зависти. Вы знаете, что сейчас в Москве наблюдается — нигде в мире этого не увидите — тяга из центра к окраинам. С Кузнецкого моста в Черемушки переселяются — да еще просят: скорее! В вашей Москве небось с Молчановки в Дорогомилово не переезжали. А если приходилось, так, значит, со службы выгнали, платить за квартиру нечем... Нет, в самом деле, — загорается он, — приезжайте-ка лет через пяток...

— Нет, — говорю я, — пяток лет это много. Не вытерплю.

— Браво, Иван Андреевич! Вот это по-честному. Верю, — кричит Сажин навстречу ветру. — В Риме монетки в фонтан бросают: говорят, кто оставит монету, обязательно вернется. А вот в Москве не монеты оставляют, а сердце. Признавайтесь, оставили?

Я оставил свое сердце в Москве еще полвека назад. Но моей Москвы уже нет. Да и Сажин говорит не о ней.

— А кому вы этим обязаны? Им. Галке и Виктору. Говорил ведь вам: не к зданиям присматривайтесь, а к людям.

Я присмотрелся и полюбил. И Галку, и Виктора, и Клаву Новикову и даже Тоню Барышеву, с которой очень очень хотелось бы встретиться и поговорить о любви в коммунистическом обществе. Теперь я в этом не такой уж профан.

И друзей Виктора мне тоже, пожалуй, будет не хватать в Лондоне. Как-то грустно представить себе, что за дверью в соседней комнате я уже не услышу знакомых споров о том, как лучше работать и жить. И хотя на Чейн-уок негде посидеть на скамеечке и никто не наблюдает, как угасает в сумерках душный июльский день, я бы искренне обрадовался, если б услышал за собой дружески-насмешливое:

— Здорово, дедок. Скучаешь?

Должно быть, Сажин лучше меня разбирается в людях, если он предвидел подобный конец. Ему очень хочется, чтобы я признался в этом, но я молчу. Тогда он предпринимает обходный маневр.

— А что вы у них увидели — я говорю о Галке с Виктором? Шаблонную бытовщину, какую даже на Мадагаскаре найдете. Взбалмошная бабенка закапризничала и сбежала от мужа. А потом вернулась как ни в чем не бывало. Подумаешь, событиеце!

Я попадаюсь на удочку.

— На Мадагаскаре я не был, — отвечаю я запальчиво, — но за полвека в Англии я вдосталь нагляделся такой бытовщины. Много раз уходили взбалмошные бабенки и порой возвращались как ни в чем не бывало. Но почему уходили и почему возвращались? Я не знаю ни одного семейного конфликта, который вырос из стремления к духовному совершенству, я не слышал ни одной ссоры, которая поднималась бы до такого этического уровня. Когда я расскажу об этом в Лондоне, меня не поймут или мне не поверят, как не поверил бы я сам раньше. Вы шутите, конечно, но это «событиеце» убеждает больше, чем все краны и этажи.

Сажин искренне хохочет.

— Интересно, кто кого агитирует — я вас или вы меня?

— Вот и Виктор спрашивает: не состою ли я тайно в английской компартии? Нет, Николай Федорович, не состою. Много мне у вас чуждо, многое непонятно, но духовный ваш подвиг я вижу. Вы вырастили нового человека, который лучше нас. Я бы и заповедь сейчас переделал: блаженни лучшие, яко тии наследят землю.

Клава Новикова настигла меня в буфете. Солнечный свет, струившийся из окна, будто проходил сквозь нее — такой хрупкой и прозрачной показалась она мне при встрече.

— Здравствуйте, пропавшее чудо,— сказал я по-английски.

Она смутилась, как школьница, не выучившая урока.

— Не надо... не дразните. Вы же знаете... я боюсь.

Я поймал ее взгляд, удивленно скользнувший по костюму, в котором я приехал из Англии. Не знаю, почему я надел его. Пуританская чернота его была почти неуместна в этот ослепительный летний день.

— Вот теперь вы похожи на англичанина... Чуть-чуть.

— Только зонтика не хватает,— пошутил я.

Она даже не улыбнулась. Только сказала, помолчав:

— Странно все это. Как в кино. Точно это не мы с вами, Иван Андреевич, а совсем, совсем другие... И не жизнь это, а картина из чьей-то жизни... Правда?

— Где вы пропадали, Клава?

— Я звонила вам. Мне сказали, что вы улетаете. Пришла проститься.

— Спасибо, девочка. Вы обязательно напишите мне. Хорошо? Адрес у Виктора.

— Я не приду к нему.

— А уроки?

— Я не буду давать уроки.

— Что случилось, Клава? Ведь что-то произошло, да?

— Где?

— На Филях. У Гали. Мне Павел сказал, что вы были у нее.

— Была. Я сначала не знала, что это — Галя. Павел ее у тетки поселил, сказал, что есть у него девушка, на целину с ним едет, замуж идет. А потом встретился пьяный, плакал, что не любит она его. Когда вы рассказали мне, я поняла. Нельзя ей было к Павлу уходить. Я знала, что сказать ей и о Викторе и о Павле.

— О Павле? — удивился я.

— Кого-кого, а его-то я хорошо знаю. Дружили когда-то... И вообще...

— Любили его?

— Не все ли равно теперь? Вы знаете, кого я люблю.

Я поцеловал ее в лоб. Он был как ледышка.

— Все пройдет, девочка. Все забудется.

— Может быть,— она смахнула слезу.— Только ему не говорите. Он ведь счастлив сейчас...

Галю и Виктора я нашел уже, когда объявили посадку. В первый момент мы с Галей не могли найти слов — очень трудно в такие минуты найти именно те слова, какие хочет сказать сердце.

Но Галя нашла их.

— Деда милый,— обняла она меня,— деда Ваня, не уезжай.

Мне показалось, что она в белом переднике школьницы с голубым бантиком на косичке. Внученька моя!

— Я скоро опять приеду, Галенька.

— Приезжай.

— А может быть, ты приедешь?

— Не знаю. С ней приезжай.

— Хорошо.

— Я еще не знаю, как ее называть по-русски. По-чужому не хочется. И пусть русский учит.

— А ты — английский,— вмешивается Виктор.— Вы в самом деле скоро приедете, Иван Андреевич?

— Когда-то мы говорили о романе Уэллса, Витя. Что бы сделал Кэвор, если бы ему удалось вернуться на землю?

- Снова полетел бы.
- Вот именно.

Я продолжаю разговор с ним уже в воздухе. Уже давно исчезли из вида крохотные фигурки провожающих на перроне аэровокзала, да и сам аэровокзал закрыла проплывшая под нами бесформенная гряда облаков. А я все говорю, говорю...

- Это — судьба, Витя. Темная, непознаваемая сила.
- Чепуха.
- Когда я приехал...
- А зачем, собственно, вы ехали?
- Искал свой Китеж-град.
- А нашли город солнца. Был такой мечтатель в давние времена.
- Знаю, Витя. Кампанелла.
- Именно. Мечтал о таком городе. А мы построили его.
- Как много вы знаете, Витя.
- Что вы, Иван Андреевич! Сколько еще узнать надо. О химии полимеров, об атомной физике, о кибернетике...
- Слишком много для одного человека.
- А Горький? Сколько знал Горький?
- Вот вы смеетесь надо мной, когда я говорю: судьба, чудо. А разве не чудо, что мы продолжаем разговор, когда вы, наверное, уже пересаживаетесь с автобуса на метро?

— Хитрите, Иван Андреевич. Это вы сами себе повторяете то, что я вам уже говорил...

Удивительный человек, этот Виктор.

А самолет уже высоко в воздухе, откуда Москва кажется горсточкой камешков, прихотливо рассыпанных по траве. Какое счастье, что нет облаков и я ее еще вижу.

На душе — ни тревоги, ни горечи. Все хорошо. Я твердо знаю, что вернусь сюда.

Стрелка альтиметра уже переходит за три тысячи метров. Самолет набирает высоту.

Пусть так — мое сердце с тобой, Москва.

До скорой встречи!

Олесь Гончар

ЧЕЛОВЕК

и друзья

РОМАН

28

В

бой с фашистскими танками вскоре вступила артиллерия, спешно переброшенная на поддержку. Снаряды один за другим с шипением полетели над шоссе в направлении моста. Артиллеристы били прямой наводкой, в лоб фашистскому танку, который, выбравшись из верб, вздыбился перед самым мостом, уже пылающим, полуобвалившимся. Танк, видимо, был подбит, потому что он так и остался на месте, открыв, однако, бешеный орудийный огонь.

Теперь, когда дорога танкам на эту сторону была отрезана, противник обрушил на позиции студенческого батальона шквал минометного огня. Затрещали сады, черно стало от поднятой взрывами земли, горячий свист осколков не затихал. Казалось, даже металл, летящий сюда, начинен злобой, — так свирепо рыли мины картофельное поле, разрушенные танком окопы, с такой яростью згрызались в деревья, в камень шоссе.

Многим из тех, кто уцелел в бою с танками, теперь суждено было пасть в этом неравном поединке с ливнем горячего, непрерывно воющего в воздухе металла.

Студбат истекал кровью. У берегов Роси, в садах, в окопах — всюду слышался стон раненых. Не от солнца, выглянувшего из-за верб, а от крови багровели в это утро чистые воды Роси.

По глубоким кюветам вдоль шоссе отползают в тыл те, кто еще может двигаться. Строители-дорожники, задолго до войны проложившие это шоссе, рывшие вдоль него глубокие кюветы, — думали ли они тогда, для скольких людей станут однажды эти придорожные канавы местом спасения, сколько раненых проползет здесь? Ползли студенты, ползли старослужащие, ползли вчерашние маршевики — колхозники из здешних районов, которые, быть может, еще совсем недавно мчались по этому шоссе на грузовиках, со знаменами, с песнями, торопясь в райцентр на какой-нибудь свой колхозный праздник.

Духнович тоже полз, с трудом работая локтями, волоча за собой отяжелевшую раненую ногу. Все сильнее горела рана, которой он еще не видел. Видел лишь свежую кровь тех, кто полз впереди; крови было столько, что она адела лужами на дне кювета — земля не успевала впитывать ее. Впереди Духновича кто-то, пригнувшись, тащил на

Продолжение. Начало — в № 7.

спине тяжело раненного Лагутина. Безжизненный, с раскрытым ртом... Слышно было, как он непрерывно стонет глубоким стоном. Духнович не мог узнать, кто именно выносил Лагутина из боя, и только когда они выбрались из зоны ожесточенного обстрела и остановились передохнуть, Духнович увидел Степуру, мокрого, в грязи. Гимнастерка, брюки его были в крови — то ли своей, то ли Лагутина. Тот лежал возле — бледный, с закотившимися глазами.

— Порвало ему и грудь, и живот, — кивнув на Лагутина, сказал Степура Духновичу. — Я нашел его уже в беспамятстве... А тебя — в ногу? Мне тоже вот и в ногу, и в плечи, — осколки, что ли... Но где же перевязочная? Замучится он...

— Давай его сюда, — подползая к ним с плащ-палаткой, предложил сержант Грицай из второй роты.

Лагутин заревел от боли, когда они укладывали его на палатку. Поташили по кювету дальше.

Духнович тем временем решил снять сапог, освободить раненую ногу: ему казалось, что так будет легче. Пока он стаскивал с себя мокрый сапог, возле него уже остановилось несколько бойцов, которые, видимо, относили кого-то из тяжелораненых к месту перевязки, а теперь снова возвращались на передовую. Один из них — резервист — был без винтовки и пристал к Духновичу, чтобы тот отдал ему свою.

— Вон какая новенькая, небось ни разу и не выстрелила...

— Но как же я без винтовки явлюсь?!

— Раненому можно. Это если бы так бросил...

Духнович, поколебавшись, передал винтовку и даже отстегнул от ремня брезентовый, туго набитый патронами подсумок. Обоймы были еще в смазке, чистые, без единого пятнышка ржавчины.

— На, забирай все.

Другой боец — светлоглазый, набычившийся, нахмутив лоб, молча разглядывал сапог Духновича, вытряхнув портянку, набрякшую кровью и водой.

Подоспевший откуда-то усатый санитар распорол на Духновиче штанину, стал осматривать рану, которая показалась ему не опасной: порвало мякоть выше колена, но кость, видимо, не зацепило. Санитар на скорую руку стал накладывать повязку, а боец, завладевший сапогом, все вертел его, разминал в руках, пробовал даже вывернуть голенище и посмотреть, какая на нем подклейка. Боец был в ботинках с обмотками, добротная кожа курсантского сапога прямо-таки приворожила его, и он потянулся теперь и к левому:

— Дозволь, браток, и этот.

— С живого сдираешь? — рассердился санитар. — Бесстыжий ты, Корчма, всю совесть растерял...

— А на кой ему? — нисколько не смутился тот. — В госпитале в тапочках будет прогуливаться. — И снова пристал к Духновичу: — Так дозволь, а?

Жадность его была Духновичу противна, однако он не стал возражать, сам протянул к нему ногу:

— Тащи, забирай...

В самом деле, что ему сапог, когда он душу готов был сейчас отдать всем этим людям, остающимся тут! Одну ночь он переночевал в окопе, одну бутылку швырнул в атаке, и его повезут уже в тыл, а они, сражавшиеся тут, видно, задолго до него, останутся и дальше, и кто знает, какие еще выпадут на их долю испытания.

Корчма, однако, захотел быть справедливым: взамен стянутых с Духновича курсантских сапог отдал ему свои ботинки с обмотками. Связал их и сам накинул Духновичу на шею:

— Носи, браток...

Босиком ползти было легче. В садах и возле домов слышался гомон, в одном месте артиллеристы на руках перекатывали через дорогу замаскированную зелеными ветками пушку. Среди тех, кто толкал ее, Духнович увидел и своего друга Решетняка, радостно окликнул его. Тот, оглянувшись, сразу узнал своего пациента.

— О, уже колупнуло?

— Уже.

— Ну и молодцы ваши студенты! Показали себя нынче.

И, склонившись к зеленым ветвям маскировки, Решетняк снова приналег плечом, покатил вместе с товарищами пушку дальше. Духновичу еще некоторое время видно было, как работают под промокшей гимнастеркой его широкие лопатки.

На окраине села, в садах, где раненые ждали машин, былолюдно, шумно. Как снопов, тут людей, кровавых снопов. «И это только один бой!» — ужаснулся Духнович, очутившись здесь. Всюду видел он вокруг себя искалеченных людей. Одних еще только перевязывают, другие, уже перевязанные, устало лежали на окровавленных шинелях, в пропитанных кровью бинтах, кое-кто без гимнастерок, кое-кто, как и он, босиком. Те стонут, те дремлют, те, собравшись группками, разговаривают о только что прошедшем бое: кто где был, кто кого видел, кто какой смертью умирал.

У колодца с журавлем толпятся бойцы. Пьют — не напьются, журавль все скрипит. Подобрал палку и опираясь на нее, Духнович тоже заковылял к колодцу.

— Мороза при мне убило, — услышал он в толпе раненых. — Уже на воде осколок его догнал, на дно Роси пошел наш Мороз.

— А Подмогильного — я сам видел — раненного потащило гусеницами под танк...

— А Борисова в окопе приютжило, но откопали — живой...

— А где Химочка? Где Бутенко? Где Колосовский?

— Колосовского за рекой видели. Он еще до начала боя вброд пошел с отделением навстречу танкам, из засады их бил...

— Ох, выскочил ли оттуда?

— Жив он, ваш Колосовский! — пробираясь к бадье с водой, сказал географ Щербань, до неузнаваемости почерневший, будто задымленный. — Я вот только что от КП, видел его там... В голову чиркнуло слегка. Просил у комиссара разрешения остаться...

«Это на него похоже», — подумал Духнович.

Раненые все прибывали. Большинство, как и Духнович, добирались сюда сами, а тяжелораненых санитары доставляли на носилках, приводили под руки, обмякших, обескровленных, и укладывали тут, в садах, ждать грузовиков.

Грузовиков не было, и никто не знал, когда они будут. Поползли слухи, что едва ли придут они сюда до ночи; днем проехать по шоссе почти невозможно — накануне колонна грузовиков с ранеными попала под бомбежку, и многие из тех, кто выехал отсюда живым, так и не добрались до Днепра.

Протолкавшись, наконец, к деревянной бадье, что стояла на срубе колодца, Духнович вдоволь напился свежей холодной воды и словно бы стал здоровее от этого. Опираясь на палку, он снова заковылял по саду и вскоре разыскал среди раненых Степуру. Уже с перебинтованными ногами, Степура сидел неподалеку от колодца на поваленном плетне и время от времени отгонял зеленой веткой мух, роившихся над Лагутиным. Славик лежал перед ним на разостланной шинели почти голый, полосы бинтов перетянули в разных местах и ноги его, и грудь, и живот. Духновича поразила бледность его лица. Глаза

были закрыты, он тяжело дышал, и кровавая пена с каждым выдохом пузырилась в уголках губ.

Духнович сел рядом со Степурой. Молчали. Слышно было, как в груди и горле у Лагутина все время что-то клокочет.

Скрипел и скрипел журавль у колодца, где бойцы доставали воду тяжелой бадьей, зеленели сады вокруг, краснелись вишни, и солнце, поднявшись, светило ярко, пятна света и теней от листьев лежали на бронзовом от весеннего загара обнаженном теле Лагутина. И так противоестественны были среди этих буйных садов, под щедрым июльским солнцем искалеченные люди, вчера еще здоровые, цветущие, и обессиленное, изуродованное тело товарища, стройное юношеское тело античной красоты... Выживет ли он, их Славка? Налетят ли когда-нибудь это прекрасное тело прежней силой, обретет ли вновь ту пружинность, с которой так легко и красиво крутил Лагутин «солнце» на турнике в университетском спортзале?

— Хоть бы скорее вывезти его отсюда, — удобнее поправляя под головой Лагутина свернутую клубком гимнастерку, заговорил Степура. — Я думаю, таких заберут в первую очередь?

— Ему бы уже быть на операционном столе, — сказал Духнович. — Слышишь, как дышит?.. Осколком легкие порвало.

— Он воды просил, но нельзя же ему?

— Нельзя. Где ты его подобрал?

— У моста, чуть ли не из-под танка выхватил. Он был уже без сознания, и гимнастерка на нем тлела... На руках у меня пришел в себя, сказал что-то, а потом снова...

Сами того не замечая, говорили о Славике так, будто его не было здесь. Да он и в самом деле не приходил в сознание. Иногда его омертвевшие, в синих прожилках веки тяжело размыкались, но отрешенным был взгляд закатившихся глаз.

С рукой на перевязи подошел, улыбаясь, студбатовец Бондарь.

— Бачите вон ту хату? — кивнул он хлопцам в глубину сада. — Там сейчас трибунал заседает! Твоего друга, Духнович, судят.

Духнович не понял:

— Какого друга?

— Гладун там, наш лагерный бог, приговора ждет.

— Ты что-то путаешь. Я сам вчера встретил его раненного...

— Ну да, «раненный». Не раненный, а *самострел* он! Перепаниковал, растерялся, забежал в кусты да и бахнул сам себе в руку, ладонь прострелил, а во время перевязки сразу все и обнаружилось.

На соседнем подворье, куда указывал Бондарь, в самом деле что-то готовилось. За невысоким тыном, за вишенником, стояла под клуней группа бойцов в зеленых фуражках. Нахмурившись, не спуская взгляда с дверей хаты, они ожидали, и было что-то грозное в молчаливом их ожидании.

Светленькая хата была облита солнцем, лучи его играли на вишеннике, на цветах во дворе. В маленьких окнах виднелись горшки с распустившимися красными калачиками: даже не верилось, что в той беленькой, нарядной, такой не похожей на суд хате сейчас заседает военный трибунал и, может быть, как раз в этот миг раздаются там суровые слова приговора и вот-вот оттуда выведут во двор разжалованного Гладуна.

Но его все еще не выводили.

Тем временем пришли грузовики. Торопясь, санитары начали забирать раненых. Лагутина удалось положить на первую же машину, Степура и Духнович тоже устроились на ней и, когда грузовик тронулся, уже из кузова увидели бывшего своего помкомвзвода. Не успели заметить, откуда его вывели, но стоял он не под белой хатой,

а под низким покривившимся курятником в противоположном конце двора. Без пилотки, без ремня, гимнастерка топорщилась на нем, на плечах белели перья и куриный помет, — похоже, в том курятнике и ночевал...

Грузовики с ранеными вырвались из садов на шоссе и помчались по разбитой дороге в сторону Днепра. Машины нещадно бросало на выбоинах, и стоны все громче раздавались в кузовах. А навстречу то и дело возникали на обочинах маршевые роты пополнения: шли только что мобилизованные, кое-как вооруженные люди; хоть не у каждого винтовка на плече, зато у каждого в руке поблескивает бутылка с горючей смесью. «Человек с горючей бутылкой в руке... В нем сейчас все», — подумал Духнович. Растянувшись вольным строем, бредут вдоль шоссе хмурые маршевики, исподлобья поглядывая в небо, которое, видно, не раз обстреливало их в пути и против которого у них сейчас есть только вот эти черные, черным огнем налитые бутылки.

29

Как из огня, выхватывали в этот день грузовики раненых, мчали по шоссе на бешеной скорости, — и не только потому, что хотели поскорее уйти от самолетов, то и дело появлявшихся тут над дорогами, а еще и потому, что возможность быть отрезанными, призрак окружения нависал над этим краем все более грозно. Грохотом бомбежек, несмолкаемым гулом артиллерии надвигалась война со всех сторон. В одном селе грузовикам пришлось остановиться: дорогу преградила конница, пересекавшая шоссе на взмыленном галопе — торопилась куда-то, видимо, спасать положение. Где-то прорвались, обходят, отрезают... Эти слова не сходили с уст.

В другом селе, пережидая налет авиации, грузовики снова стояли под прикрытием садов. Чьи-то матери подходили к ним — в старинных корсетках, в черных платках, повязанных рожком на голове, выносили молоко в глечиках, хлеб мягкий, вишни в ситочках. А одна старушка даже ранние грушки поднесла к кузову.

— Натe, сыночки...

Глядя на молодые обескровленные лица раненых, женщины едва сдерживали слезы, горестно допытывались:

— Похоже, опять студенты?

— Почему — опять?

— Все студентов нынче оттуда везут... Это вы там с танками бьетесь?

— Да, бьем и фамилии не спрашиваем.

— Были бы учителями, если бы не война, учеными людьми...

И снова машины вырываются на дорогу.

В ногах у Степуры нечеловеческим криком кричит всю дорогу Славик Лагутин. И ни товарищи, ни фельдшер, который их сопровождает, — никто не может ему сейчас помочь; они даже от водителя не могут требовать, чтобы не так гнал машину, потому что все понимают — нужно гнать. Скорее, скорее на операционный стол его — это теперь единственное, что может Славика спасти.

«Не погибай! Не умирай! Выдержи!» — мысленно заклинал его Степура, с болью глядя, как Славик судорожно мечется на дне кузова. Сердце Степуры разрывалось от страданий товарища, от его стонов. Сейчас и в мыслях не было, что когда-то ревновал его, ненавидел в нем соперника, чуть ли не желал ему смерти. Все это отошло, исчезло, развеялось в чаду, в дыму боя, и перед Степурой сейчас был только

товарищ, друг, брат, для которого он не пожалел бы собственной крови, взял бы на себя его муки,— только бы облегчить ему эти минуты. Как ребенка, хотелось поднять Славику на руки, держать, чтобы не трясло, да так и нести хоть за Днепр, спасая из этого пекла.

Раны Степуры тоже разболелись, горят. Привалившись к борту кузова, он стискивает зубы, чтобы не стонать, когда машину подбрасывает. При каждом таком ударе он чувствует все свои изорванные мускулы на ногах, все осколки, как железные занозы застрявшие у него в теле. «А как же ему,— думает он о Славику,— он же слабее меня, такой нежный, хрупкий, как девушка...» Осторожно вытянул чью-то скомканную шинель, подложил Славику под голову.

— Мне кажется, он доживает последние минуты,— шепнул Духнович, наклонившись к Степуре.— И это наш Славик! И это мы сидим над ним!..

Огромные свежие воронки от бомб чернеют у дороги. За дальними холмами что-то горит — Степура видит, как густой дым тяжело стелется по горизонту. Снова села с хатами расписными... Дым пожаров, несмолкающий грохот, печаль, тревога на лицах людей — это твоя Украина, такой ты видишь ее! Не песня, которая еще недавно раздалась в лунные ночи над этим краем, над садами и левадами, а великая народная печаль разливается повсюду. Этой печалью шумят деревья, она в воздухе, она в прекрасных глазах матерей, которые выносят к грузовикам глечики молока, во взглядах молодых женщин, которые стоят среди подсолнухов, печально прислонившись грудью к плетню, во взорах девчат, которые тоскливо смотрят тебе вслед очами рафаэлевской чистоты. Прощальная мольба в глазах, крики, стоны, канонада и рыдания материнские — вот сейчас твой голос, Украина! Кто останется в живых, никогда не забудет этого.

Вечерело, когда грузовики подъезжали к Днепру. Тучи заволокли небо. Лагутин на последних километрах стонал все тише и тише, а когда остановились у переправы, вовсе затих: сняли с кузова мертвым.

Тут, неподалеку от переправы, у подножия Тарасовой горы, его и похоронили. Чью-то разбитую, расколотую каску положили на свежем холмике земли.

Задыхаясь от слез, Степура стоял над могилой, и думы его сами собой складывались в горькие строки: «Пройдем мы, и нас не будет. Что ж останется после нас? Каска разбитая? Белые кости во ржи? Иль обелиски встанут до туч?»

Тучи, заполнив небо, тяжело плыли на запад...

В суматохе у переправы случилось так, что Духновича отправили с первой партией на тот берег, а Степуре после этого пришлось еще долго ожидать. Сидел в стороне под горою и смотрел на Днепр, на великую реку, воспетую Кобзарем. Тучи клубятся над водой, ветер гонит волну, и весь простор воды переливается волнами, будто только что вспаханное поле. Пружинят, бьются на ветру лозняки, возле них группками собрались раненые в ожидании переправы. Говорят, вчера тут разбомбили баржи с ранеными, как бы не повторилось это и сегодня... Правда, пасмурно сейчас, низкие тучи плывут, чуть не касаясь могилы Тараса, свинцово нависают над ширью днепровской.

Впервые в жизни Степура видит Днепр. Когда направлялись на фронт, проспал Днепр ночью, и теперь вот встретился с ним уже на обратном пути. Надеялся увидеть его светлым да солнечным, в разливе синевы, а Днепр явился перед ним тяжелым стальным предвечерем, неприятным шумом ветра, сумрачной ширью... Еще только середина лета, а вода в реке какая-то густая, порывы ветра шумят в лозняках, вербы гнутся, осокори рябят под ветром, словно чешуей,

своими листьями — то сразу потемнеют все, то вдруг, вывернутые ветром, замелькают белым. Эти растревоженные ветром деревья, и распаханый им Днепр, и Чернечья Тарасова гора, что высится рядом, и тучи вечерние, что идут над нею, над самой могилой Кобзаря, — какую тоску все навевают, какой печалью ложится на душу!

Сгущаются сумерки, и за Днепром все ярче становится зарево далекого пожара, — наверное, что-то там бомбили днем. А с запада доносится грохот войны. Уж и сюда достает война. Как хотелось бы Степуре сейчас заглянуть в будущее!.. Станет ли Днепр последним рубежом, или дальше перекинется ненасытный огонь? Что будет с теми, кто остался на Руси? Что будет с тобою, святая могила Тараса, с тобой что будет, родной народ мой? Выстоишь ли, переборешь ли? Разве явился ты, чтоб только дать миру песню, песню свою бессмертную, и опять уйти в небытие? Солнечной, цветущей называли тебя, Украина недавняя, вчерашняя, — а теперь? Какой назвать тебя сегодня? Темно-багровая, в пожарах до туч, в слезах матерей и в жгучем горе сыновнем — такая ныне ты, Украина сорок первого года...

30

Противотанковые рвы копала, земляными валами опоясывалась в эти дни Украина. Откуда брали они начало, эти длинные рвы противотанковые, и где им будет конец? От самого моря через виноградники юга, через солнечные раздольные степи тянулись они в глубину республики, опоясывая Донбасс, огибая Харьков, свежей землей темнея по Левобережью — все дальше и дальше на север. Рвы и рвы. С беспощадной прямолинейностью ложились они по стерням полей, по бахчам, через гречиху медовую да колхозные сады, проридались сквозь золотое войско подсолнухов цветущих (не скоро еще короны их угаснут, и пыль падет на шершавые их листья).

Тысячи людей с лопатами в руках работают на сооружении оборонительных линий; с утра и до ночи, словно чайки морские, белеют в степях косынки девчат, женщин-солдаток и солдатских матерей. Верится им, что не напрасным будет тяжкий их труд, что рвы эти — три метра в глубину, семь метров в ширину! — сделают свое, помогут родной армии преградить путь врагу.

Так, по крайней мере, думали харьковские студентки, оказавшиеся в числе тысяч и тысяч горожан, мужчин и женщин, в жгучем зное далеко за городом на земляных работах, на окопах.

Высокая стерня после наспех убранный комбайнами хлеба, сухая и твердая земля от горизонта до горизонта — загоняй лопату, копай. Кровавые мозоли, которые в первый день появились на девичьих ладонях, успели полопаться, запечься и затвердеть, а работе нет конца.

Таня Криворучко, Марьяна и Ольга гречанка попали в одну бригаду, состоявшую почти из одних женщин. Знойная степь, скрежет лопат, пересохшие губы, опаленные солнцем лица... Только сознание, что эта их тыловая работа все же нужна и что она как бы объединяет их с теми, кто на фронте, — только это и придавало девушкам силы, помогая сносить и жару, и лишения, и тяжесть грабарского изнуряющего труда.

— Вот наша Ольвия, — говорит Таня, всем телом налегая на лопату, которая никак не хочет идти в землю. Пот заливают глаза, чувствуется, как он под одеждой крупными каплями катится по спине,

по груди. На губах солоно. После нескольких часов работы лопата вываливается из рук и в глазах темнеет от усталости.

Вот как все обернулось: не ольвийские раскопки ведут, а степь раскапывают против танков. И профессор их, Николай Ювенальевич, тоже тут. Засучив рукава, молча долбит землю от зари до зари, долбит, наверно, все с той же давнишней своей думою: отчего погибла Ольвия? Ведь были у нее и сторожевые башни, и земляные валы против диких степных кочевников...

Война еще далеко, о ней напоминали лишь подводы эвакуированных из-за Днепра, да тревожные сводки с фронтов, да еще эти вот противотанковые рвы. Однако опасность с каждым днем, видимо, приближалась: однажды к ним привезли откуда-то визгливую сирену, установили на насыпи и уже давали пробные сигналы воздушной тревоги. Было также приказано женщинам поснимать косынки. Значит, и тут можно ждать налета! Где же тогда спрячется весь этот человеческий муравейник, до самого горизонта растянувшийся под открытым небом по золотистой стерне? Ходили слухи, что ближе к фронту на таких вот, как они, окопников немцы уже налетают, обстреливают их из пулеметов, сбрасывают на головы женщин листовки с безграмотными глумливыми обращениями: *«Девушки и дамочки! Не ройте эти ямочки, придут наши таночки, засыплют ваши ямочки...»*

Тут еще этого не было. Тут еще тетки не хотят снимать с себя белых платков, несмотря на требование военных, руководивших окопными работами. Военных немного, лишь кое-где зеленеют гимнастерки, а то всё гражданские и гражданские. Студенты, преподаватели разных институтов, служащие, колхозники, освобожденные или по возрасту или до особого распоряжения («пока винтовки для нас сделают»), — все сейчас тут. Жизнь ведут цыганскую, ночуют кто где: в коровниках колхозных, в яслях и под яслями, а большинство — прямо под открытым небом, в развороченных скирдах, зарывшись в солому, да по степным посадкам в колючих зарослях одичавших абрикосов. Хлеб — готовый, испеченный — доставляют им из Харькова, а воду привозит в бочке дед Лука, крутым лбом напоминающий студентам-историкам афинского гражданина Сократа. Нрав у деда Луки веселый, он не пропускает случая пошутить с девчатами, и его появление всегда поднимает настроение, сулит передышку.

Сигнал подает Марьяна:

— Девчата, вон дедова кобылка уже выныривает из глубины столетий...

Лука сидит на передке водовозки, кобыла крупом почти совсем закрывает его, только соломенный брыль маячит над кобылой как знак того, что и дед тут. Появление дедовой водовозки вызывает оживление и среди мальчишек-пастухов, и уже кто-то из них во всю глотку приветствует деда:

— Эй, диду Лука, там Махно вас искал!

Дед грозит кнутовищем:

— Ах ты ж, байстрючок!

— Байстрючок растет как стручок!

— Расти, расти, только не дубиной...

К окопницам дед подъезжает улыбающийся, он не сердится, что ребята его поддразнивают. Да и сам он как мальчишка: маленький, щуплый, ситцевая рубашонка на одной пуговице, из-под рубашки острые ключицы выпирают. А голова, когда дед снимет брыль, в самом деле сократовская: лобастая, голова мудреца, круто посаженная на щуплых дедовых плечах.

Окопницы, окружив бочку, набрасываются на воду; те, кто утолил

жажду, сразу веселеют, и Таня Криворучко в шутку уже задевает старика:

— Дедушка, а это правда, что вы были махновцем?

— Коли дети дразнятся, стало быть, правда.

— И Махна видали?

— Видал и Махна, и царя, и кайзера... Всех видал и всех пережил. Думаю, и Гитлера переживу.

Ольга, устроившись на куче земли, приглашает и старика.

Дед, присев на корточки, становится будто еще меньше, и Марьяна лукавыми своими глазами критически оглядывает его, словно меряет.

— Не представляю вас махновцем, — говорит она. — На тачанке, вскачь по степям... Да вас же, наверно, и бабка ваша бьет?

— Бабка имеет право, бо она моя, а другие — шалишь! — говорит дед Лука, поудобнее располагаясь среди окопниц на земляном валу. — А махновцем, девчата, я стал не по своей воле, а по принуждению, можно сказать... Наскочила вот такая оса, вроде тебя, — он кивает на Марьяну, — вся в пуговицах да ремнях: «Давай в тачанку, будешь моим кучером!» Да еще, шельма, заставляла, чтоб стоймя стоял в тачанке — для форсу...

— Ну, и вы слушались ее? — спрашивает Таня, усаживаясь у деда в ногах.

— А что поделаешь, коли уж попал к бандитам, не сумел от них спрятаться? Перед тем я три недели скрывался у тестя своего на бахче. Как-то утром сварили кашу, завтракаем, вдруг — будто снег на голову! — едут на подводе деникинцы, а мы уже их повадки знаем: найдут — ага, дезертир! — тут тебе и крышка. Едут, сворачивают прямо к нашему шалашу! «В солому зарывайся!» — говорит мне тесть. Залез я в угол под солому, затаился, как мышь. Чую — подъехали: «Ну, дед, дезертиры есть?» — «Нема». — «А кавуны спелые есть?» — «Есть». — «Выбери нам лучше...» Пошел старик по бахче, а я все лежу в соломе, уже и мыши меня кусают. Думаю, наберут кавунов да и поедут, а они тут-таки в шалаше и расположились угощаться. Офицер присел на меня, устроился, как на мешке, да на мне кавун весь и съел, стерва...

Дед Лука, сняв брыль, медленно потирает ладонью покрывшиеся потом голые просторы своего широкого черепа.

— А ухо почему у вас порвано? — спрашивает Ольга.

— Пас коров да уснул, а телок подошел да и отжевал, — не моргнув глазом, отвечает дед.

— Он жевал, а вы и не чувствовали?

— Крепко спал. Сквозь сон слышу, будто свербит щось. Очнулся — теля надо мной, совсем уже ухо дожевывает.

Девчата почти верят, так серьезно дед Лука рассказывает, но тетка Хотина, пышная доярка из одного с ним колхоза, прямо-таки колышется от хохота:

— Слушайте его! Это дед еще с той войны такое ухо принес. Австрийцы ему отжевали!

— Так вы и на империалистической были, дидусю? — заинтересовалась Таня. — Ветеран двух войн?

— А какая ж без меня обойдется... — дед устремляет вдаль маленькие зоркие свои глазки. — Лучшие годы своей жизни войне отдать пришлось, растратить на солдатчине... И впрямь, прошли года, как вода. Вы думаете, таким я тогда был? — он хвастливо поглядывает на свою любимицу Таню. — Была силенка! Схвачу, бывало, коня за копыто — не вырвется. Теперь постарел.

— Постарел, а голос до сих пор молодой,— говорит тетка Хотина, зайдя со спины и шутливо обнимая деда полной смуглой рукою.— Ночью как запоет на току, за тридевять земель слышно.

— То я когда сторожу,— пояснил дед Лука,— чтобы не уснуть, сам себя развлекаю.

Таня сочувственно смотрит на него, на его высохшую шею, на рубашонку его мальчишескую с одной пуговицей.

— Просто не верится, дедушка, что и вы когда-то были на войне, в атаки ходили, в людей стреляли... Скажите, неужели стреляли?

— Больше в небо, внучка, в белый свет, как в копейку. Пригнешься в окопе, голову вниз, а винтовку выставишь да и бахаешь, чтоб только офицер слышал.

Марьяна окинула его строгим, насмешливым взглядом:

— Вот какой, значит, из вас был вояка?

— А я за георгиями не гонялся. Человека убивать вера моя тогда мне не позволяла. Незадолго перед тем я учение Льва Николаевича графа Толстого принял, вот ведь какое дело...

— Я почему-то так и думала, что вы были толстовцем! — откликнулась Ольга.— Вы и в Ясную Поляну ходили?

— Нет, в Ясную не ходил, куда там было за работой. А вот моя мать, так она даже в Палестину хаживала, в Ерусалим... Темная женщина, а — представьте — аж оттуда, из аравийских пустынь, принесла в слободу святого огня. Больше года ходила, дома за это время хозяйство совсем пришло в упадок, и батько так рассердился на ее путешествия, что, когда она вернулась из Ерусалима со своей зажженной свечкою, он в сердцах свечку ту погасил, а иконы все вон из хаты повыбрасывал и топором посреди двора в щепки изрубил... А мы за своей верой никуда уже не ходили. Толстовские проповедники к нам сами в слободу пришли и нескольких парубков, таких, как и я, учением своим тогда завлекли. Так что, девчата, я всю войну и стрелял просто в белый свет.

— Выходит, вы, дидусю, пацифист? — пристально посмотрела на него Ольга.— Вы, как Роллан, были «над схваткой»?

— В разных схватках, бывал я, девчата,— будто не расслышал дед,— а скажу вам только: нету в этих войнах ничего доброго. Это как чума, которая раньше ходила по свету, або холера. Кто хоть раз войны попробовал, тому на всю жизнь хватит от нее отплеиваться...

— А спросить их, чего им надо от нас? — сказала тетка Хотина.— Никто их не трогал, а они идут, жгут — рвы против них, как против саранчи, копай. Хоть бы за Днепром наши как следует им шею намылили.

— Черного кобеля не отмоешь добела,— отозвался дед Лука, поднимаясь.

— Вам, дед, еще ничего,— взяла лопату тетка Хотина,— ваш сын в морфлоте, где-то на Тихом океане, а мой вот Трифон прямо в огонь пошел. Прямо сама не знаю, как-то он там будет воевать. Вы ж знаете, какой он у меня тихий да плохонький. Курицу боялся зарезать, мухи не убьет. Как же он людей будет убивать?

— Не людей, а фашистов,— поправила сурово Марьяна.— А фашиста я и сама вот этой лопатой, как жабу, перерубила б... Тысячу их увидела б — скосила б тысячу!

— Достается и вам, девчата,— сочувственно глянула на студенток высокая, с отечным лицом пожилая женщина из соседнего колхоза.— Молодые, цветущие, матерями бы вам скоро быть, а где оно, ваше материнство? Где они теперь, ваши суженые?

— Героями, в орденах возвратятся,— сказал, проходя мимо, Штепа со своей неизменной усмешкой. (Когда университет отправлял людей на окопы, Штепе судьба тоже вручила лопату и послала сюда вместе со всеми).

— Да оно и тебе, парень,— искоса посмотрел на Штепу дед Лука,— больше подошло бы там сейчас быть, а не тут, между бабьими юбками. Однокашники-то твои где?

— А я не протиснулся,— ухмыльнулся Штепа.

— Глянь, ему еще и весело,— с возмущением воскликнула Марьяна.— Тысячи наших студентов в первые же дни пошли на фронт или в военные училища, а он не протиснулся! За шкуру свою дрожит! — И, раскрасневшись, крикнула деду Луке: — Не давайте ему, диду, воды! Пускай высохнет, пускай в мумию превратится — сохранив будет!

Снова занимая свое место на водовозке, дед Лука отчужденно глянул на Штепу:

— Видишь, как оно трясогузу-то на свете жить...

— Вам, дед,— огрызнулся Штепа,— лучше бы помолчать с вашим махновским прошлым.

Дед, не ответив, молча щелкнул кнутиком в воздухе, поехал.

Под вечер того же дня неистово заверещала сирена. Завыла, затянула: «ву-у, ву-у!..»

— Немец летит!

— Прячьтесь!

Не успели и опомниться, как над окопами, хищно сверкнув, с воем пронесся самолет. Ударил пулеметной очередью в степь раз, второй, потом от него отделилось что-то темное, круглое и с нарастающим та-рахтением, со свистом полетело вниз. Самолет пронесся над ними на небольшой высоте — был даже виден в кабине летчик, оскаливший зубы: он хохотал.

— Бочку кинул! — слышались голоса оттуда, где упало брошенное с самолета.— Бочку пустую из-под горючего! Еще и дырки пробил, чтобы сильнее свистела!

— Никого не ранил? — пробегая, встревоженно спрашивал военный.

— Прострочил дважды, но никого не задел,— отвечали женщины.— Больше, видать, патронов не было.

— Бочку тракторную кинул, надо же придумать!

— В другой раз, наверно, уже целый трактор на голову бросит? Под Ивановкой, говорят, полтелеги бросил на окопников.

— Самого б его об землю бросило, бандита,— ругалась тетка Хотина, грозя вслед самолету.— Еще и хохочет, душегуб!

— Потребуем, пусть завтра зенитные пулеметы нам тут поставят! — кипела лютой ненавистью Марьяна, приступая к работе.— А то слишком распоясалось хулиганье фашистское.

С утроенной энергией трудились в этот день девчата. Трудились так, будто мстили за этот налет, за поруганную мирную жизнь, за искалеченные судьбы свои.

Таня хотя и была среди своих подруг самая маленькая и хрупкая, выполнила до вечера полторы нормы. Горели ладони, все тело разламывалось от усталости, когда они в конце дня, помогая друг другу, выбрались, наконец, из глубокого рва наверх.

Выпрямясь, стояли девчата с лопатами на земляном валу, смотрели на развернувшуюся в полнеба буйную красоту заката. Солнце, прежде чем исчезнуть за горизонтом, подняло высокие паруса света

перед неподвижными, как бы окаменевшими облаками, которые казались фантастическим скалистым ландшафтом каких-то других планет; и где-то за теми скалами раскаленными, где-то под теми солнечными парусами бились с врагом их хлопцы на войне.

Зноем жатвы налиты были дни.

Нежных акварельных тонов были вечера.

После раскаленного слепящего дня сиреневой дымкой затягивалась степная даль, мерцала и звала девчат туда, где стрекочут кузнечики на всю степь и высокая стерня шуршит под ногами, золотясь, словно упавшие за день с неба да так и застывшие солнечные лучи.

Где-то вдали проступают у края степи очертания стройных тополей. Там полустанок.

Обнявшись, идут девчата туда.

Николай Ювенальевич задумчиво смотрит вслед девушкам. «Сколько доброго чувства нужно иметь друг к другу, какую общность душевную, чтобы вот так нежно обняться и пойти... Пожалуй, только с тихой и грустной песней можно сравнить такое настроение, когда трое девчат обнялись и молча уходят, уходят в вечернюю степь...»

Все дальше и дальше бредут девчата в сиреневую мглу, и степной простор вокруг них все звонче, все более многоголосо свиристит и стрекочет. Такой душистый, еще не отравленный войной вечер в поле, вечер, что пахнет снопами, гулко тарыхтит где-то арбой, — так и кажется, вот выйдут из посадки их хлопцы-студенты в майках, чубатые, загорелые, встретят веселыми студенческими шутками да остротами...

«Как вы тут, девчата?»

А там вон уже трактора пришли с волокушами, разравнивают насыпанные в течение дня валы, растаскивают по полю выброшенный из противотанкового рва грунт. Поле, которое только что было золотым, становится пепельно-серым, темнеет, а женщины-солдатки, глядя, как их труд рассеивается по полю, запевают ту песню, в которой все горы зеленеют, только одна гора черная, только та гора черная, где пахала бедная вдова...

А девчата тем временем уже совсем далеко от рвов; земля, волокуши, лопаты, дневные заботы — все куда-то отступает, и девчата окунаются в недалекое свое прошлое, в чудесный мир студенческой жизни со всеми ее тревожностями, где переплелись и любовь, и ревность, и счастье примирений, и переживания на экзаменах, и мечты об ольвийском лете...

— Жить бы только да жить, — говорит Таня задумчиво. — Небо вот. Степь пахучая. Песня. Любовь. Кому же дозволено поднять руку на это извечное право людское, на труд людской, на счастье? Было время, когда человек был зверем, жил в лесах, в пещерах, добывал себе пищу охотой, — тогда он вынужден был воевать. С примитивными своими орудиями набрасывался на мамонтов... Теперь же стоят перед человеком тысячи книг, в которых собрана мудрость веков, стоят нацеленные в небо трубы телескопов, в которые он рассматривает дальние миры. Он проник на дно океана и научился быстрее птицы летать в воздухе! Он стал всевластным, всемогущим, разум его — это диво дивное! Всем хватило бы и земли, и неба, и песен, если

бы люди научились жить без войн, если бы все эти ужасные войны не забирали у народов столько, сколько они забирают,— и ума, и сил, а самое главное, людей, цветущих, одаренных.— Таня разволновалась, душевная боль слышалась в ее голосе.— Достичь того, что достигнуто человечеством,— продолжала она страстно,— и вот теперь, после всего этого,— назад? К пещерам, к пирамидам из людских черепов? Тот цивилизованный бандит, который пролетел сегодня и швырнул бочку,— чем же он лучше батыевых башибузуков, хоть и появился не на монгольском коне, а на современном летательном аппарате? Варвар он, трижды варвар!

Мглистая синева степных просторов становилась все гуще. Некоторое время девушки шли молча, потом Ольга заговорила грустно:

— Может быть, Лев Толстой потому так и бунтовал на старости лет против цивилизации, что предчувствовал, как преступно будут использованы ее достижения, сколько бедствий принесут народам новые, невиданные по размаху разрушительные войны...

— Подумать только: ведь этого могло и не быть,— сказала Марьяна.— Достаточно было, чтобы в свое время все трудящиеся Германии проголосовали за Эрнста Тельмана!

— Никто не мог всего предвидеть,— тихо промолвила Таня.— О, если бы человек мог сквозь годы заглядывать вперед, многое на свете было бы по-другому...

Стерня кончилась, они вышли на дорогу, и Таня, будто уловив какую-то мелодию, стала вслушиваться в предвечерние сумерки.

— А степь стрекочет и стрекочет,— голос ее зазвучал печально.— Неужели и там так же поют кузнечики?

И это «там» девчата понимают: там, где хлопцы, где сейчас вот угасают последние краски заката.

— Кажется, все бы я отдала за одну только, за минутную встречу! — воскликнула Марьяна.— Услышать издали голос самого дорогого тебе человека, через расстояния заглянуть в его судьбу — почему не дано человеку такой власти?

Когда пошли дальше, Таня попросила:

— Оля, спой что-нибудь...

И Ольга сразу же, будто мелодия уже звучала в ее душе, запела песню, начав ее откуда-то с полуслова, с середины.

Песня незнакомая, девчата знают,— это греческая. Ольга рассказывала как-то, что в Приазовье, в Ногайских степях, она училась в греческой школе, такие школы были во многих греческих селах.

Ольга, вся в песне, чарует степь задушевым своим голосом, а подруги, шагая рядом, думают о ней, о ее нелегкой девичьей доле. Идет с ними, высокая, сухопарая, темнолицая, и темные круги под глазами. Губы, как всегда, сухие, обветренные, будто от внутреннего жара. Она ровесница им, но ее можно было бы принять за молодую женщину, которая выкормила уже ребенка; была в ней какая-то усталость и одновременно ласковость, тихая материнская доброта. Девчата понимали, что усталость эта, видимо, от душевной боли, от неудачной и почти безнадежной ее первой любви. И только когда Ольга поет, она преображается, делается красивее, особенно теперь, когда после прощания со Степурой в лагере перед нею словно бы сверкнул лучик надежды. Степура обещал писать с фронта, и, хотя ничего еще не написал, она ждет, надеется и от одной этой надежды как бы расцвела, помолодела. Но особенно меняется лицо их подруги от этих вот страстных гортанных песен греческих, которые она поет хотя не часто, зато каждый раз с каким-то особенным подъемом, потому что песни эти — девчата знают — предназначаются прежде всего для него, для Степуры. Для него, для души его поэтической

люются над степью ее песни вечерами, это ему, далекому любимому, на своем полузабытом языке рассказывает она о безответной любви своей...

На окопах девчата подружились еще больше, стали как сестры, и от Тани и Марьяны нет теперь у Ольги секретов. Не таясь, в такие вот вечера, в такие теплые ночи июльские изливает она подругам то, что до сих пор таила в себе.

— Поэт! Ведь он настоящий поэт, поймите вы! — говорит она жарко, когда заходит речь о Степуре. — Я вижу в нем все самое лучшее, что унаследовано им от народа, от родной земли; все в нем чистое, как Ворскла его или Орилька... И сила его. И уравновешенность. И правдивость. А голос? Да у него же речь шелком шелестит, поэзия светится в его глазах!

— Да еще редкая его неуклюжесть, — подшучивает Марьяна. — Она у него, видать, тоже от национального характера?

— Смейся, но он все-таки характер... Когда все песни твоего народа живут в тебе, живут даже забытые... А в нем они живут.

— Прости, Ольга, — тронула гречанку рукой Марьяна, — но только вот неповоротливость и сентиментальность никогда мне в нем не нравились.

— Не тебе, Марьяна, оценить его по-настоящему! — горячо возразила Ольга. — Для тебя он только еще один поклонник, и все потому, что для тебя Славик твой — идеал. Ты влюблена в него. Не зря ведь говорят: богатому и черт детей баюкает, так и тебе. А кто знает, если бы не ты, если бы не морочила ты голову Андрею три года, можешь, и у нас с ним все давно сложилось бы по-иному!

— Чем же я виновата? — лукаво, как цыганочка, повела Марьяна плечом.

— Перестань хоть сейчас-то кокетничать... Хорошо ведь знаешь, что Андрей лишь тобою живет, только о тебе стихи свои пишет, а другие для него... Разве мы с ним не могли быть счастливы?

В порыве откровенности Ольга расказала подругам в этот вечер то, что в другое время не рассказывала бы никому.

— Как-то вечером шла я из библиотеки. Разбитая, усталая — вы же знаете, как нелегко мне наука дается. И вот возле Гиганта вижу вдруг в окне на втором или третьем этаже два силуэта: он и она. Студент и студентка. Мне видно каждое движение их, распущенные волосы у нее на плечах, изгибы тела, руки, которые сплетались в объятиях... Я видела, как сближаются в поцелуе их лица и, соединившись, надолго замирают. Потом снова отстраняются, смотрят друг на друга, и, казалось, видно даже, как они ласково улыбаются друг другу, — те силуэты. Ах, девчата! Можно было с ума сойти от этой немой сцены любви! Оглянулась и вдруг увидела, что и весна кругом, и вечер чудесный, и все на свете любят, целуются, пьянеют от поцелуев, и только я одна, одна...

— Знаю я такие вечера, — вздохнула Таня. — Из-за мелочи какой-нибудь повздоришь, а потом ходишь, мучаешься, переживаешь, впору хоть руки на себя наложить!

— Пойду! Сама, думаю, сейчас к нему пойду! — продолжала Ольга. — Как была с книжками, с конспектами, так и повернула в их корпус. Набралась храбрости, было ужасно стыдно, и все-таки постучала к нему. Он был один. Сидел у стола, как притомившийся косарь или тракторист, который вернулся с поля после тяжелой работы. Дым стоял облаком, и окурков полная тарелка. Он был для меня как в тумане, был — и будто не был. Даже не удивился, что я пришла, и, кажется, не заметил, в каком я настроении. Поднял голову, смотрит на меня сквозь табачный дым, а мысли его где-то далеко, и видел он

кого-то другого в тот миг, не меня. Как мне обидно стало!.. О чем, по-вашему, мечтал он в те минуты? О ком были его стихи в раскрытой тетради, что лежала перед ним на столе? Не подозревая моих чувств, он доверчиво, как ребенок, показал мне только что написанное, сам даже прочел несколько стихотворений... О тебе были эти стихи, Марьяна! Я слушала их, и, боже, каких мне стоило усилий, чтобы сдержаться, чтоб не разреветься...

— Видно, я все-таки виновата перед тобой, Ольга, — обняла ее Марьяна. — Но теперь все пойдет по-другому. Я ведь замужняя, мне своих детей нянчить, а тебя я сама сосватаю за него, пускай только возвращаются поскорее... Они же возвратятся — не может быть иначе!

— Вдруг там уже письма есть? — сказала Таня с надеждой. — Давай мы тебя, Марьяна, завтра отправим домой на разведку.

— Ой, отпустят ли?

— Отпустят. Мы твою норму возьмем на себя.

— Что ж, попробуем.

Девчата невольны стали на ходу поправлять волосы, платье: они приближались к полустанку.

Зачем пришли? Что влечет, манит их сюда каждый вечер? Они и сами боятся себе признаться, что приходят смотреть эшелоны, везущие раненых. Вчера в это же время проходил санитарный поезд. Женщины из совхоза, бегая вдоль вагонов, выкрикивали имена, допытывались, нет ли среди раненых кого-нибудь из близких. Девчата, припадая к окнам, тоже спрашивали, нет ли харьковских студентов, и в тревоге ждали: не откликнется ли из вагона знакомый голос... Нет. Пограничники были. Летчики. Колхозники. И даже студент один оказался, но ленинградец, — а университетских не было. То ли в боях, то ли их везут другими дорогами, то ли... Приходили сюда каждый день, но за все время только одна весточка дошла до них из уст раненого пожилого командира, с которым разговорились на перроне. Слышал он про студентов, будто действовали они где-то за Днепром на Белоцерковском направлении, дрались честно. Он так и сказал: честно...

— Ваши или не ваши, не скажу, — рассказывал он, — а только добрая слава о тех студентах по фронту прошла, об их батальоне. С бутылками да гранатами бросались на танки и не пропустили врага.

Сегодня оттуда, со стороны Днепра, снова подходил эшелон. «Может, опять раненых везет», — переглянулись девчата, торопясь к перрону.

Поезд, приближаясь, так закричал, точно сам был ранен. Без огня — черный, слепой. Подошел и остановился, вытянувшись далеко за полустанок, в вечернюю степь; и на насыпи между посадками с его приходом будто еще одна выросла посадка: ветки над эшелоном. Привядшая густая зелень, которой были замаскированы платформы.

На платформах, среди станков, труб и болванок — халабуды какие-то, улы, женщины с детьми.

Слышен тоскливый, причитающий голос какой-то старушки:

— Ой, де ж це воно, той Урал! Там же, кажуть, и баклажаны не растут, и мы вси, мабуть, померзнем!..

Не успели девчата приглядеться, расспросить, кто едет и откуда, — вдруг с одной платформы послышалось:

— Ей-же-ей, то Таня Криворучко! Таня, это ты?

Таня встрепенулась:

— Я!

— Это же наш завод. Хиба не узнала? И мама твоя тут!

Будто током Таню ударило.

— Где она?

— Где-то там, в хвосте эшелона! — кричали с платформы женщины. — Беги, спрашивай... А отец пока на заводе остался!

Таня помчалась вдоль эшелона.

— Мама, мама! — кричала в сумрак, в железо платформ, и бежала дальше, а в это время эшелон тронулся, поплыл маскировочными ветками, разлучая Таню с матерью будто навсегда, навеки. Слышала какие-то выкрики, видела платки женщин в потемках на платформах, и все это, казалось, матери, матери...

Эшелон набирал скорость, а Таня все бежала за ним, и даже когда последний вагон с ветром промчался мимо нее, она и тогда какое-то время летела в степь, будто неприкаянная. Споткнувшись обо что-то, чуть не упала и, наконец, остановилась. Вот так. Нету дома, нету завода, все на колесах, мама не услышала ее голоса... Поникнув, застыв в каком-то оцепенении, стоит, точно беспризорная, за полустанком и только слышит, как с каждым мгновением все меньше дрожат под ногами шпалы, как все слабеет стальная дрожь рельсов...

Все, что случилось тут, было похоже на сон, страшный, невероятный. После разлуки с Богданом для нее это самый тяжкий удар. Пришла поглядеть раненых, а тебя вот саму ранило с лету, оглушило. Все собиралась поехать к родителям, откладывала со дня на день, а теперь и ехать некуда, догоняй теперь... Почему эшелон не постоял еще немножко? Дура она: нужно было броситься, влезть на первую попавшуюся платформу, потом бы уж разыскала маму... А девочка, а Богдан, университет, куда только и может прийти от него весточка?

Подруги, подбежав к Тане, схватили ее, потащили в сторону:

— Смотри, вон еще один товарный идет!

Опять задрожала земля — приближается новый эшелон. Этот также затемненный, лишь из трубы паровоза дым вырывается с искрами. На платформах ящики, моторы, станки... Тоже заводской! Может, тато здесь? Или кто из родственников, из соседей? Сядет и поедет с ними! Вот так, как есть! Или хоть сообщит, что она их догонит, разыщет, найдет!

Пролетают платформы, прикрытые ветвями родных заводских акаций, пролетают и... не останавливаются. Будто выстреленный, промчался мимо них эшелон, ударил тугим ветром. Кусая губы, Таня стоит на краю насыпи, смотрит вслед. Красный глазок последнего вагона быстро удаляется, гаснет в степи.

— Пошли, — Марьяна подала Тане руку.

— Одна теперь, — прошептала Таня. — Совсем одна...

— Не одна, будем вместе, — прижалась к ней щекой Ольга.

Спустились с насыпи и, снова обнявшись, побрели в вечернюю тишину, где после грохота эшелона, как и раньше, нежно стрекочет кузнечиками степь.

До сих пор, когда Таня думала о войне, когда обсуждали между собой неутешительные вести с фронтов, при всей трагичности событий ее все же не покидала надежда на какое-то чудо, упование на то, что в один прекрасный день война закончится так же внезапно, как и началась, что каким-то образом будет остановлено ужасное это бедствие, втягивающее в свой круговорот миллионы и миллионы людей. Теперь, после этих эшелонов с днепровскими демонтированными заводами, она поняла окончательно, что то были лишь наивные ее фантазии, что ни о каком замирении не может быть и речи. По всему

было видно, что борьба эта надолго, борьба не на жизнь, а на смерть. Война, подступая к каждому порогу, разрушила и ее родное надднепровское гнездо. Что будет с мамой? Всю жизнь она не покидала родного города, слабая здоровьем, часто болеет, а теперь вот под открытым небом на платформе — куда и на сколько? А где тато? Где дидусь?

Разрушается тот привычный мир, в котором прошло ее детство, гаснут мартены, пустеют цеха, а отец, может, вот сейчас собственными руками уничтожает то, что сам всю жизнь строил. Нет дома, нет Днепра, не будет больше погожих рассветов с перекличкой заводских гудков. Оглядываясь в прошлое, Таня видела там жизнь, залитую светом юности, жизнь, которая во всей ценности и красоте предстала перед нею только сейчас. Знала ее, какой та была — вместе с трудностями, с огорчениями, — и все же это была жизнь, которая возводила Днепрогэсы, пробивалась в стратосферу, взламывала арктические льды и всем стремительным ходом своим была нацелена в будущее, в будущее! И словно все было освещено тем будущим... А вот теперь эта черная напасть, истекающие кровью фронты, вой сирен в городах, демонтированные заводы на колесах, и она, оказавшаяся на распутье: еще и сейчас не знает, бросить ли все и догонять эшелон, где была мать, или по-прежнему держаться университетских подруг, с которыми больше, чем где бы то ни было, и больше, чем с кем бы то ни было, она ощущает себя ближе ко всему вчерашнему, к своей первой и последней студенческой любви.

За время разлуки с Богданом чувство, которое она испытывала к нему, заполонило ее всю. Не думала, что можно любить больше, чем она любила, а выходит — можно! И то, что они разминулись с матерью на полустанке, кажется Тане заслуженной карой за невнимание к родным, за то, что не поехала домой сразу, как только началась война, забыла обо всем и обо всех на свете, кроме него одного. Хоть бы слово услышать о Богдане, ведь писем нет, нет ни единой весточки, и это угнетает, воображение рисует самые мрачные и притом страшно реальные картины. Ранен? Если бы знала, что лежит где-то раненный, бросила бы все, помчалась бы туда, день и ночь была бы сиделкой при нем. В неволе фашистской? Пошла бы и в неволю, чтоб и там облегчить его страдания. И все-таки даже самые горькие предположения отступали перед непобедимой верой в его удачу, в его судьбу, в то, что он жив. Где-то он есть. Где-то в боях. Рано или поздно отзовется!

Охваченная своими мыслями, Таня сейчас еле слышит разговор девчат, хотя они идут рядом с нею вдоль посадки — мягкая дорожная пыль пыхает под их босыми ногами. Они разговаривают о тетке Хотине, о том, как ждет она своего Трифона, того добряка Трифона, который и курицы не мог убить. «Без рук, без ног будет — все равно заберу...»

— Я иногда спрашиваю себя, — говорит Ольга, — способна ли я на такое? На любовь безоглядную? На поступок по-настоящему добрый? Мне кажется, я не сделала в жизни ничего истинно хорошего, и это меня мучает.

— Не наговаривай на себя, Ольга, — возразила Марьяна. — Уж если кто у нас на факультете и был добрым к товарищам, чутким по сердцу, а не по обязанности, — так это, конечно, ты. Ты родилась быть сестрой милосердия, в будущем ты — прекрасная мать, и жаль, что этого до сих пор не мог понять твой непутевый Степура...

— О, не нужно об этом, не шути такими вещами, Марьяна... Каждый, кому довелось сделать добро другому, должно быть, пережил радость какую-то особенную, радость, ни с чем не сравнимую. Может,

это и есть счастье. Может, таким и будет идеальное общество будущего, где потребностью каждого станет делать другому только хорошее — вплоть до самопожертвования.

— Я иногда думаю: не слишком ли много университет дал нам в дорогу разных иллюзий? — сказала Марьяна. — Вот ты заговорила про общество будущего. Для нас оно — самое прекрасное, за него мы боремся, о нем мечтаем... Но если быть реалистами: не отдалит ли его эта вот война? Отбросило же татарское иго Киевскую Русь на триста лет назад... Порой, как подумаешь, даже жутко становится: в какой тяжелый век мы живем, сколько коварства, жестокости, вероломства вокруг. Тысячу лет назад, когда воины на своих пиршествах черпали вино черепами побежденных, — даже тогда перед нападением предупреждали врага честно и открыто: иду на вы! А теперь, в двадцатом столетии, совершают нападение ночью, по-разбойничьи, бомбами с неба забрасывают сонных детей, матерей...

— И это после вчерашних уверений в дружбе, — сокрушенно добавила Ольга.

Таня не вмешивалась в разговор, но мысли ее были о том же.

«Век каменный знало человечество, век бронзовый, век железный, — думала она, — а скоро ли будет легендарный век золотой? Ждет ли он нас впереди? Или, может, он уже миновал, отошел, не успев расцвести?»

— Кто это тут ходит так поздно? — послышался внезапно голос из посадки.

Вздрогнув, девчата остановились.

— Хенде хох! — И из зарослей к ним вышел дед Лука. В брыле своем неизменном, с винтовкой в руках.

— Так до смерти испугать можно, — сказала Марьяна. — Непротивленец с винтовкой — чудеса!

— Степь стерегу, — сказал дед Лука. — У нас тут теперь стрелительный батальон действует. Днем мы на своей работе, а ночью поля от диверсантов охраняем да железную дорогу. — И, снизив голос до шепота, добавил: — Само енкаведе попросило.

— Толстовец — и вдруг по линии НКВД, — улыбнулась Марьяна. — Да вам же, как толстовцу, оружие нельзя брать в руки!

— Теперь и сам Лев Николаевич взял бы, — сказал старик. — Час такой настал. В этой войне старые и малые будут воевать.

— И не страшно вам здесь, в посадках? — спросила Ольга.

— А чего ж страшно? Когда парубком был, черти за мной гонялись, и то не боялся. А один раз, как с гулянки шел, ведьма с версту гналася...

— Ведьма? — оживилась Марьяна. — Вы видели ее?

— Как вот тебя. Только ты, бачь, стоишь, а она клубком, клубком по земле передо мной, под ногами. Я остановлюсь, и она остановится. Я тронусь — и она тронется.

— Вот бы глянуть хоть раз, — засмеялась Марьяна.

— Теперь нема, — убежденно сказал дед. — Все ведьмы и лешие пропали: не стало им житья промеж теперешних людей. Раньше, бывало, подоит молодца корову, нацедит всего-то два стакана, а несет в хату — еще и фартушком прикроет, чтобы соседка не глазила. А ведьмам, так тем на всю ночь работы хватало: слышишь, у той ночью корову выдоила, той подсобила, ту присушила. А зараз вон моя невестка на ферме дояркой, ведро полное набужает, несет открыто, и никто не сглазит, бо корова из автопоилки воду пьет.

— В нечистую силу, вижу, не верите, — пристает Марьяна. — А в бога?

Дед Лука помолчал, вздохнул.

— Есть бог, нету ли, никто не докажет... А совесть вернее бога.

— «Совесть вернее бога» — это хоть записывай, — улыбнулась Ольга Тане.

Пыхает под ногами прохладная пыль, стеной темнеют вдоль дороги заросли посадки. Марьяна в темноте зацепилась за какую-то колючую ветку юбкой, осторожно стала отцеплять ее.

— Какая тут посадка густая да колючая. А у вас, дедушка, ружье заряжено?

— Все как следует.

— Если бы кто-нибудь, — ну, парашютист ихний или еще кто, — сразу и бахнули бы? — спросила Ольга.

— А думаете, дрогнет рука у деда? Правду сказать, больше двадцати лет винтовки в руках не держал, думал, и не придется. А вот привелось. Зато, может, внуки никогда не будут стрелять.

— А внуки вас тоже дразнят: «Диду Лука, там Махно вас искал»?

— Дразнят, враженята, смеются... А я, признаться вам, девчата, иногда и правда чую ночью, словно кто-то зовет. Да только знаю, то не Махно зовет, то кличет меня молодость моя, степи широкие, кони, вольная жизнь. Не был уже я тогда толстовцем, а был чертом, дьяволом и под конец войны пошел Сиваш штурмовать. А с Махно не пошел в последний рейд, не пошел с ним в Румынию, бо правду свою трудовую увидел — она тут, дома, на родной земле.

Отдыхает степь, наливается прохладой после дневного зноя. Небо кое-где в покосах облаков. Луна — щербатое цыганское солнце — выплыла из-за облака и встала над степью с запада; где-то далеко в той стороне, за балкой, горит стерня, и видно, как огромная багрово-бурая туча дыма, освещенная луной, клубясь, тяжело стелется над долиной.

— Есть что-то злое в ночных пожарах, — сказала Ольга, глядя на зарево. — Неужели это все стерня горит?

— Стерня, — спокойно подтвердил дед, — хлеба там поблизости нету... Зерно из-под комбайна прямо на станцию ушло...

— А до нашей скирды не дойдет?

— Нет, там по балке ручеек протекает.

И хотя горела только стерня и горела далеко, все же и вправду что-то было злое в этом прижатом к самой земле, сплошным фронтом наползающем пожаре.

С другого края, откуда-то со стороны села донесся еле слышный собачий лай, тревожное, разноголосое завывание.

— На луну они там воют, что ли? — спросила Марьяна.

— Собачьи маневры зараз возле совхоза, ночная учеба, — пояснил дед Лука. — Недавно привели их и теперь дрессируют, чтоб под танки бросались. Глядеть больно, як воно, тварь бессловесная, а и та понимает, жить хочет. Пустят танк старый, бросят под него кусок мяса: беги! хватай! А воно, несчастное, хоть и голодное — перед тем целый день не кормят, — и мяса не хочет, тикает от танка куда глаза глядят, бо смерть свою чувствует.

— Вряд ли думал академик Павлов, что так придется использовать его учение, — сказала Ольга, прислушиваясь к собачьему скулежу.

— А ты забыла, — почему-то раздраженно ответила Марьяна, — еще у ассирийцев были отряды боевых собак, принимавших участие в битвах?

— Ожесточились, ожесточились люди, — печально бросил дед Лука и, пожелав девчатам спокойной ночи, повернул в сторону села, откуда доносился собачий лай.

Девчата направились через поле к своему табору. Разрытая

скирда свежей соломы — это и был их степной табор. Когда подошли к скирде, все уже спали; вскоре и подруги лежали рядышком на своей роскошной соломенной постели. В лунном свете солома поблескивала; она впитала в себя за день потоки солнечных лучей и теперь будто еще дышала солнцем.

Марьяна и Ольга, улегшись поудобнее, быстро уснули, а к Тане еще долго не приходил сон... Слышала, как прокричала какая-то ночная птица в посадке, кто-то кхекал на скирде наверху, где спали мужчины, а Таня, подложив руки под голову, все смотрела на высокую, мерцающую звезду в небе. Это были те минуты, когда Таня, как она говорила, «настраивалась на одну волну с Богданом», вела с ним самые сокровенные разговоры, слышала его голос и иногда почти физически ощущала его рядом с собою. Она думала сейчас о том, как ревновала его, как ревность порою делала ее прямо-таки смешной в его глазах, а она, хотя сама все понимала, была не в силах совладать с собой. Сейчас ей было бесконечно жаль каждого того дня, каждого часа, что уходили у них на ссору и были безвозвратно утрачены. Ведь она ревновала его к каждой улыбке, которой он невзначай обменивался с кем-нибудь, ревновала к каждой девушке, которая, как думала Таня, могла бы ему понравиться. Ей все казалось, что он покинет ее, найдет лучшую — ведь лучших, казалось ей, так много было вокруг! И то, что ревность эта была от громадной любви к нему, не могло сейчас служить ей оправданием. Теперь, когда он пошел на фронт, она перестала, наконец, ревновать его и поклялась в душе, что никогда, никогда больше не будет, — пусть он только возвратится! Пусть его любят все, пускай всем он нравится, милый ее Богдан, только бы он остался живым, только бы не погиб!

Луна опустилась еще ниже, налилась краснотой, а стерня все еще горела, и жутко было смотреть, как стелется, клубится по долине тяжкий, багрово-красный дым. Вместе со стерней сгорает все дневное — стрекотание кузнечиков, аромат и золото солнца — черно делается там, где прошел пожар...

Какое-то смутное желание подняло Таню с постели. Встала, осторожно пробралась между девчат и побрела в степь.

Так странно, когда ты ночью одна-одинешенька в степи и на тебя ползет у самой земли огромный клубок бурого огня и дыма, а над тобой — пустота небес да холодное цыганское солнце дотлевают на горизонте бесформенной красной купой...

«Где ты? Что с тобой? Что волнует тебя, что болит у тебя? — остановившись над балкой, взывала Таня через пылающую стерню к Богдану, взывала всем своим сердцем, одиночеством своим девичьим. — Тебе тяжело? Богданчик, серденько, чем я могу помочь тебе? Ничего мне сейчас на свете не надо, только бы помочь тебе, облегчить твою боль, твою долю солдатскую, твои страдания. Все вокруг живет тобою. Для тебя рвы копаю, с тобой небо, звезды делю, и все во мне — твое, и все вокруг — наполнено тревогой за тебя. Верно, для родителей своих я плохая дочка, коли дом потеряла, поезда кричат, мимо меня летят на восток, а я всем существом рвусь к тебе, только к тебе одному! Днями и ночами жду твоего слова, жду весточек от тебя, а их нету. Почему их нету?»

В полузабытье каком-то возвратилась снова к скирде.

— Это ты все бродишь, лунатик? — спросонья заговорила Марьяна и, поднявшись, словно чем-то встревоженная, села на соломе. — Что это за огонь?

— Да это ж стерня горит.

— А-а, я и забыла.

Когда Таня легла, Марьяна упруго-жарким своим телом плотнее прижалась к ней, обняла.

— А мне, Таня, сон приснился. В эти степные ночи какие дивные сны снятся... Только уснула, как вдруг над самым моим ухом — голос юношеский, такой славный, веселый, слов не разберу, но слышу, как этот голос смеется... Чей он? Да это же Славик! Смеется и что-то шепчет... Силюсь хоть слово из его шепота разобрать, но ничего не пойму, а голос как-то трепещет надо мной и все смеется, и уже чувствую трепетные руки Славика на плечах...

33

Домой, в родной город, мчал с окопов поезд Марьяну на следующий день. Еле отпросилась — хорошо, окопницы помогли. Побывает дома, а заодно и в университете, может, там будут письма для девчат. А ей письмо от Славика придет на Тракторный, к родителям. На этот раз оно должно быть непременно, — не зря же такие радостные, дивные сны ей снятся... Кажется, прошла целая вечность с того дня, как они расстались со Славиком. Его нежность, его улыбка, и свадьба их скороспелая, и жар их первой короткой ночи, — было ли все это или только померещилось, пронеслось в жгучем пьянящем забвенье?

Кажется, у нее будет ребенок. Будет сын. Вырастет и будет похож на Славика. Такой же стройный, спокойный, немного насмешливый... Но неужели и тогда, когда он вырастет, будут войны? Нет, их не должно быть больше после этой!.. «Мы не будем рожать детей для войны! — хочется Марьяне крикнуть женщинам-пассажирам, среди которых она замечает нескольких беременных. — Если для войны, то лучше им и не родиться... Для радости, для счастья — вот для чего приходит человек в жизнь, вот для чего только и стоит рожать его!»

В Харькове, когда Марьяна, выйдя из вагона, спешила по перрону вокзала, первое, что она увидела, — это надписи на стенах — черные, угрожающие, со стрелками куда-то в землю: «*Бомбоубежище*».

Санитары несут раненых на носилках. Женщины бегут с тревогой в глазах.

— На пятом пути, на пятом!

— Что там на пятом?

— Санитарный стоит, раненых сортируют: кого оставляют здесь, кого дальше...

Теперь уже и Марьяна, так же встревоженная, с небрежно заброшенными за спину косами бежит вдоль санитарного поезда, жадно заглядывает в окна вагонов. В вагонах полно раненых. Одних кормят сестры. Другие, уже позавтракав, теснятся у окон с забинтованными головами, с подвешенными на повязках руками, а лица у всех исполнены ожидания, надежды встретить кого-то своего.

— Марьяна!

Степура первым окликнул ее, иначе она могла бы так и пробежать, не узнав его среди дядьков заросших — ведь и он зарос, с бородой. Как она обрадовалась ему! Как встрепенулась вся от этого его окрика! Окно было полуоткрыто, и она, припав к нему, смотрела на Степуру с радостной жадностью и страхом.

— Андрей! Дорогой!..

Его широкое лицо с этой редкой светлорусой бородкой было непривычно бледным, и сам он в белой госпитальной сорочке был какой-то посветлевший.

— Где Славик? Ты видел его?

Степура сделал длинную, глубокую затяжку (он курил «Беломор», пачка «Беломора» лежала перед ним на столике), медленно выпустил дым и почти скрылся за этим дымом. Как-то нехорошо скрылся...

— Чего ж ты молчишь? Ты видел его? Вы же вместе были?

— Вместе,— и умолк.

Она видела, как тяжело ему сказать что-то большее.

— Говори, говори,— настойчиво требовала она.— Всю правду говори!

— Правду?

С трудом выдавливая слово за словом, он заговорил. О чем это он говорил? О бое с танками, о каких-то бутылках горючих, о том, как потрепало их студбат, как ранены были многие... И Лагутин тоже.

— А потом, потом! Где сейчас он?

Насупившись, он помолчал, будто подыскивал какие-то менее ранящие слова.

— В грузовике на переправу его везли. Он все кричал. Уже у самого Днепра перестал кричать...

— Совсем?

Степура окутался дымом.

— Совсем.

Марьяна чуть не упала. Крепче ухватила руками за окно вагона, чтобы не упасть.

— Ты врешь! Врешь! Врешь! — закричала она на весь перрон, и лицо ее исказилось злостью. Степура никогда не видел у нее столько злости на лице, в глазах. На месте той Марьяны, которая с ясной, радостной улыбкой кинулась несколько минут тому назад к Степуриному окну, перед ним стояла теперь разъяренная волчица,— и он даже не пытался ее унять.

— Это ты выдумал! Нарочно выдумал! — кричала она, не помня себя.— Из зависти к нашей любви! Выдумал! Ненавижу тебя, обманщик, ревнивец проклятый! — Она заплакала, обливаясь злыми слезами.— Так знай же: у меня ребенок будет от Славика! Слышишь? Славиков сын!

Голос ее слышен был на весь перрон, раненые смотрели на нее, как на безумную. Припав к окну, она с плачем и яростью, иступленно кричала Степуре что-то оскорбительное, а он с поникшей головой молча принимал на себя удары ее горя и отчаяния.

— Успокойся, Марьяна, успокойся,— она почувствовала на своем плече чью-то руку и, оглянувшись, увидела Духновича.

Он стоял перед нею заросший, рыжий, некрасивый, на костыле, на ногах ботинки без обмоток, расшнурованные. Штаны, заскорузлые от засохшей крови.

— Напрасно ты ругаешь его. Ты бы сперва расспросила. Ведь он,— Духнович кивнул в окно на Степуру,— сам раненный, кровью истекая, под пулями выносил из боя Славика.

Марьяна сразу притихла, обмякла. «Сам выносил, из боя выносил...»

— Прости,— посмотрев на Степуру, сказала чуть слышно.

Пошатываясь, как пьяная, она пошла от вагона, и, глядя ей вслед, они видели, что это уже пошла вдова. Косы вдовьи, горе вдовье невидимой тяжестью легло на ее опустившиеся плечи.

Добрела до трамвая, и вскоре он со звоном умчал ее по улице Свердлова.

Сидела у окна, смотрела на город своего промелькнувшего счастья, и почему-то из головы не выходила, все стучала в помутившемся сознании недавняя ее свадьба: «долина глубока, калина вы-

сока, аж додолю гілля гнеться». Где-то он за Днепром похоронен. Харьков без Славика. Она без Славика. Навсегда без него. На всю жизнь.

Дома сестра Клава, встретив Марьяну во дворе, сообщила, что ее уже третий день ожидает от Славика письмо:

— Не сердись, что мы прочитали: живой, здоровый...

Марьяна молча зашла в дом и сразу увидела на столе в стеклянной вазе треугольничек письма.

— Да ты что, хвораешь? — спросила мать, глядя, как она слепо разворачивает письмо.

Склонившись и не отвечая матери, стала читать: «Марьянка, родная моя... Обо мне ты не беспокойся... Пришли мне хоть одну свою улыбку, а я шлю тебе свою уверенность в том, что мы — бессмертны...» — и дальше не могла уже читать. Упала головой на это письмо, забила в рыданиях.

Мать и Клава ничего не понимали.

— Что с тобой? Чего ты?

— Славика... Славика ж нет. Он убит!

И будто потемнело в комнате, горе на какое-то мгновение сковало женщин. Потом сестра и мать, сами едва удерживаясь от слез, принялись утешать Марьяну, успокаивать.

— Может, это еще не так?

— Может, ошибка, это же часто бывает...

— Нет, это правда, правда, — повторяла Марьяна, уставившись невидящим взором в окно, и глаза ее черно застыли в тупом оцепенении. Вдова. Вдова. Нет самого дорогого. Нет и никогда уже не будет Славика. А горе только начинается...

Вскоре Клава собралась на работу, во вторую смену, — оказывается, она уже работает.

Когда Клава ушла, мать присела возле Марьяны.

— Знать, вещало мое сердце, когда смотрела я на вашу свадьбу... Но что ж поделаешь... Не у тебя одной сейчас горе такое... Нужно пересилить, доченька...

— Где тато?

— Батько днюет и ночует на заводе, — рассказывала мать, — они теперь танки делают.

— И я пойду на завод!

— Ой, дочка...

— Пойду, пойду! — повторяла она. — День и ночь буду работать. Только больше бы танков! Тысячи, тысячи танков нужны против них!

И, упав головой на стол, она опять зарыдала.

«Не нужно было ей об этом говорить. Зачем ей такая правда! — упрекал себя в эту ночь Степура, продолжая путь в санитарном поезде. — Пускай бы лучше не знала или узнала бы от кого-нибудь другого, от Духновича, например, только не от меня».

Ее крик, крик внезапно раненного человека, до сих пор стоял в ушах Степуры. «Выдумал, нарочно выдумал!..» Неужели она хоть на мгновение могла это допустить, подумать о нем такое?

Правда, она знала Степуру только по прошлому, по тяжелой его ревности, и откуда ей было знать о том переломе, который произошел в Степуриной душе в последнее время? Славикова смерть все перевер-

нула в нем. После всего пережитого Степура смотрел на погибшего товарища взором, уже не затемненным безрассудной юношеской ревностью, взором, очищенным и просветленным в горниле общих испытаний. Лагутин, он и только он был достойным Марьяны, достойным ее любви, только он мог быть ее мужем, спутником ее на всю жизнь. Теперь это было ясно Степуре. Душа Славика, простая и мужественная, его ум, острый и немного насмешливый, его красота — какая-то легкая и светлая, — все это так подходило Марьяне, ее пылкому и крутоватому нраву, ее чуть дикой красоте... Страшно подумать, но неужели для того, чтобы он, Степура, мог правильно, честно оценить своего соперника, — неужели для этого должна была разразиться катастрофа и должен был погибнуть Лагутин? Вспомнил, как увидел его во время перевязки, увидел прекрасное тело его с ужасной открытой раной... Тело, которое могло бы служить натурой для античных скульпторов, тело Дискобола или молодого Гермеса, таким его знала и любила Марьяна, а тут оно лежало изуродованное, изорванное, в самом своем расцвете обреченное на смерть и тлен. Перемололо в мясорубке войны и выбросило, и не вернется он к Марьяне даже калеккой, хотя она и такому, наверное, была бы рада...

Санитарный поезд медленно, но неуклонно отдалается от фронта. В вагоне уже готовятся ко сну, сейчас тут только и разговоров об укулах да перевязках — этим живут тут люди, которые еще совсем недавно были здоровыми, знали и любовь, и песни и были отважными в бою, а теперь, как птицы с подрезанными крыльями, только злятся на свою беспомощность.

Напротив Степуры лежит колхозник Довгалюк с раздробленной, зажатой в лубки рукой. Он был невольным свидетелем сцены на вокзале и все, кажется, понял по их короткому и такому беспорядочному разговору. Когда соседи уснули, Довгалюк подсел к Степуре на постель, заговорил вполголоса.

— Та, которая прибежала к тебе... Она тоже студентка?

— Студентка.

— По какой же она специальности?

— По истории.

— Не легкая у нее история... Она ему жена была или как?

— Перед самой отправкой на фронт поженились.

— Горячая дивчина, видать, с жаром в сердце, и такое горе постигло... Но пока детей нет, это еще полбеды. Переболеет, перегорит, а там и найдет себе. Вдове горе такую не согнет, не прибьет. А что ты сказал ей сразу всю правду, это как раз добре, не раскаивайся. Хуже нет, когда люди начинают дурить голову друг другу. Когда моего земляка убило в первом бою, я в тот же день написал его жене, чтобы знала. Пускай наплачется хорошенько да и начинает думать, как быть дальше, как детей в люди вывести. Ох, дети, дети! Если б не они, легче солдату было бы и смерть принять.

— Сколько их у вас?

— Тройка. У меньшего еще только зубы молочные выпадают, — всю весну их на чердак забрасывал, чтобы новые покрепче росли. Не знаю, как там моя теперь с ними...

Довгалюк помолчал, прислушиваясь, как стонет во сне артиллерист на верхней полке.

— Не журишь, ты еще найдешь свое счастье, — снова заговорил он, обращаясь к Степуре, — только бы живой остался... Не знакомы вот вы мне, ни ты, ни она, ни тот, третий, и не знаю я всех ваших тонкостей, а все-таки вижу, что было все по-хорошему... А ведь бывает и по-иному. Возвращался в прошлом году хлопец из армии в Тарасовку, соседнее с нами село. Финскую прошел, срок отслужил, и вот домой,

где мать его ждет и девушка-невеста. Ночь темная, осенняя, дождь идет, слякоть. Говорили ему на станции: «Погоди до утра, пойдешь, как рассветет». Не послушался. Пошел на ночь глядя. В поле, недалеко от села, был колодец старый, обвалившийся. И — нужно же случиться такому — поскользнулся в темноте и — бух в колодец! Местность запущенная, хуторок когда-то тут был, но давно уже нету, люди редко сюда заходят, — кричи не докричишься. Однако утром один охотник забрел-таки сюда, счетовод артельный, собака нюхом его навела. «Вытащи!» — просит хлопец. «Что же, — согласился, — вытащу, — кажет. — Бросай сюда все: сапоги, ранец свой бросай, ремни!» Попробовал связать те ремешки — не хватило, мол. «Сбегаю за веревкой!» Забрал все то имущество солдатское, пошел домой да больше к колодцу и не возвратился. А думаешь, почему? Девушка, невеста того солдата, перед тем приглянулась счетоводу! Не раз подбивал клин, а она все отказывала. И тут вдруг такой случай. К тому же жадный был, даже на солдатское добро позарился...

— А с солдатом что ж?

— Погоди, доскажу. Сидит счетовод дома день, и другой, и третий, а у матери и у девушки уже тревога, бо солдат перед тем телеграмму отстучал: еду, мол! Ждут-пождут, а его все нет. Через две недели и счетовод не выдержал, пришел в сельсовет да сам все и рассказал. Не все, конечно, как было на самом деле: во время охоты заглянул-де в колодец, обвалившийся, кулацкий, увидел там мертвого человека. Пошли всем селом, вытащили. Признали: Андрей Михайлишин! Мертвый-то он мертвый, босой и без вещей, да только в нагрудном кармане гимнастерки записка, как от живого! А в ней все и рассказано: как шел ночью, как упал в колодец, как счетовод на него наткнулся и, ограбив, бросил... Так-то бывает.

Слушая его, Степура воочию представил себе ту ночь и красноармейца в колодце, и то, как счетовод к нему пришел вслед за собакой, а потом ушел и не вернулся... Оказывается, в жизни случается еще и такое... А разве ты тоже не стоял какое-то мгновение над подобной же бездной, хоть и выглядела она иначе? Но ведь ты победил, ты раздавил в себе того минутного зверя и дал простор человеку, и человек вынес на себе из боя товарища и готов был, рискуя собственной жизнью, под пулями нести его тысячи верст, чтобы положить к ногам единственной любимой. «Вот тебе твое счастье, Марьяна. Я принес, я добыл его для тебя из огня, тебе отдам и ничего не требую взамен!.. Нес, но не донес, и не моя в том вина. Вместо счастья вещь черную тебе принес, горя столько, что его хватит на всю жизнь». Что она думает там сейчас, в эту первую вдовью ночь? Разве не в такие ночи, не от такого горя становились девчата в песнях тополями в поле, вырастали кустами красной калины из той земли, где казацкое белое тело лежит?

Всю ночь думал Степура о Марьяне. Что-то братское появилось в его чувстве к ней. Еще ближе становилась она для него в своем несчастье, и нежность чувствовал к ней более глубокую теперь, но временно чувствовал и то, что со смертью Славика возникла между ними какая-то непроходимая пропасть, пропасть, которую он, вероятно, уже никогда не сможет переступить.

Час за часом поезд шел ночным неведомым краем, останавливался на каких-то крохотных станциях, и тогда видны были деревья за окном, темные, грузные, словно бы отлитые из чугуна. Порою в просторах ночной степи проплывали причудливые нагромождения, похожие на египетские пирамиды. Что бы это могло быть?

В вагоне все спали. Довгалюк храпел на своей полке, и во сне под-

держивая зажатую в лубки руку. Уже перед рассветом, утомленный беспокойными своими думами, задремал и Степура.

То, что представлялось ему загадочным и непонятным ночью — те черные египетские пирамиды по степи, — сейчас, при свете дня, оказалось терриконами Донбасса.

Терриконы. Шахты. Трубы заводов — донецкий, суровый, прежде не виданный Степурой край. «Это тоже твоя Украина, — все говорило ему. — Угольная, черная, шахтерская, с терриконами, что высятся в степи, как немые величественные памятники человеческого труда... Этот край достоин твоих песен не меньше, чем родная Ворскла, чем лунные полтавские ночи с вербами да соловьями».

Сейчас, однако, ему было не до песен.

Шахтерские жены встречали солдат на перронах станций, и на их лицах написано было горе, суровость, а глаза искали и искали среди раненых кого-то самого близкого, самого дорогого. Вспомнил Степура, что и мать Павла Дробахи живет где-то в таком вот шахтерском поселке и, может, выходит каждый день высматривать сына, может, и теперь стоит вот тут в толпе, стоит и ждет, что подойдет к ней кто-то и расскажет о его судьбе...

Шахтерские больницы и даже школы во многих поселках были превращены в госпитали — в один из таких госпиталей положили и Степуру. Когда выгружали из автобуса на школьном дворе, первое, что он увидел, была гора беспорядочно сваленных под открытым небом школьных парт, а возле высилась куча выброшенных после перевязки окровавленных грязных бинтов.

35

В тот же госпиталь, только двумя днями раньше, с партией раненых прибыл и Спартак Павлуценко. В бессмысленной атаке, предпринятой Девятым, Спартак был легко ранен пулей, а вот на днепровской переправе, во время налета немецкой авиации, он едва не погиб от бомбы. В госпиталь его привезли контуженным, и теперь он только начал поправляться. Ему перекосило скулу, весь он был измят, а что еще хуже — утратил дар речи. Это его больше всего угнетало, представлялось ему самым ужасным: боялся на всю жизнь остаться немым.

Тяжкие думы не оставляли в эти дни Спартака. Слишком большим оказался разрыв между его прежними представлениями о жизни и новой, жестокой наукой, преподанной ему у Роси. К таким испытаниям, какие свалились на него, он вовсе не был подготовлен. Павлуценке до сих пор легко все давалось в жизни. Как-то получалось, что, начиная со школьной парты, с пионерского отряда, он всюду был впереди, везде его избирали, и даже когда стал студентом, и тут, словно бы по традиции, из года в год он попадал то в факультетское комсомольское бюро, то в члены комсомольского комитета университета и еще более утверждался в уверенности, что жизненное его призвание — руководить, находиться все время на виду, быть во всем инициатором, запевалой.

Та бессмысленная атака на Роси многому научила его. Если на первых порах Девятый своей решительностью вызывал в Спартаке искренний восторг, то после атаки он готов был плюнуть Девятому в лицо. Он не мог простить ему, что атака была так легкомысленно организована и закончилась лишь напрасными жертвами. Люди, которые шли в атаку, гибли, даже не увидев противника. И это в то время, когда каждый из них при других обстоятельствах способен был совершить подвиг, стать героем, увидеть вокруг себя груды поверженных врагов. Однако и теперь, когда все это отошло в прошлое, Спар-

так вновь пытался найти какое-то объяснение атаке. «Девятый послал нас под пули, на верную гибель, но, может, так было нужно? Может, жертвы, представляющиеся нам бессмысленными, продиктованы какой-то военной целесообразностью, может, они все же хоть на миг задержали продвижение неприятеля?»

Во всем этом Спартаку хотелось сейчас разобраться, доискаться истины.

Милая и добрая девушка, смуглявая шахтерочка Наташа ухаживает за ним в палате. Молоденькая, хотя и рано располневшая, она стала медсестрой после десятилетки и среди других сестер выделяется тем, что как-то по-особенному ласкова и внимательна к раненым. Для Спартака здесь единственная радость, когда Наташа забежит в палату и глянет в его сторону, а потом они о чем-нибудь побеседуют при помощи бумаги и карандаша. Наташа, как никто, умела подбодрить его в самую тяжелую минуту, и, может, только благодаря ей он не пал духом окончательно. Она была уверена, что он заговорит.

— Все будет в порядке,— улыбалась она, и ему становилось легче от ее улыбки.

Когда Спартак узнал от Наташи, что прибыла новая партия раненых и среди прибывших есть несколько студентов, то сразу попросил ее пойти и разузнать, кто именно эти студенты. Ему очень хотелось это выяснить, он лихорадочно перебирал в памяти друзей и знакомых и чувствовал, что, кто бы это ни был,— каждому он сейчас будет от души рад.

Наташа возвратилась довольная (видимо, ей приятно было услужить ему), а вслед за нею в палате, стуча костылем, появился — кто бы мог подумать! — Духнович. Рыжий, веснушчатый, казалось, еще более долговязый, стриженный, в грубом каком-то потрепанном халате, он улыбался, как бы говоря: «Погляди, какой я теперь смешной...»

Присев на табуретке возле Спартака и стараясь не смотреть на его перекошенную скулу, Духнович сообщил, что ранение у него пушечное, и что ему здесь нравится, и что среди прибывших — «славный поэт наш Степура», он сейчас на перевязке...

«А Колосовский? Вернулся он из разведки?» — спросил Спартак запиской.

Духнович рассказал все, что знал о Богдане, о том, что разведка закончилась успешно и что в бою с танками Богдан тоже отличился.

— И сейчас немчуру где-то колошматит,— закончил Духнович с гордостью за товарища.

Он посидел недолго, посоветовал на то, что не сбежал в Харькове с эшелона, не подался на лечение к родителям, пошутил над своим видом, над халатом, который почему-то казался ему арестантским, но вся эта словоохотливость его была какой-то напускной, видно было, что со Спартаком Духнович чувствует себя скованно, к тому же, кажется, ему неприятно было смотреть на перекошенное лицо Спартака и слушать вместо членораздельной речи какое-то бормотание, с которым взволнованный Павлущенко пробовал к нему обратиться.

И все-таки после этого посещения на душе у Спартака сделалось как-то легче, спокойнее. Духнович не принадлежал к числу тех, с кем Павлущенко мог скорее всего найти общий язык,— это, конечно, так, но сейчас ему дорог был каждый из студбатовцев, он, кажется, был бы рад и Колосовскому. И разве это не ирония судьбы: именно теперь, когда у него есть что сказать товарищам, появилось в сердце нечто новое, человеческое, теплое, чем он хотел бы поделиться с ними,— именно теперь контузия лишила его дара речи.

— Все будет хорошо,— утешала его Наташа, очевидно, разгадав самое страстное его желание.— Это скоро пройдет, обязательно пройдет. У нас уже был такой случай...

Ночью он метался на своей койке. Тишина в госпитале, лишь то тут, то там прорвется стон, а ему душно, хочется кричать, сказать всем, на весь мир, что он уже не такой, каким был совсем недавно, что собственное горе сделало его более чутким к другим. О, если бы только возвратился к нему дар речи, если бы он мог говорить! Вся воля его, все желания были сейчас устремлены к этому.

Измученный, провалился в тревожный, горячечный сон, а проснувшись вскоре, весь в поту, почувствовал вдруг, что и впрямь может заговорить. Вот так — возьмет и заговорит! Добудет, вымолвит любое слово, какое только захочет!

Поднялся, накинул на себя халат и, осторожно, чтобы никого не разбудить, прокравшись на воздух, полный радостного предчувствия, помчался в степь. Там попробует! Там сбросит с себя кандалы контузии! Путаюсь в халате, бежал напрямик, к ночным терриконам, чтобы там, на воле, убедиться, в самом ли деле к нему вновь возвратился материнский дар!

Остановился перед терриконом, запыхавшийся, готовился вымолвить первое слово, и стало вдруг жутко: «А что, если не выйдет? Что, если потеряет здесь последнюю свою надежду заговорить?»

Набрался духу и, замирая от неуверенности, от страха, выдал из себя сначала тихонько, еле слышно, а потом смелее:

— Ма-ма... мама!

И, запрокинув голову к небу, ошалев от радости, закричал во всю силу легких:

— Мама!! Я говорю!!!

36

Рассвет, самый чудесный в его жизни рассвет, занимаясь над терриконами, напомнил Спартаку, что пора возвращаться в палату.

В полуосвещенном коридоре госпиталя неожиданно столкнулся с Наташей:

— Откуда вы? Что с вами? — вскрикнула она приглушенно, а этот ночной нарушитель, вместо ответа, радостно схватил ее в объятия, будто пьяный. И она не сопротивлялась, хотя губы ее сами собой шептали:

— Что вы делаете? Врач увидит!

— Пускай видит... Я же тебя люблю!..

Он говорил. С трудом, с натугой, с запинками, но говорил. Теперь она поняла, что с ним произошло, поняла, что творилось в его душе. И хотя это было безумием, было против всяких правил стоять вот так в госпитальном коридоре, тем не менее некоторое время она так стояла, отдавшись на волю его внезапно прорвавшейся горячей нежности. Потом осторожно, мягким ласковым движением отстранила его.

— Иди. Иди в палату.

— Без тебя?

— Я приду.

Он почему-то был уверен, что она придет. И вправду она пришла, когда Спартак уже лежал в постели. Пробралась в палату крадучись и, не зажигая света, приблизилась к его кровати, тихо, бесшумно села возле него, и он взял ее руку. Знал и раньше эту руку, полную и шер-

шавую, когда она касалась его, выполняя свои сестринские обязанности. Но теперь эта рука была какая-то иная... Взял и гладил. Первый раз в жизни. «В жизни,—думал он,—много есть редкостного, неповторимого, что бывает только один раз. Первое вымолвленное тобою слово. Первая любовь».

«Вот и мое счастье нашло меня,—думал он радостно.— Явилось в образе этой смуглой кареюкой шахтерочки, которая из всей палаты, из всего госпиталя избрала почему-то меня и сидит сейчас вот тут, рядом со мной, в предрассветной полутьме, и я вижу, как взволнованно дышит ее грудь под белым накрахмаленным халатом. До сих пор он отделял девушку от себя некоей служебной неприступностью, а теперь уже не отделяет, рука Наташи в твоей руке, ты чувствуешь ее нежность. И пусть это будет так всегда».

Наташа понравилась ему тотчас же, как только он ее увидел. Ему нравилось, как она входила в палату, как улыбалась, ласково и немного лукаво. Нравилось, как раздавала термометры и терпеливо выслушивала грубости тяжелораненого сержанта, который лежал в противоположном углу. Когда она подходила к кровати Спартака, ему казалось, что она улыбается как-то особенно, вроде бы приберегает для него что-то за своей улыбкой. Чувство, пробуждавшееся в нем к Наташе, облегчало его страдания, в часы ее дежурств к нему приливали радостные силы, и всякий раз, когда она присаживалась возле него на стульчике, ему хотелось коснуться ее, но тогда он не имел на это права, а сегодня на все имеет право, ведь это она выходила его, подняла, сделала человеком.

— Я знала, что ты поправишься,—тихо, как-то бархатно говорила Наташа,— поправишься и заговоришь.

— Это все — ты...

— Ну, что я... Хотя я этого и вправду очень хотела. Мне было так жаль тебя... Приду, бывало, домой и думаю: как там мой студент?

В противоположном конце палаты кто-то закашлял, застонал спросонок, затаил обычное:

— Сестра-а!

Наташа сразу сжалась, быстро нагнулась к Спартаку, коснулась его щеки своей разгоряченной щекой. Он почувствовал, как пахнут ее волосы, ощутил ее дыхание.

Еще миг — и ее уже не было, уже стояла возле того, кто позвал ее,— это был артиллерийский старшина Христенко, которому она несколько дней назад дала свою кровь. Вся палата знала, что Наташа, когда начали привозить с фронта тяжелораненых, сама вызвалась быть донором, и за это в палате ей еще больше симпатизировали, а Спартак знал, что она и не могла поступить иначе, его Наташа, его любовь.

Так это началось. Началось на рассвете, а днем, хотя Наташа и была свободна от дежурства, она несколько раз забежала в палату, будто случайно, будто по какому-то делу, а Спартак знал, что это — ради него. Уже от порога ее глаза сверкали прямо ему, ему несла она свою самую ясную, добрую, самую прекрасную в мире улыбку.

Брала у него какую-то книгу, а в той книге между страниц уже лежала для нее записка. «Как я люблю тебя, Наташа, солнышко мое, моя спасительница!.. Как хочу, чтобы мы с тобою были всегда вместе». А через некоторое время она приносила ему другую книгу, якобы взятую для него из библиотеки, и он находил там записку для себя: «И я тоже. Не видела тебя час и уже соскучилась. Что это такое с нами? Мы нарушаем госпитальные правила и, кажется, все уже о нас знают, а я почему-то ничего не боюсь...»

Чувство их, вспыхнувшее столь неожиданно, вскоре, действи-

тельно, ни для кого уже не было тайной, да они и сами перестали скрывать его. Чистое, искреннее чувство, сразу сделавшее их богатыми, сильными, счастливыми, — зачем же прятать его? Разве кому-нибудь от него плохо?

Однако на следующий день Спартак встретил Наташу возле операционной в слезах.

— Что с тобой?

— Евдокия Павловна, врач, узнала все и отчитывала меня только что... «Это позорно, это непозволительно, я не потерплю разврата в стенах госпиталя!..»

Спартак бросило в жар.

— Где она?

— Не связывайся с нею, не нужно. Она хороший хирург, золотые руки, только вот беда — старая дева и ничего в этом не смыслит.

— Сегодня мы пойдем к тебе. Наперекор всему. Согласна?

— Хорошо. Пойдем.

После обеда они пошли к Наташе. Через весь шахтерский поселок промаршировал он с нею в своем госпитальном халате, стриженный, чуть ниже ее ростом, беспечный, и чувствовал только гордость, что идет рядом с ней, на виду у всех, как ее будущий муж. Это тоже было нарушение — выйти вот так за ограду госпиталя, идти к сестре домой, но Спартак сейчас способен был и не на такое.

Наташина мать знала о нем и, видно, ждала его в добротном шахтерском доме, откуда двое таких, как он, на этих днях отправились на фронт.

Спартак сидел с Наташей в ее девичьей горенке, где было уютно и тихо, на стене красовались наивные лубочные лебеди, над которыми раньше он только посмеялся бы, а теперь и эти лебеди чем-то были милы ему. Окно открыто в сад, там наливались на солнце груши, и в горенке тоже пахло грушами: Наташина мать принесла полную тарелку и гостеприимно поставила перед ним:

— Это скороспелки, пробуйте, пожалуйста...

Когда мать вышла, Наташа села на кушетку совсем близко возле него, она уже не была заплаканной, только бледнее обычного — вчера снова давала кровь.

— Ты мой, мой! — блестела она глазенками и сама прижималась к нему.

Вчерашняя десятиклассница, она тем не менее казалась взрослее его; смеясь, призналась вдруг, что еще в школе целовалась с хлопцами, потому что у них в поселке девчата рано начинают целоваться, но все это были шутки, баловство, и только сейчас она почувствовала, как приходит это, настоящее...

— Расскажи мне все про себя, про университет, про ваших девчат, про товарищей...

И он рассказывал ей все без утайки, как жил, как порой ошибался, какое чудесное было у них студенческое товарищество, какие славные эти хлопцы из их студбата — Степура и Духнович. Еще был у них Колосовский, с которым Спартак нередко ссорился, хотя и не должен был делать этого, — теперь он это видит; и вообще он подчас бывал просто невыносимым и сейчас даже удивляется, как она могла полюбить такого...

— Нет, ты хороший, хороший, — уверяла Наташа. — Если ты так хорошо говоришь о товарищах, то и сам ты хороший... Я сразу угадала, что в тебе есть что-то необыкновенное и что на фронте ты был храбрым... Ведь правда, ты был храбрым?

— Не знаю, каким был, но теперь, когда пойду, во сто раз лучше буду воевать, знай это, — с этими словами он прижал девушку

к себе и не выпускал, а она вдруг почувствовала: сейчас он думает о том, как скоро им придется расставаться.

— Делаюсь сама не своя, как только подумаю, что тебя в любой день могут выписать. Ты не жалеешь, что так быстро поправился?

— Нет, не жалею.

— Я так и знала... Ведь не все ж такие — в госпитале всякого можно насмотреться: некоторые ведь и рады, что больше не вернутся, — будут работать в тылу, а вы, мол, хоть сто лет воюйте... Ты, я знаю, не такой, не такой!

Она всем сердцем верила в него; она все время видела его гораздо лучшим, чем он был в действительности, но это-то как раз и заставляло его быть лучшим, и сам он чувствовал, что отныне очень многое изменится в его жизни. Уйдет из госпиталя с ее любовью и будет воевать за эту любовь, всего себя отдаст борьбе с ненавистным врагом. Сейчас он не тешит себя, как в первые дни войны, никакими иллюзиями, не преуменьшает угрозы, знает, что опасность смертельна, но знает и то, что борьба только развертывается, и враг еще почувствует на себе силу уничтожающих ударов.

— У них техника пока лучше, но они не сломят нас, не завоюют никогда. Не такие наши люди, Наташа, чтобы признать над собой власть завоевателя, не для того революцию делали, чтобы превратиться в рабов...

— Это правда, — положила ему голову на плечо Наташа, — я вот о подругах своих думаю... Ко всему готовы. Если нужно в партизаны — пойдут в партизаны. На фронт — на фронт. Сестрами, санитарками, кем угодно. Ты знаешь, милый, я тоже ведь хочу проситься на фронт.

— Ты и тут нужна.

— Не хочешь, чтобы я была рядом с тобой?

— Я буду воевать за двоих. За тебя и за себя. А ты и тут воюешь — отдаешь раненым свою кровь.

— Это и комиссар мне сказал... А все-таки не удивляйся, когда на поле боя возле тебя вдруг появится твоя хорошая знакомая... В шинели и сапогах кирзовых.

Он прижал ее к себе еще крепче, с нежностью целовал карие ее глазенки, а сердце пело без слов: «Ты меня спасла. Ты сделала меня счастливым. И где бы я ни был, в любых боях, никогда тебе не придется краснеть за меня!..»

37

На сваленных во дворе партах сидят Степура и Духнович. У них тут свой укромный излюбленный уголок, где они коротают вечера в тихих и долгих беседах, засиживаясь иногда до глубокой ночи. Когда, выбравшись из палат, пропахших тошнотворными лекарствами, придут сюда и рассядутся вот так, на партах, в своих грубых госпитальных халатах, им становится вдруг странно, что это они успели побывать в боях, что на каждом из них уже затягиваются раны, полученные где-то на далекой Роси, и теплый этот вечер застает их в эвакогоспитале, среди терриконов Донбасса, а не на раскопках исторических мест. Тут звездно и тихо, а там, откуда их привезли, — в дымах Украина, в крови.

Нет для них больше университета, нет больше жизни, к которой привыкли, нарушены планы, которые каждый из них вынашивал, осталась только надежда, что все это вернется, что из того свирепого черного урагана, что бушует сейчас за Днепром, родится победа.

Родится, но — когда?

Они долго думают над этим. Они еще не знают, что будет снега Подмосковья, будет Сталинград и Курская дуга, им хочется верить, что эта историческая схватка произойдет значительно скорее и не где-нибудь, а тут, в украинских степях, на Днестре. Живут тем, чем живет в эти дни весь госпиталь, весь шахтерский край: жадно ловят сводки Совинформбюро, с нетерпением ждут радостных известий о том, что там, на фронте, наступил, наконец, перелом... А добрых вестей нет, вместо них оглушительные удары сообщений о новых фронтовых направлениях, скупые слова о том, что после упорных боев оставлен еще один город, еще один важный рубеж.

Столько событий произошло за это время, и развиваются они с такой бешеной стремительностью, что ребятам кажется: прошло много-много времени с той поры, как они ходили в райком, прощались с университетом и, постигая военную науку, ползали по-пластунски в Чугуевских лагерях. Сгорел их студбат, разбросало, разметало его...

— Инквизиция за все времена своего существования сожгла меньше, чем один какой-нибудь фашистский концлагерь... — размышляет Духнович. — Конечно, много было черного в истории людской, но какую поистине изумительную силу творчества, жажду открытий проявило в те далекие времена человечество! Марко Поло идет через континенты. Колумб плывет через океан. Солдат Сервантес и актер Шекспир творят для всех народов и для всех веков. Бурный рост гуманизма, города-республики... Нет, человек тогда был велик!

— А сейчас разве нет? — слышат Духнович и Степура из вечерних сумерек.

Из-за нагромождения парт появляется Спартак Павлущенко. Наверно, от Наташи. Он улыбается. Он счастлив.

— Теперь я вижу, что любовь приходит сразу же после контузии, — говорит Духнович. — Жалею, что меня не трахнуло так же, как Спартака, глядишь — и я попробовал бы этого меда... А так остается только завидовать. Поздравляем тебя, товарищ влюбленный!

— Она в самом деле славная девушка, — говорит о Наташе Степура. — Знает ведь, как наши хлопцы из окна порой выживают на веревке пол-литра, знает, что некоторые в одних подштанниках убегают на целую ночь в поселок, но еще ни разу не накапала начальству. По сути она — в сговоре с нарушителями порядка, но... Ты женишься на ней? — спрашивает он Спартака.

— Женюсь.

— Сейчас или после войны?

— Обстоятельства покажут.

— Хотелось бы знать, — будто спрашивает кого-то Степура, — много ли нас, студбатовцев, останется после войны?..

— Если останемся, нам нужно будет жить иначе, — говорит Спартак, усаживаясь с ногами на парте. — Совсем иначе, друзья!

— Как, разрешите спросить? — насмешливо поглядывает на него Духнович.

— Ты не иронизируй, Мирон, — Павлущенко, начиная волноваться, заикается. — То, что мы переживаем сейчас, не должно пройти для нас бесследно. Жить дружнее, как-то теплее. С новым, более чутким отношением друг к другу... Так будем жить... Разве это невозможно?

Закурив, Степура хмуро замечает:

— Этого действительно кое-кому из нас частенько не хватало.

— Я знаю, что вы сейчас думаете, хлопцы. Вот, мол, Спартак,

влюбился и запел по-другому. В сантименты ударился. Но это не только потому, что влюбился... Рось кое-чему научила меня, хлопцы: жил я, вижу, не так, как должен бы жить. Вы имели все основания относиться ко мне пренебрежительно и холодно, а иногда и ненавидеть меня.

— Ты преувеличиваешь, товарищ комсорг.

— Нет, не преувеличиваю, Мирон. Чувствую, что перед некоторыми своими университетскими товарищами я действительно виноват, сильно виноват. Фронтной наш университет, хотя и очень кратковременный, на многое открыл мне глаза. Я будто глянул на себя со стороны, глазами товарищей, сравнил себя с вами — с тобой, Духнович, с тобой, Степура, с Колосовским, и сравнение это, скажу вам откровенно, было не в мою пользу. А я ведь претендовал на высокую роль вожака, присвоил себе право контролировать каждый ваш шаг, каждую мысль вашу, каждый ваш поступок. Вы казались мне людьми ненадежными, каких все время нужно держать в шорах, и я представлял себе, что все это должен делать именно я. А что мне давало на это право? То ли, что чуть не с пеленок начал считать себя непогрешимым? Что сам себе казался безукоризненным? Я сознательно культивировал в себе недоверие к каждому из вас, называя это бдительностью, хотя то была скорее лжебдительность...

— Все это в конце концов можно понять, — как бы оправдывая его, тихо сказал Степура. — Мы жили в суровое время. Кругом нас были враги. Капиталистическое окружение... Война показала, что это — далеко не пустой звук...

— Но она показала и другое. Лично мне, например, она показала, что, скажем, такой человек, как Богдан Колосовский, который казался мне человеком ущербным, не колеблясь, берет оружие в руки и идет на подвиг, потому что несет в сердце своем нечто значительно большее, чем личные обиды.

— Ты тоже шел. Роту в атаку водил.

— Водил... Когда стану командиром, никогда не будет у меня таких бездарных атак. Я буду дорожить каждым бойцом, как комиссар Лещенко. Если умирать, так умри с наибольшей пользой для дела, — в этом вся суть, в этом наука войны.

— Лучше бы ее и вовсе никогда не знать, этой науки, — сказал, ковыряя костылем землю, Духнович. — Как это все-таки символично, что первым декретом нашей революции был декрет о мире! Для простых людей, видимо, ничто не может быть более ненавистным, чем война, военщина, милитаризм. Я думаю, рано или поздно человечество в конце концов покончит с войнами, они станут для него черным и постыдным прошлым, как, скажем, работорговля или канибализм.

— Но чтобы покончить с войнами, нужно сначала покончить с фашизмом, — сказал Степура. — Уничтожить фашистский строй, пеплом развеять их тюрьмы и казематы... Посмотрите, что они несут народам, что делают они с поляками, чехами, с их культурой... Террор, концлагеря, крестьян сгоняют с земли, отдают ее осадникам. Читал вот сегодня о чехах. В стране запрещены чешские песни, в школах чешские учебники заменяют своими...

— Да, они распоясались, на всю Европу справляют свою дьявольскую оргию, — глухо промолвил Духнович. — Они и не думают, видно, что когда-нибудь придет расплата.

— А она придет, — сказал Павлущенко. — Не может не прийти. Они застали нас врасплох — вот почему нам сейчас так тяжело. Но ведь и в гражданскую было не легче. Четырнадцать держав против голодного, босого красноармейца... И чем кончилось? У них уже и

тогда были танки, а что было у нас? Зато в душе каждого нашего бойца было такое оружие, которое и не снилось врагам революции!

— Оно, это оружие, есть и у нас,— сказал Степура.— Оно не ржавеет.

— А надежное идейное оружие даст нам возможность выковать и могучее оружие материальное,— продолжал дальше Павлущенко.— Пускай есть пока у нас промахи, и дают еще о себе знать результаты нашего шапкозакидательства, и порядка надо бы побольше, но, я уверен, это скоро пройдет. Вырастут наши армии, еще как вырастут! Не стилем Девятого будем воевать, ведь и сейчас есть у нас иной, новый стиль. Думаю вот о комиссаре Лещенке. Такими, как он, представляются мне командиры и комиссары наших будущих победоносных полков и дивизий.

— Рядом с тобой поневоле становишься оптимистом,— улыбнулся Духнович, слушая разгоряченного Павлущенко.— Увидеть наступление. Увидеть, как гоним их, проклятых, как вызволяем наши села, наши города... Может, и в самом деле это будет? — глянул он на Степуру.

— Будет,— ответил Степура сурово.— Обязательно будет.

С госпитального крыльца дежурная сестра уже звала их, заго-няла в палату.

38

Быстро в это лето заживали солдатские раны.

Не успели хлопцы обжиться в своем уютном госпитале, как их уже выписывали, срочно освобождая место для новой партии раненых, только что привезенных с фронта.

Врачи так и не стали вытаскивать осколков из Степуриных ног. Просветили рентгеном, посоветовались и сошлись на том, что лучше к этому добру не прикасаться.

— Пускай сидят. Кость не повреждена, вытащим после войны.

В иных условиях Степуре в его состоянии, конечно, нужно было остаться в госпитале, как и многим другим раненым, но не такое было сейчас время. Отправлялись, даже не сняв бинтов, и Наташа, провожая команду выздоравливающих на вокзал, чувствовала себя так, словно бы в чем-то провинилась перед ними, словно бы это она выписала ребят преждевременно.

— Может, в батальоне для выздоравливающих вас дольше подержат,— неловко оправдывалась она, бросая жалостливые взгляды то на Павлущенко, то на Степуру.

Как это ни странно, но бодрее всех был сейчас Духнович. Не беда, что он, как и Степура, малость прихрамывал, он не мог отказать себе в удовольствии посмеяться над своим весьма не воинственным видом.

— Дон-Кихоты без Расинантов, рыцари печального образа в потрепанных обмотках,— дурачился он по дороге к вокзалу.— А вообще это вы хорошо сделали, Наташа, что вовремя спровадили нас, иначе не только Спартак, но и я, грешный, влюбился бы в вас. Отбил бы у Павлущенко.

— Нет, не отбили бы.

— Так крепко сошлись характерами?

Наташа зарделась.

— Крепко...

На ходу она прижалась к Спартаку, влюбленно заглянула ему в лицо своими добрыми, ласковыми глазами.

Степуре Наташа напоминала чем-то Марьяну, — может, этими вот черными косами, которые были закручены тугим узлом и выглядели сзади из-под белой накрахмаленной косынки. Наташино простое душевное сочувствие и эта ее виноватость в том, в чем она, собственно, не была вовсе виновата, как-то растрогали Степуру, вызвали в нем ответное желание утешить эту милую, добросердечную девушку, сказать ей, что виновата во всем только война, которая шлет и шлет сюда искалеченных людей.

На станции — проводы. Женщины-шахтерки толпами провожали своих мужей и сыновей, которых, по слухам, отправляли в Чугуев, в те самые лагеря, которые совсем еще недавно прошли студенты-добровольцы. Новобранцы, видать, только что вылезли из забоев, вышли из душевых — блестят на солнце мокрые шахтерские чубы. Плач, пение, звуки гармоник по всему привокзалью, повсюду распевают в полную глотку о том, что вышел в степь донецкую парень молодой...

Внимание Степуры привлекла одна компания в пристанционном скверике: сидя под деревом, старается на гармошке шахтерский подросток, серьезный, бесстрастный, угрюмый, а напротив него среди водочных бутылок, разбросанных по вытопанной траве, в кругу родственников пляшут двое, похоже, отец и сын. Они такие же серьезные, как гармонист. Отец лишь редко, сосредоточенно притопывает ногой, как бы экономя силы, больше дирижируя руками, а парень весь в буйном отчаянном танце, бьет, прибивает землю, брызгами летят из-под его ног пустые бутылки. Чуб растрепанный, мокрый, пот течет ручьями, а он все отплясывает.

В толпе родственников стоит дородная круглолицая украинка, видно, мать этой семьи, и, сложив руки на груди, не вытирая слез, что катятся у нее по щекам, все глядит и глядит на эту невеселую пляску отца и сына. Черный, суконный пиджак сыновний висит внакидку у нее на плечах, родственники обращаются к ней с какими-то словами, а она, не слыша их, все глядит сквозь слезы на хозяев дома своего, на мужа и сына, на прощальную их пляску...

Распростившись с Наташей, ребята сели в вагон — ехать им на юг, к морю. Из окна вагона они некоторое время еще видели, как неумоимо пляшут те двое шахтеров. Молодой — бледный от солнца и от выпитой водки — по-прежнему упрямо идет по кругу, а старый, еще больше ссутулившись, мрачно дирижирует руками.

На станции Сталино, шумной, многолюдной, переполненной эвакуированными женщинами и детьми, студбатовцы во время остановки стали свидетелями любопытной сцены: перед ними, брошенный откуда-то сверху, вдруг трахнул об асфальт огромный чемоданище, трахнул, раскрылся, а из него — ворох деньжищ! Полный чемодан денег! Тугие пачки новеньких червонцев, тридцаток, сотенных лежали у ног людей, и никто их не трогал. А вслед за чемоданом со ступенек вагона женщины-шахтерки с яростным криком волокли уже и хозяина чемодана — какого-то лысого толстяка.

Поставленный женщинами перед своим растерзанным, разбитым чемоданом, он пробовал что-то объяснить им, в чем-то оправдаться, а женщины, не слушая, разъяренные, награждали его то слева, то справа щедрыми пощечинами:

- Паразит! Хапуга! Казнокрад!
- Наши в боях умирают, а он наживается!
- Зарплату чью-то присвоил, не иначе!

И снова на весь перрон слышится сочное: хлясть, хлясть! А толстяк только по-рыбьи вскидывается от пощечин и с каждым разом все шире таращит глаза.

Прибежал милиционер, высокий, с подтянутым животом, и хозяин чемодана тотчас же бросился апеллировать к нему. Однако вывалившиеся из чемодана пачки денег, к которым так никто и не прикоснулся, говорили сами за себя, и милиционер быстро сообразил, что за субъект стоит перед ним.

— Ваши документы!

Оказалось, этого типа волной эвакуации занесло откуда-то из-за Днепра, сам он работник банка, и чемодан, конечно же, набит казенными деньгами, чьей-то зарплатой, которую он не забыл прихватить, пустившись наутек в глубокий тыл.

Милиционер, по-видимому, в душе сам был заодно с женщинами, потому что, когда они, подняв шум, снова стали доставать лысого, представитель власти сдерживал их больше для приличия.

Чем эта сцена закончилась, хлопцы могли только догадываться: поезд их вскоре отошел от перрона.

— Не завидую я этому типу,— заметил Духнович, растянувшись на полке.— Не хотел бы я его чемодана...

— Накипь времени, грязная пена,— буркнул Степура, закуривая.— Меня больше те интересуют, что отплясывали в скверике. Может быть, и сейчас еще пляшут, а? Сколько и горя, и силы в этой их пляске...

В тот же день они увидели море. Тут, на окраине города, на огромной территории приморских парков расположился батальон выздоравливающих, «выздоровбат».

Когда студбатовцы регистрировались, среди писарской братии им неожиданно встретился знакомый — Лымарь с геофака.

— О, и вы тут,— уткнув острый подбородок в свои длиннющие списки, сказал он так, будто только их тут и не хватало.— Здесь уже есть один ваш историк...

— Кто? — спросил Степура.

— А этот, высокий... Колосовский. Он сегодня из здешнего шахтерского санатория прибыл...

— Как нам его найти? — обрадованно спросил Степура.

— До вечера, пожалуй, не найдете — тут на весь день разбредаются кто куда.

Через некоторое время Лымарь, освободившись от своих списков, смог, наконец, уделить внимание университетским товарищам. Расположились в тени под деревом, и Духнович, рассматривая испачканные чернилами пальцы Лымаря, бросил насмешливо:

— Штык, значит, приравнял к перу?

— Как видишь.

— А не смог бы ты и мне тут протекцию устроить? Писарем аль хотя бы писарчуком?

Лымарь понял издевку.

— А как у тебя с почерком?

— Как курица лапой,— ответил за Духновича Степура.

— Ну, тогда трудновато будет,— сказал Лымарь, улыбаясь как-то не только губами, а даже и своим остреньким носиком.— Писарем — это, брат, надо уметь.

— Верю, верю... А ты надолго застрял? — допытывался Духнович.

— Это как прикажут. Наше дело солдатское,

— Да, брат, ты настоящим солдатом стал...

Лымарь сорвал листик с дерева, пожевал, выплюнул. Судя по его тону, ирония Духновича его не задела. Он продолжал:

— До сих пор мороз по коже пробегает, как вспомню ту рожь: люди бегают в крови, а сверху свистит, грохает, среди бела дня черно становится — конец света, рев, схватка демонов, безумство стихий! Слышу крик, стон, бегу куда-то, путаюсь во ржи и падаю, и нет стыда — только ужас! — Лымарь рассказывал все это так, будто его собеседники там не были и ничего подобного не испытали. И за словами его стоял животный страх и горькое раскаяние: «Вот твоё добровольчество. Жест! И ведь мог бы жить! А теперь умирай! Мина долбанет в спину и — каюк! Над всеми чувствами, над всеми желаниями — одно: выжить, во что бы то ни стало выжить, вырваться из этого ада пекла! Ординарцем, холуем, только бы в тыл! Судна носить! Нужники чистить!..» — И после госпиталя, как видите, повезло: писарь войска приазовского, — закончил Лымарь.

— Жалеешь, значит, что отсрочку сдал?

— Теперь жалей — не жалей, а может, и не надо было нам спешить...

— А если бы все так думали? — побагровел Степура. — Кто бы воевал?

— Вы, хлопцы, идеалисты. Разве не было у вас в госпитале таких, которые температуру себе нагоняли, бередили раны, только бы выиграть день-два? А я — честно.

— Это, по-твоему, честно? — резко бросил Спартак. — Ты просто раскис.

— Называйте, как хотите. Побыл, кровь пролил, хватит. Пускай другие попробуют. В тылу тоже люди нужны. Кроме того, ходят слухи, студентов скоро вообще будут отзывать с фронта.

— Это почему же? — удивился Степура.

Лымарь с таинственным видом зыркнул туда-сюда:

— Говорят, приказ Сталина вот-вот должен прийти насчет студентов, это я вам по-дружески говорю: отзовут всех нас.

— А тех, не студентов, кто в боях гибнет каждый день? — гневно глянул на Лымаря Степура. — Тех, которые уже полегли? Кто их отзовет?

— И чем мы лучше их? — спросил Духнович. — Интеллектуалы?

Лымарь отмолчался, а у хлопцев пропало всякое желание дальше разговаривать с ним.

Колосовского они разыскали под вечер у моря с какими-то моряками и летчиками, похоже, госпитальными его товарищами: Богдан и пятеро или шестеро его спутников шли вдоль берега и смеялись; один из морячков, жестикулируя, рассказывал, видать, что-то очень смешное. На голове у Богдана из-под сдвинутой набекрень пилотки белела марлевая повязка, но рана, вероятно, его уже не беспокоила, — он от души громко хохотал.

Удивленный и обрадованный Богдан весело здоровался с хлопцами, тряс за плечи Духновича, Степуру, и, кажется, более всего его поразило, что вместе с ними увидел Спартак Павлущенко.

— Мы думали, ты и сейчас воеводишь на Роси, грудь в орденах, — пошутил Духнович, — а ты тут разгуливаешь, как и мы, грешные.

— Чиркнуло малость в тот же день, что и вас, — Богдан небрежно коснулся повязки. — А теперь прохлаждаюсь тут вот с ними, — Колосовский стал знакомить хлопцев со своими новыми друзьями.

Хотя сам Богдан редко бывал веселым, он любил людей озорных, жизнерадостных, удалых, — с такими-то и свела его судьба в госпитале, а потом он перекочевал с этой шумной ватагой сюда, в батальон для выздоравливающих.

Танкисты без танков, моряки без кораблей, пограничники с бывших застав, летчик, который горел в воздухе над морем, — все они, несмотря на трагичность времени, не теряли уверенности в себе, их дух не был сломлен, и это больше всего привлекало в них Колосовского... То были люди высокой пробы, Богдан чувствовал: им можно во всем довериться, дружба с ними крепка и надежна, такие никогда не подведут, такие в самую тяжелую минуту — в бою или даже в неволе — не предадут тебя, не побоятся глянуть смерти прямо в глаза с мужественным презрением. Не искали они укрытий, не искали для себя никаких лазеек в жизни, шагали по земле с открытым сердцем, на виду у всех, держались независимо, гордо, ни о чем не заботясь, ибо все, что нужно, было всегда при них: песня и шутка, и дружба, и отвага.

Такие не скучают нигде, не скучали они и здесь, в выздоровате.

Выздоровбат — это скопище людей на берегу моря, людей, прибывающих сюда еще в повязках, с еще не зажившими ранами, одетых в вылинявшие, со следами крови, гимнастерки, «бывшие в употреблении», «БУ», — и сами они — люди «БУ». Стрелянные. Горевшие. Контуженные. С осколками в теле. С пулями в груди. Люди с примесью железа, стали.

Они ходят тут на перевязки, и помимо этого — никаких обязанностей. Живут, как птицы небесные. В их полном владении парки, беседки, загородные пустыри; по вечерам — наперекор всем смертям — раздаются над морем их песни, а потом всю ночь полная луна льет на них свой призрачный свет, потому что большинство выздоравливающих ночует под открытым небом, в парках.

Утром для укрощения зверского молодого аппетита получают они буханки черствого заплесневелого хлеба да в придачу к нему веселое изречение старшины:

— Плесень — это здоровье. А для моряка — еще и гарантия, что никогда не утонет.

Свободного времени было предостаточно, и пользовался им всяк, как хотел. Степура и Павлущенко, сделав примитивнейшее приспособление, принялись ловить в море бычков; Духнович, хоть сам и не ловил, охотно помогал им в этом почти бесплодном занятии, а Колосовский тем временем с вольницей выздоровбатовской отправлялся на далекие промыслы, за город, где можно день прожить на подножном корму, где перед отощавшими выздоровбатовцами открываются плантации огурцов, моркови, помидоров — красных, мясистых, сочных. Добытые в этих походах дары природы доставляются в лагерь и включаются в общий пай — на пропитание тем, кому раны не позволяют участвовать в столь дальних вылазках.

— Тут нашего брата, в самом деле, как волка, только ноги и кормят, — рассуждал вечером Духнович, грызя на берегу моря морковку, принесенную Богданом. — Вот скоро и мы со Степурой присоединимся к вам, конквистадоры.

— А ведь правду говорит Духнович. Кабы не эта огородная благодать, остались бы от нас одни скелеты, — горестно заключил Степура, налегая на помидоры.

— Когда тело отощает — это еще полбеды, — продолжает Духно-

вич.— Вот Лымарь — тот отощал духом. Это гораздо хуже. Душевная дистрофия — болезнь опаснейшая, друзья мои.

Богдану приятно смотреть, как хлопцы с аппетитом уничтожают овощи, а море шелестит у ног, а неподалеку, в группе выздоровевших тем временем течет тихая беседа о жизни довоенной — тут любят вспоминать довоенное.

— Море, видишь, какое красивое,— слышится чей-то ласковый голос,— но ничего я так не люблю, как смотреть на хлеба, когда они созревают... И в тот выходной решил пойти в поле полюбоваться нивами — в райземотделе я работал,— только вышел на площадь, а из громкоговорителя: «Внимание! Внимание! Слушайте важное правительственное сообщение!» Разное в тот миг промелькнуло в голове — что за сообщение? Война? Но с кем? Мысль прежде всего о войне — потому, видать, что это — самое страшное. А уже через какой-нибудь час весь наш районный актив мчался по селам с секретными пакетами для председателей сельских советов. Приезжаю в один сельсовет — председателя нет. Где? На полевом стане! Мчусь туда. Подаю председателю пакет, вскрыл он его: повестки! Таким-то и таким-то собираться возле здания сельсовета. Молча берут повестки, молча разбегаются по домам. Это молчание почему-то больше всего меня поразило...

— А меня в Севастополе застала,— повествует другой.— Ночью в небе загудели самолеты, в районе порта ударили вдруг зенитки. В огнях прожекторов видим, как один за другим спускаются над бухтой огромные парашюты,— позже мы узнали, пятисоткилограммовые мины сбрасывали немцы в бухту. Две упали на берег, несколько домов взрывом снесло. Курсанты наши выстроились по тревоге, стоят на линейке и не поймут, что такое: огни, парашюты, взрывы. И страшно, и смешно. Только смех наш ненатуральный, нервный какой-то... Чьи самолеты? Турции? Германии? В шесть утра по радио объявляют: были самолеты, один сбит, по обломкам сейчас распознают, какому государству он принадлежал...

Поговорят — и снова молчание.

Море лежит перед ними спокойное, только лунная дорожка, простершись вдаль, тихо трепещет. От берега узенькая, а дальше — широкая, манит куда-то. Те, кому раны позволяют, купаются при луне, и видно, как поблескивают мокрые мускулистые тела, а вдоль берега всюду звучат песни, будто и нет войны, все тут как бы отрицает ее, это тихое море уже одним своим видом протестует против нее: «Я для шепота тополей... я для счастья влюбленных... для рыбацких костров... для мартеновских величественных огней...»

На берегу моря, неподалеку от лагеря выздоравливающих раскинулся металлургический завод. Он работает с пригашенными огнями, замаскированный, но никакой маскировкой не может скрыть своего зарева, как здоровый человек не в состоянии скрыть своего здоровья, своего полыхающего румянца. Зарево чуть-чуть пробивается над цехами, и его видно далеко, порой в районе завода целую ночь хлопают зенитки, и тогда все небо — над морем и над заводом — в тревожном гудении самолетов, в лучах прожекторов. Сейчас ничего этого нет, лишь где-то далеко, за горизонтом, в море, время от времени слышатся глухие непонятные взрывы; возможно, немец опять бомбит теплоходы, которые везут из Одессы эвакуированных. В выздоровевшие есть такие, что чудом спаслись с тех разбомбленных в море теплоходов.

Когда Богдан сидит вот так на берегу моря, а хлопцы заводят разговор об университете, всякий раз перед ним появляется со своей легкой улыбкой Таня. Босая, припорошенная дорожной пылью, такая,

какой он видел ее в последний раз в Чугуеве. Он написал ей уже две открытки, но не уверен, получила ли, — если бы получила, была бы уже здесь, он ее знает. А может, еще приедет, может, еще застанет его перед отправкой на фронт? О, как он хотел бы увидеть ее, хоть на миг встретиться тут, возле моря, среди горячих степей приазовских! Где ты сейчас, хорошая, родная моя? Разве мы с тобой не имеем права на это море, на запахи степи, на шелест парков в эти лунные ночи?

Сердце томилось тоскою, болью разлуки. Может, Таня уже выехала с родными на восток и письма его лежат в университете, не дойдя до нее? Подхваченная вихрем войны, неумолимо отдаляется она от него, а без нее все не то — и дивная южная ночь, и полная луна над морем, тихим, светлым...

Там, где луна, вдруг тревожно забегали прожектора, тянутся своими острыми ножницами к далекому, молчаливому, мертвому светилу. Неужели будет налет? Или просто прощупывают небо?

Товарищи беседуют о том приказе Сталина, согласно которому якобы начнут отзывать студентов, и Богдану в самом деле захотелось вдруг быть отозванным в жизнь иную, где не будет ни свиста авиабомб, ни грохота мин, ни гибели людей — в жизнь с самозабвенным трудом, с любовью, с белым, как мечта, университетом. Но желание это было минутным, он отогнал его от себя прочь, ибо то, что он пережил, что передумал за все эти черные недели войны, указывало ему дорогу в другое товарищество, к людям, которые подчинили себя законам войны. Танкист Вася, и юный летчик Андреев, горевший и не сгоревший в воздухе, и эти моряки, которые разлеглись неподалеку и тихо поют какую-то свою матросскую песню, — разве они ищут для себя облегчений, льгот? Они приготовились к самому тяжелому. Мечтают, конечно, и они, но их мечты особенные: танкист думает о том, чтобы снова сесть в танк, а не оказаться в пехоте, летчик — чтобы поскорее получить самолет и подняться в небо, а сам он, Богдан...

— Не будем мы ждать того приказа, — говорит Колосовский, вмешиваясь в беседу хлопцев. — Если отзывать, то всех, а не избранных. Почему нам такое предпочтение? У нас что, дети? Семьи?

И товарищи согласны с ним. Им только хочется узнать, куда их отсюда направят и когда это произойдет. Не будут же они кочевать по тылам, пока война кончится.

— Может, о нас забыли? — улыбается Духнович, лениво бросая в море камушек за камушком. — Я, собственно, был бы не против...

Но о них не забыли.

Приходит утро — их уже строят.

— Артиллеристы — шаг вперед!

— Танкисты — два шага вперед!

— Саперы! Повара! Химики! Топографы...

По всему лагерю их собирают, сортируют, а потом писаря целыми днями заносят имена в бесконечные списки, в многочисленные, линейками разбитые графы. И чем скорее заживают, присыхают на выздоравливающих раны, тем чаще интересуются ими...

Стали появляться вербовщики из училищ, по случаю их приезда выздоравливающих опять выстраивают, снова звучит на плацу:

— Желающие! Шаг вперед!

Когда объявили о наборе в бронетанковое, Спартак Павлуценко сразу согласился, попробовал было уговорить и хлопцев. Степура и Колосовский наотрез отказались: как начинали пехотинцами, так и останутся ими. Духнович поначалу вроде заколебался:

— Вологда? Владимир? Это заманчиво!

Но потом отказался и он:

— Училище выпускает командиров. Сиречь, если останусь жи-

вой, всю жизнь тянуть ляжку в армии? «Козырять» до конца своих дней? Нет, это, други, не для меня...

— У тебя искаженное представление о жизни командиров,— заметил ему Спартак,— в наше время быть командиром...

— Нет, я рожден быть рядовым,— прервал его Духнович.— И хоть нашему брату, рядовому, достается на фронте, пожалуй, больше всех, зато после войны — разумеется, если к тому времени уцелеешь как мыслящая материя — будешь вольной птицей. Снова перед тобой университет, и Николай Ювенальевич будет показывать тебе с кафедры какие-то допотопные разбитые горшки: «Ам-фо-ры! Золотая пыль веков!»

Подражая профессору, Духнович так торжественно, нараспев произносит это «амфоры!», что ребята не могут удержаться от смеха.

В день отъезда Павлуценка они пошли провожать его на вокзал. — Поверьте, друзья, иду в бронетанковое не потому, что, как Лымарь, передовой испугался,— горячо говорил Павлуценко у вагона.— Война надолго, и кадры командиров будут необходимы.

— Маршалом хочешь войну закончить? — съехидничал Духнович.

— Дело не в этом,— спокойно возразил Павлуценко.— Слава? Ордена? Да, я этого хотел. А вы разве — нет? Рось отрезвила нас. Я увидел, что война — это не ордена, это горе народное, бедствие самое великое, какое только можно себе представить... И еще понял, что для победы одного желания мало, это я очень хорошо понял теперь. В броню хочу заковаться и пойти на них во всеоружии, а не как там, на Роси... На танках своих в Германию ворваться,— вот чего я хочу!

Богдан понимал Спартака, понимал его настроение. В последнее время они сблизились, и то, что их раньше разделяло, теперь обоим казалось мелкими распрями, через которые им давно нужно было перешагнуть, подать друг другу руку с таким же доверием, как вот здесь, при прощании у вагона.

— Скажи, Богдан,— обращаясь к Колосовскому, промолвил Спартак, и в голосе его прозвучала какая-то неожиданная теплота: — За что твой отец был репрессирован?

Этого вопроса Богдан сейчас никак не ожидал.

— Думаю, за усы,— ответил хмурой шуткой.

— За усы? — Павлуценко, видно, не понял шутки.

— Мой отец любил носить усы, длинные они были у него, черные, приметные. Как-то, помню, мальчишкой тогда был, один из товарищей отца сказал шутя за столом: «Ох, Дмитро, отпустил ты усы запорожские, дадут когда-нибудь тебе по усам»... Так оно и вышло.

— Ну, а кроме усов?

— За связи,— нахмурился Богдан.— Отец еще с гражданской дружил с Якиром, с Федько, с Блюхером... Вместе воевали...

— За то, что человек в дружбе был... Ну, я, скажем, за это не судил бы,— задумчиво молвил Спартак.— Без дружбы, думаю, отцы наши и революции не совершили бы... И нам дружба нужна...

Прозвучала команда, и Спартак торопливо бросился к вагону.

— Ну, бывайте, хлопцы!

— Будь здоров, друг...

Вместе с бойцами, отобранными в бронетанковое училище, Павлуценко вскоре был в вагоне. Его приземистая, коренастая фигура исчезла, скрылась среди других, и только видно, как он старается поглядеть еще раз на хлопцев через чье-то плечо. Было в этом его стремлении нечто такое, что растрогало Богдана.

— Прощай друг,— крикнул он Спартаку, и ему стало жаль рас-

ставаться с ним. Где и когда они встретятся теперь? На поле боя? В госпитале? А может, и вовсе не встретятся?

Едва тронулся эшелон, как вслед за ним в том же направлении, на восток, двинулся другой: длиннющий товарняк, забитый заводским оборудованием.

— Говорят, авиазавод какой-то, — услышали ребята от пожилого железнодорожника возле ларька, где они остановились выпить газировки.

Эшелон охраняли расставленные на вагонах зенитные пулеметы, все на нем было старательно уложено, укрыто брезентами.

Колосовский не отрывал от эшелона глаз. Тот помчался на восток с будущими курсантами военных училищ, этот — со станками, с моторами — на новые места, где он снова станет заводом. В движении эшелонов и даже в этих брезентах, зенитных установках — во всем чувствовалась властная направляющая рука.

— Целые заводы перебазировуются на восток, — сказал Богдан хлопцам, которые тоже внимательно следили за набравшим скорость эшелоном. — Конечно, оборудование это покамест мертвое, но ведь оно оживет. И как хорошо, что у нас есть сейчас, в самое критическое время, эта крепкая рука, которая все направляет, планирует, готовит в глубоком тылу могучие арсеналы. Иногда, проснувшись ночью, почти наяву вижу, как идут уже на фронты эшелоны нового вооружения, тыл возвращает сторицей то, что грохочет сейчас на восток, и фронты наливаются силой, и мы уже гоним врага назад, гоним быстрее, чем он сейчас наступает...

— Часто и я думаю об этом, — признался Степура.

Со станции студбатовцы вернулись уже под вечер. Еще издали увидели между деревьями парка гору арбузов. Подошли ближе — оказывается, нет, не арбузы мелитопольские — каски зеленой горой лежат на опушке, молчаливо ждут буйных головушек. Всюду суета, гомон, бойцы примеряют только что выданные им железные шапки, с озабоченным видом получают винтовки и патроны.

Кроме выздоровбатовцев, здесь вооружаются и недавно мобилизованные, которых накануне доставили сюда парходом; людям сугубо гражданским, все им в диковинку, вызывает у одного печаль в глазах, у другого — искреннее любопытство.

— Если пуля с желтеньким кончиком, — допытывался молоденький новобранец у своего сержанта, — это какие?

— Да я ж объяснял: трассирующие!

А другой, держа в руке обойму, приставал со своим:

— А эта — с черным и красным поясточком?

— Бронебойные! Зажигательные! — односложно отвечал занятый раздачей оружия сержант. — Постреляете, сами разберетесь!

Теплое предвечерье окутывало приморские парки. Где-то над самым морем взвилась песня, молодой красивый голос вел ее легко, задумчиво, и к нему постепенно стал прислушиваться весь выздоровбатовский вавилон.

Із-за гори світ біленький,
Десь поїхав мій миленький...

Бойцы стояли под деревьями, сидели на лавках, на земле, среди нового своего оружия, и слушали бесхитростную эту песенку, как бы прощаясь с нею.

Пожилой красноармеец, видимо из запасников, в очках, похожий на бухгалтеря, сидя среди солдат и прислушиваясь к песне, задумчиво вертел и вертел в руках только что полученную гранату-лимонку. То ли она в самом деле интересовала его своим устройством и формой,

как может заинтересовать человека яблоко неизвестного ему сорта, то ли, прислушиваясь к песне, он крутил лимонку механически... Крутил до тех пор, пока не случилось ужасное: выдернулась чека, и бойцы, сидевшие рядом, услышав негромкий щелчок, враз шарахнулись от него:

— Бросай! Бросай! — закричали ему.

Судорожно стиснув гранату, красноармеец оторопело глянул по сторонам, ища, куда бы бросить, а бросать было некуда — всюду люди... «Что мне делать? Куда кинуть? Ведь кругом вы?» Растерянный взгляд его повсюду наталкивался на лица таких же, как он сам... Он вдруг сорвал с головы каску, накрыл ею гранату и навалился на нее грудью...

...Когда развеялся дым, едкий, вонючий, на искромсанной, сразу пропахшей гарью земле валялись лишь клочья — все, что осталось от запасника.

— Доигрался дядька, — вздохнул кто-то в толпе.

— Его же предупреждали! — сердито отозвался другой.

— Чеку невзначай выдернул, вот и все...

— Мог бы кинуть в сторону, но видишь, пожалел товарищей...

Вскоре санитары убрали останки, молча и торопливо, а там, возле моря, где ничего не знали о том, что случилось здесь, все плыла в предвечерье песня — та самая песня об отъезде милого в далекие края...

Это была последняя песня, которую хлопцы слышали в выздоровевшем лагере. Ночью их погрузили в эшелон, море и парки остались позади, и только луна, высокая, недостижимая, провожала их в ночные степные просторы.

*Авторизованный перевод с украинского
М. Алексеева и А. Карабутенко*

(Окончание следует)



Эрнест Хемингуэй

ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

РОМАН

Глава десятая

Они шли по правой стороне улицы, которая вела к «Гритти». Ветер дул в спину и трепал волосы девушки. Ветер разделил их на затылке, и пряди волос улетали вперед, прилипая к щекам. Они шли, заглядывая по дороге в витрины; девушка задержалась у освещенного окна ювелирного магазина.

Там было много старинных драгоценностей; они стали их разглядывать и показывать друг другу самые лучшие; для этого им пришлось разнять руки.

— Может, тебе что-нибудь тут хочется? Я могу утром купить. Чиприани даст мне денег взаймы.

— Нет,— сказала она,— мне ничего не хочется, ты ведь все равно никогда мне не даришь подарков.

— Ты гораздо богаче меня. Я привожу тебе из армейского магазина всякие мелочи и плачу в ресторанах.

— И катаешь меня в гондоле, и возишь в разные красивые места за город.

— Вот не думал, что тебе хочется получить в подарок камушки!

— Не потому, что это камушки. А потому, что это подарок, и на них можно смотреть, о них можно думать, когда их носишь.

— Для меня это новость,— сказал полковник.— Но разве я смог бы купить тебе на армейское жалованье что-нибудь вроде твоих квадратных изумрудов?

— Ах, ты не понимаешь! Они же мне достались по наследству. Их мне завещала бабка, а она получила их от своей матери, а та получила их от своей матери. Думаешь, приятно носить камни, которые достались тебе от мертвецов?

— Никогда об этом не думал.

Продолжение. Начало — в № 7.

— Хочешь, я тебе их дам, если ты любишь камни? Для меня они просто наряд, вроде парижского платья. Ты-то любишь носить парадный мундир?

— Нет.

— И саблю носить не любишь?

— Да нет же, говорю тебе, нет!

— Значит, ты не настоящий военный, а я — не настоящая девушка. Но подари мне что-нибудь надолго, чтобы я могла это носить и радоваться каждый раз, когда надену.

— Хорошо, — сказал полковник. — Подарю.

— Видишь, какой ты сообразительный, — сказала девушка. — И как хорошо, что ты решаешь сразу. Пожалуйста, возьми мои изумруды, ты можешь носить их в кармане как талисман и трогать их каждый раз, когда соскучишься.

— На службе я редко держу руки в карманах. Я либо верчу в руках стек, либо показываю что-нибудь карандашом.

— Но ты можешь сунуть руку в карман хотя бы изредка и там их потрогать?

— Мне не скучно, когда я работаю. Так приходится голову ломать, что тут уж не до скуки.

— Но ты же теперь не работаешь.

— Да. Только делаю все, чтобы меня поскорее списали в расход.

— Я все равно тебе их отдам. Мама поймет, я уверена. Да мне и не надо ей сразу об этом рассказывать. Она никогда не проверяет, целы ли мои вещи. А горничная ей не скажет.

— Нет, пожалуй, я их все-таки не возьму.

— Нет возьмешь, я тебя прошу.

— Я не уверен, что это порядочно.

— Это все равно, что я бы сказала: я не уверена, что я — девушка! Все, что доставляет удовольствие тому, кого любишь, — всегда порядочно.

— Ладно, — сказал полковник. — Возьму, и будь что будет.

— Ну, а теперь скажи «спасибо», — сказала девушка и так ловко сунула ему в карман изумруды, что ей позавидовал бы любой карманник. — Я взяла их с собой потому, что давно это придумала и собиралась сделать всю неделю.

— А говоришь, что думала о моей руке.

— Не придирайся, Ричард. Тебе-то стыдно быть таким глупым! Ведь ты же трогаешь их рукой. Неужели ты сразу не догадался?

— Нет, не догадался. Ты права, я глупый. А что бы тебе хотелось из того, что выставлено тут в витрине?

— Вон того негритенка с головой из черного дерева и тюрбаном из мелких алмазов с маленьким рубином посередине. Я бы носила его вместо брошки. В старину все женщины у нас носили такие фигурки: им придавали сходство с любимым арапчонком. Я очень давно о нем мечтаю и хотела, чтобы мне подарил его ты.

— Я пришлю тебе его утром.

— Нет. Подари мне его за обедом, перед отъездом.

— Ладно.

— Ну, а теперь нам пора идти, не то мы опоздаем к ужину.

Они пошли дальше рука об руку, и, когда поднимались на первый мост, в лицо им яростно ударил ветер.

Почувствовав боль, полковник подумал: ну и черт с тобой!

— Ричард, — попросила его девушка, — будь добр, положи руку в карман и потрогай их.

Полковник послушался.

— Знаешь, а они очень приятные на ощупь! — сказал он.

Глава одиннадцатая

Они вошли через главный подъезд в светлый, теплый холл гостиницы «Гритти-Палас», оставив за собой ветер и непогоду.

— Добрый вечер, графиня. Добрый вечер, полковник! Сегодня, кажется, очень холодно? — сказал портье.

— Да, — ответил полковник и не сдобрил ответа грубоватой шуткой насчет того, как именно холодно или с какой силой дует ветер, что обычно доставляло им такое удовольствие, когда они бывали одни.

Они вошли в коридор, который вел к главной лестнице и лифту, справа находились вход в бар, выход на Большой Канал и дверь в ресторан; из бара вышел Gran Maestro.

На нем был белый смокинг; он улыбнулся и поздоровался с ними.

— Добрый вечер, графиня. Добрый вечер, полковник.

— Здравствуйте, Gran Maestro, — ответил полковник.

Gran Maestro улыбнулся и, еще раз поклонившись, сказал:

— У нас ужинают в баре, в самом конце. Зимой тут почти никого не бывает, и ресторан слишком велик. Я оставил вам столик. Если хотите, на закуску можно подать хорошего омара.

— А он свежий?

— Я видел его утром, когда его принесли в корзинке с базара. Он был еще живой, темно-зеленый и смотрел на меня очень недружелюбно.

— Хочешь на закуску омара, дочка?

Полковник поймал себя на том, что назвал ее дочкой. Это заметили и Gran Maestro и сама девушка. Но для каждого из них слово это прозвучало по-разному.

— Я решил придержать его для вас, на случай если придут pescatori. Они сейчас играют на Лидо. Не думайте, что я хочу его вам сбить.

— С удовольствием съем омара, — сказала девушка. — Холодного, с майонезом. Майонез, пожалуйста, поострее. — Она сказала это по-итальянски. — А омар — это не очень дорого? — озабоченно спросила она полковника.

— Ay, hija mia! ¹

— Потрогай, что у тебя в правом кармане? — сказала она.

— Я позабочусь, чтобы он не стоил слишком дорого, — сказал Gran Maestro. — А могу и сам за него заплатить. Недельного жалованья хватит с избытком.

— Нет, он уже продан тресту, — сказал полковник, — слово «трест» обозначало в военном коде войска, оккупирующие Триест. — Мне на это хватит дневного жалованья.

— Сунь руку в правый карман, и ты почувствуешь, какой ты богатый, — сказала девушка.

Gran Maestro сразу понял, что эта шутка не предназначена для чужих ушей, и молча удалился. Он радовался за девушку, которую уважал, и радовался за своего полковника.

— Я очень богатый, — сказал полковник, — но если ты будешь меня ими дразнить, я их тебе отдам тут же, на глазах у всех, возьму и положу прямо на скатерть.

Теперь он дразнил ее сам, опрометью кинувшись в контратаку.

— Нет, не отдашь, — сказала она. — Ты уже их полюбил.

— Мало ли что! Я могу кинуть все, что люблю, с самого высокого утеса, какой только есть на свете, и уйду, даже не обернувшись!

— Нет, не можешь, — сказала девушка. — Ты меня не кинешь с высокого утеса.

¹ Ах, дочка! (исп.).

— Не кину,— признался полковник.— И прости мне эти злые слова.

— Слова были не такие уж злые, да и потом я тебе не поверила,— сказала девушка.— Ты мне лучше скажи, куда мне пойти приче- саться — в дамскую комнату или к тебе?

— Куда хочешь.

— Конечно, к тебе, я хочу посмотреть, как ты живешь и как там все устроено.

— А что скажут в отеле?

— В Венеции и так все всё знают. Но они знают, что я из хорошей семьи и девушка порядочная. И что ты — это ты, а я — это я. Мы у них еще пользуемся доверием.

— Ладно,— сказал полковник.— Пешком или на лифте?

— На лифте,— ответила она, и он заметил, что голос у нее не дрогнул.— Позови лифтера, а если хочешь, давай поедем сами.

— Поедем сами,— сказал полковник.— Я давно научился управ- лять лифтом.

Поездка прошла благополучно, если не считать небольшого толчка вначале и того, что лифт чуть-чуть не дотянул до площадки; полковник подумал: ничего себе, научился! Лучше подучись еще!

Коридор казался ему сейчас не только красивым, но и каким-то таинственным, а ключ он поворачивал в замке так, словно совершал обряд.

— Ну вот,— сказал полковник, распахивая дверь.— Вот и все, что я могу тебе предложить.

— Очень мило,— сказала девушка.— Но ужасно холодно — у тебя открыты окна.

— Сейчас закрою.

— Не надо. Пусть будут открыты, если тебе так лучше.

Полковник поцеловал ее и всем телом почувствовал ее длинное, молодое, гибкое, крепко сбитое тело; сам он был еще сильный и мускулистый, но его здорово покалечило; целуя ее, он ни о чем не думал.

Поцелуй был долгий; они стояли, прижавшись друг к другу, а из открытых окон, выходявших на Большой Канал, тянуло холодом.

— Ох! — вздохнула она. А потом снова: — Ох!

— Не охай. На что тебе жаловаться? — сказал полковник.— Не на что!

— Ты на мне женишься, и мы родим пятерых сыновей?

— Да! Да!

— Но ты этого хочешь?

— Конечно, хочу.

— Поцелуй меня еще раз, чтобы пуговицы на твоей куртке сде- лали мне больно. Только не очень больно.

Так они стояли и целовались.

— Ричард, знаешь, я должна тебя огорчить... — сказала она. Она сказала это просто, напрямик.

— Обидно.

— Да.

— Ну, что поделаешь, доченька!

Теперь в этом слове больше не было другого, тайного смысла — она и в самом деле была ему дочкой, он нежно любил ее и жалел.

— Ничего,— сказал он.— Ничего. Причешись, намажь губы и все такое прочее, а потом пойдем и хорошенько поужинаем.

— Нет, сначала повтори, что ты меня любишь, и прижми ко мне покрепче свои пуговицы.

— Я люблю вас,— церемонно сказал ей полковник.

А потом он прошептал ей на ухо так тихо, как он, бывало, шептал, когда до врага оставалось всего семь шагов, а сам он был молоденьким лейтенантом в патруле.

— Я люблю тебя, моя единственная, моя самая лучшая, самая последняя и настоящая любовь.

— Хорошо,— сказала она и поцеловала его так крепко, что он почувствовал приторно-соленый вкус крови на десне.

Да, хорошо! — подумал он.

— Ну, а теперь я причешусь, намажу губы, а ты на меня смотри.

— Хочешь, я закрою окна?

— Нет. Мы можем побыть с тобой и на холоде.

— Кого ты любишь?

— Тебя,— сказала она.— А ведь нам с тобой не очень-то везет?

— Не знаю,— сказал полковник.— Ладно, причесывайся!

Полковник пошел в ванную, чтобы умыться перед ужином. Ванная была единственным неудобством его номера. «Гритти» был когда-то дворцом, а в ту пору, когда его строили, особых мест для ванн не отводили, их пристроили потом в конце коридора, и если ты хотел помыться, надо было предупреждать заранее,— тогда грели воду и вешали чистые полотенца.

Его ванная была выгорожена из угла какой-то комнаты и казалась полковнику скорее оборонительной, чем наступательной позицией. Умываясь, он заглянул в зеркало, чтобы проверить, не выпачкан ли он губной помадой, и увидел там свое лицо.

У этого лица такой вид, будто его высек из дерева бездарный ремесленник,— подумал он.

Он стал рассматривать рубцы и шрамы, оставшиеся еще с тех времен, когда не умели делать пластических операций, и незаметные для постороннего глаза следы отличных пластических операций после ранения в голову.

Ну что же, вот и все, что я могу вам предложить в качестве «gueule»¹ или «faade»²,— думал он.— Жалкий подарок. Одно утешение — загар, он прячет мое безобразие. Но, боже ты мой, какой урод!

Он не замечал, что глаза у него серые, как старый боевой клинок, от уголков глаз сбегают тоненькие морщинки — следы улыбок, а сломанный нос — как у гладиатора на какой-нибудь древней скульптуре. Не замечал он и доброго от природы рта, который умел порою быть беспощадным.

Ах, будь ты проклят,— сказал он себе в зеркало.— Злосчастный ты калека. Ну что ж, вернемся к нашим дамам.

Он вошел в комнату и сразу стал молодым, как во времена своей первой атаки. Все, что у него было никудышного, осталось там, в ванной. Правильно,— подумал он.— Там ему и место.

Où sont les neiges d'antan? Où sont les neiges d'autrefois? Dans le pissoir toute la chose comme ça³.

Девушка, которую звали Ренатой, распахнула дверцы высокого гардероба. Внутри были вставлены зеркала, и она расчесывала волосы.

Расчесывала она их не из кокетства и не для того, чтобы понравиться полковнику, хотя и знала, как это ему нравится. Она расчесывала их с трудом и без всякой жалости, а так как волосы были густые и непокорные, словно у крестьянок или великосветских красавиц, гребенке трудно было с ними справиться.

¹ Рожа (франц.).

² Фасад (франц.).

³ Где же вы, снега прошлых дней? Где же вы, снега былого? Все это в писуаре. (Первая фраза из стихотворения Франсуа Вийона).

- Ветер их ужасно спутал,— сказала она.— Ты меня еще любишь?
- Да. Можно я тебе помогу?
- Нет. Я всегда причесываюсь сама.
- Ты могла бы повернуться в профиль.
- Нет. Это все — для наших пятерых сыновей и для того, чтобы тебе было куда положить голову.
- Я думал только о лице,— сказал полковник.— Но спасибо, что ты напомнила. Какой я стал рассеянный!
- А я, наверно, слишком смелая.
- Нет,— сказал полковник.— В Америке эти штуки делают из проволоки и губчатой резины, как сиденья танков. И никогда не узнаешь, где свое, а где чужое, если только ты не такой нахал, как я.
- У нас не так,— сказала она и гребнем перекинула уже разделенные пробором волосы — прикрыв ей щеку, они спустились на шею и плечо.— Ты любишь, когда они гладко причесаны?
- Ну, не такие уж они гладкие, но зато дьявольски красивые.
- Я могла бы поднять их вверх, если тебе нравится гладкая прическа. Но я всегда теряю шпильки, и возиться с ними ужасно глупо!
- Голос был такой красивый и так напоминал ему виолончель Пабло Казальса, что внутри у него невыносимо ныло, как от раны. Но вынести можно все,— подумал он.
- Я тебя люблю такой, какая ты есть,— сказал полковник.— Ты — самая красивая женщина, каких я знал или видел — даже на картинах старых мастеров.
- Не понимаю, почему они до сих пор не прислали портрета.
- За портрет большое спасибо,— сказал полковник и вдруг добавил совсем по-генеральски: — Но это все равно, что шкура с дохлого коня.
- Пожалуйста, не будь таким грубым. Сегодня мне не хочется, чтобы ты был грубый.
- Я нечаянно вспомнил язык моего *sale métier*¹.
- Не надо,— сказала девушка.— Пожалуйста, обними меня. Нежно, но покрепче. Пожалуйста. И ремесло твое совсем не грязное. Это самое древнее и самое лучшее ремесло, хотя большинство тех, кто им занимается,— ничтожные люди.
- Он прижал ее к себе изо всех сил, стараясь не причинить ей боли, и она сказала:
- Я бы не хотела, чтобы ты был адвокатом или священником. Или чем-нибудь торговал. Или чем-нибудь прославился. Мне нравится, что ты занимаешься твоим ремеслом, и я тебя люблю. Если хочешь, можешь мне шепнуть на ухо что-нибудь хорошее.
- Полковник зашептал, крепко прижав ее к себе, и в этом прерывистом шепоте, который едва можно было расслышать, как тихий по-свист собаке возле самого ее уха, звучала безысходность.
- Я люблю тебя, ты, проклятая! Но ты ведь мне и дочка тоже. И что мне все наши потери, если нам светит луна, наша мать и отец наш? Ну, а теперь пойдем ужинать!
- Он прошептал ей это так тихо, что тот, кто не любит, никогда бы не услышал.
- Хорошо,— сказала девушка.— Хорошо. Но сначала поцелуй.

¹ Грязного ремесла (франц.).

Глава двенадцатая

Они сидели за столиком в самой глубине бара, где у полковника были прикрыты оба фланга, а угол зала надежно защищал тылы. Gran Maestro это понимал, недаром он когда-то был превосходным сержантом в хорошей роте отборного пехотного полка; он не стал бы сажать своего полковника посреди зала, как сам никогда бы не занял невыгодную оборонительную позицию.

— Омар,— объявил Gran Maestro.

Омар был внушительный. Он был вдвое больше обычного омара, а его недружелюбие выварилось в кипятке, и теперь со своими выпученными глазами и длинными, чуткими щупальцами, которые рассказывали ему о том, чего не видели глупые глаза, он был похож на памятник самому себе.

Омар немножко напоминает Джорджи Паттона¹,— подумал полковник.— Но омар-то небось не плакал, когда бывал растроган.

— Как ты думаешь, он не жестковат? — спросил полковник девушку по-итальянски.

— Нет,— заверил их Gran Maestro, застывший в поклоне с омаром в руках.— Он совсем не жесткий. Он просто крупный, вот и все. Вы же знаете, какие они бывают.

— Ладно,— сказал полковник.— Давайте его сюда.

— А что вы будете пить?

— Ты что хочешь, дочка?

— А ты?

— Carpi Bianco,— сказал полковник.— Сухое. И заморозьте его как следует.

— Уже готово,— сказал Gran Maestro.

— Как нам весело,— сказала девушка.— Видишь, нам опять весело и ничуть не грустно. А омар очень внушительный, правда?

— Очень,— сказал полковник.— Но пусть этот черт только попробует быть жестким!

— Он не будет жестким,— сказала девушка.— Gran Maestro не лжет. Как хорошо, что есть люди, которые не лгут!

— Замечательно, но они встречаются очень редко,— сказал полковник.— Я как раз думал о человеке по имени Джорджи Паттон, который, вероятно, ни разу в жизни не сказал правды.

— А ты когда-нибудь говоришь неправду?

— Я врал четыре раза в жизни. Всякий раз — когда уставал до смерти. Но и это не оправдание,— добавил он.

— Я очень много врал, когда была маленькая. Хотя чаще выдумывала всякие истории. Фантазировала. Я никогда не врала с корыстной целью. Этим я себя утешаю.

— А я врал,— сказал полковник.— Четыре раза.

— А ты бы стал генералом, если бы не врал?

— Если бы я врал, как другие, у меня было бы уже три генеральских звезды.

— А ты был бы счастливее, если бы у тебя было три звезды?

— Нет,— сказал полковник.— Ничуть.

— Положи в карман свою правую, ту самую руку и скажи, что ты чувствуешь.

Полковник послушался.

¹ Паттон Джордж — американский генерал (1885—1945).

— Здорово! — сказал он. — Но, знаешь, я должен буду их тебе вернуть.

— Пожалуйста, не надо.

— Ладно, давай сейчас этого не обсуждать.

Тут подали разделанного омара.

Он был нежный, с какой-то особенной, тающей прелестью двигательных мышц, то есть хвоста, да и клешни были превосходные — не слишком тощие, но и не слишком мясистые.

— Омар отъедается в полнолуние, — сказал полковник. — Когда луны нет, его не стоит и заказывать.

— Я этого не знала.

— Это, наверно, потому, что в полнолуние он может есть всю ночь. Или в полнолуние пища больше.

— Их, кажется, привозят с берегов Далмации?

— Да, — подтвердил полковник. — Это у вас тут самые рыбные места. Пожалуй, я мог бы сказать — у нас.

— Вот и скажи, — сказала девушка. — Ты и представить себе не можешь, как иногда важно что-то высказать.

— Да, но куда важнее написать это на бумаге.

— Нет, — сказала девушка. — Неправда. Разве бумага поможет, если слова не идут от сердца?

— А что, если у тебя нет сердца или сердце твое подлое?

— У тебя есть сердце, и оно совсем не подлое.

Эх, с каким удовольствием я променял бы его на новое, — подумал полковник. — И зачем только из всех моих мышц сдает именно эта? — Но вслух полковник ничего не сказал и сунул руку в карман.

— На ощупь они чудные, — сказал он. — И ты у меня просто чудо.

— Спасибо, — сказала она. — Я буду вспоминать это всю неделю.

— Тебе достаточно взглянуть в зеркало.

— Терпеть не могу смотреться в зеркало, — сказала она. — Красить губы и облизывать их, чтобы помада легла ровнее, расчесывать такую копну волос — разве это жизнь для женщины или для влюбленной девушки? Не так уж весело смотреться в зеркало и тратить время на женские уловки, когда тебе хочется быть луной и самыми разными звездами и жить со своим мужем и родить ему пятерых сыновей!

— Тогда давай поженимся.

— Нет, — сказала она. — Мне пришлось принять на этот счет решение. Как и насчет всего остального. У меня ведь целая неделя, чтобы принимать решения.

— Я тоже принимаю решения, — сказал полковник. — Но твое решение меня просто убивает.

— Давай тогда не будем о нем говорить. А то и у меня вот здесь немножко ноет. Давай лучше узнаем, что еще нам подаст Gian Maestro. Пожалуйста, пей вино. Ты его даже не попробовал.

— Сейчас попробую, — сказал полковник.

Он выпил глоток, вино было холодное и прозрачное, как вина Греции, но не терпкое, а запах был таким же свежим и ароматным, как у Ренаты.

— Оно похоже на тебя.

— Да. Знаю. Поэтому я и хотела, чтобы ты его попробовал.

— Я пью, — сказал полковник. — И выпью весь бокал.

— Ты хороший.

— Спасибо, — сказал полковник. — Я это буду вспоминать всю неделю и постараюсь быть хорошим. — Потом он позвал Gian Maestro.

Gran Maestro подошел к ним с видом заговорщика, совсем позабыв о своей язве.

— Что вы предложите нам еще? — спросил полковник.

— Надо подумать, — сказал Gran Maestro. — Сейчас узнаю. Ваш земляк сел тут рядом, ему все слышно. Он отказался сесть в дальний угол.

— Ладно, — сказал полковник, — мы уж позаботимся, чтобы ему было о чем писать.

— Знаете, он ведь пишет каждую ночь! Мне рассказывал мой товарищ из той гостиницы.

— Отлично, — сказал полковник. — Это показывает, что он человек прилежный, даже если он уже исписался.

— Все мы люди прилежные, — сказал Gran Maestro.

— Кто в чем.

— Пойду выясню, что у нас сегодня из мясного.

— Выясните как следует.

— Я человек прилежный.

— И к тому же чертовски рассудительный.

Когда Gran Maestro отошел, девушка сказала:

— Он прекрасный человек, я рада, что он тебя любит.

— Мы с ним друзья, — сказал полковник. — Надеюсь, у него найдется для тебя хороший бифштекс.

— Есть один отличный бифштекс, — сообщил, возвратившись, Gran Maestro.

— Возьми его, дочка. Меня все время кормят бифштексами в офицерской столовой. Хочешь с кровью?

— Да, пожалуйста, с кровью.

— Al sangue¹, — заявил полковник. — Как говорил Джон, объясняясь с официантом по-французски, — crudo², bleu³, а проще говоря — с кровью.

— Значит, с кровью, — повторил Gran Maestro. — А вам, полковник?

— Эскалоп в сладком винном соусе и цветную капусту в масле. Если найдется, дайте еще артишок с уксусом. Тебе что к мясу, дочка?

— Картофельное пюре и салат.

— Не забывай, что ты еще растешь.

— Да, но я не хочу расти слишком или не там, где надо.

— Тогда все, — сказал полковник. — Как насчет fiasco⁴ вальполичеллы?

— Мы не держим вина в fiasco. У нас ведь первоклассная гостиница. Вино мы получаем в бутылках.

— Совсем забыл, — сказал полковник. — А помните, оно стоило тридцать центезими за литр?

— А помните, как на станциях мы швыряли из эшелонов пустыми бутылками в жандармов?

— А возвращаясь с Граппы, побросали под гору оставшиеся гранаты?

— И те, кто видел взрывы, решили, что австрийцы прорвали фронт, и как вы перестали бриться, и мы носили fiamme nere⁵ на серых тужурках, а под тужуркой — серый свитер?

— И как я напивался до того, что даже вкуса вина не различал? Ну и бедовые же мы были ребята, — сказал полковник.

¹ С кровью (итал.).

² Сырой (итал.).

³ Синий (франц.).

⁴ Двухлитровая бутылка (итал.).

⁵ Черные нашивки в виде языков пламени (итал.).

— Еще какие бедовые, — сказал Gran Maestro. — Просто голово-
резы, а вы были из нас — самый отпетый!

— Да, — сказал полковник. — Это верно, мы были голово-
резы. Ты уж нас прости, дочка, ладно?

— А у тебя не осталось фотографии тех лет?

— Нет. Мы тогда не снимались, кроме того раза, с господином
д'Аннуцио. К тому же большинство из нас плохо кончили.

— Кроме нас двоих, — сказал Gran Maestro. — Ладно, пойду при-
смотрю за бифштексом.

Полковник задумался — теперь он снова был младшим лейте-
нантом и ехал на грузовике, весь в пыли, на лице его были видны
только стальные глаза, веки были красные, воспаленные.

Три ключевые позиции, — вспоминал он. — Массив Граппы с Ас-
салоне и Пертикой и высотой справа, названия которой не помню.
Вот где я повзрослел, каждую ночь просыпался в холодном поту —
мне все снилось, будто я не смогу заставить своих солдат вылезть из
машин. И зря они вылезли, как потом оказалось. Ну и ремесло!

— В нашей армии, — сказал он девушке, — ни один генерал в
сущности никогда не воевал. Для них это занятие непривычное, по-
этому наверху у нас не любят тех, кто воевал.

— А генералы вообще воюют?

— Ну да, пока они еще капитаны или лейтенанты. Потом это
выглядело бы просто глупо. Разве что отступаешь, тогда волей-нево-
лей приходится драться.

— А тебе много пришлось воевать? Я знаю, что много. Но ты
расскажи.

— Достаточно, чтобы наши мудрецы причислили меня к разряду
дураков.

— Расскажи.

— Когда я был мальчишкой, я дрался против Эрвина Роммеля¹
на полпути между Куртиной и Граппой, которую мы тогда удержи-
вали. Он был еще капитаном, а я исполнял обязанности капитана,
хоть и числился всего младшим лейтенантом.

— Ты его знал?

— Нет. Я познакомился с ним только после войны, когда нам
можно было поговорить. Он оказался человеком приятным, мне он
понравился. Мы вместе ходили на лыжах.

— А ты много знал немцев, которые тебе нравились?

— Очень много. Больше всех мне нравился Эрнст Удет².

— Но ведь они так подло поступали!

— Конечно. А разве мы всегда поступали благородно?

— Я не могу относиться к ним так терпимо, как ты, — ведь это
они убили моего отца и сожгли нашу виллу на Бренте! Мне они
никогда не нравились. Особенно с того дня, как немецкий офицер
у меня на глазах стрелял из дробовика по голубям на площади Свя-
того Марка.

— Я тебя понимаю, — сказал полковник. — Но, пожалуйста,
дочка, пойми и ты меня. Когда убьешь так много врагов, можно по-
зволить себе быть снисходительнее.

— А сколько ты убил?

— Сто двадцать два верных. Не считая сомнительных.

— И совесть тебя не мучит?

— Никогда.

— И дурные сны не снятся?

¹ Роммель Эрвин — немецкий фельдмаршал (1891—1944).

² Удет Эрнст — немецкий летчик.

— Нет, дурные не снятся. Странные снятся все время. После боя я всегда дерусь во сне. Чаще всего вижу какую-нибудь местность. Ведь для нашего брата главное — какой попадетя рельеф. Вот об этом и думаешь во сне.

— А меня ты никогда не видишь во сне?

— Стараюсь. Но не могу!

— Надеюсь, портрет тебе поможет.

— Будем надеяться,— сказал полковник.— Напомни мне, чтобы я вернул тебе камни.

— Ты нарочно хочешь меня огорчить?

— У меня есть свои скромные правила чести, и они мне так же дороги, как нам обоим наша любовь. И одно не может существовать без другого.

— Но ты бы мог мне иногда уступать.

— А я тебе и уступаю,— сказал полковник.— Ведь камни пока у меня в кармане.

К ним подошел Gran Maestro, сопровождая бифштекс, эскалоп и овощи. Их нес парнишка с гладко прилизанными волосами, он плевал на всех и на всё, но из кожи лез вон, чтобы стать хорошим младшим официантом. Его уже приняли в члены ордена. Gran Maestro ловко разложил еду, с уважением и к ней самой, и к тем, кто ее будет есть.

— На здоровье,— сказал он.— Открой-ка эту бутылку вальполителлы,— обратился он к парнишке, который поглядывал на них глазами недоверчивого спаньеля.

— А за что вы взъелись на этого типа? — спросил полковник, кивая на своего рябого земляка, который шумно жевал; его пожилая спутница ела с жеманством провинциалки.

— Скорее я должен вас об этом спросить. А не вы меня.

— Я его никогда раньше не видел,— сказал полковник.— Но он портит мне аппетит.

— Он смотрит на меня сверху вниз. Упорно не желает говорить со мной по-английски, а по-итальянски двух слов связать не может. Осматривает все подряд по Бедекеру, ест и пьет, что попало. Женщина симпатичная. Кажется, это его тетка. Но точно не знаю.

— Мы бы вполне могли без него обойтись.

— Я тоже так думаю. Крепя сердце.

— Он о нас расспрашивал?

— Спросил, кто вы такие. Имя графини он слышал,— в путеводителе указаны дворцы, которые принадлежали ее роду. Ваше имя, сударыня, произвело на него впечатление, я для этого вас и назвал.

— Как вы думаете, он нас опишет в какой-нибудь книге?

— Не сомневаюсь. Он описывает все подряд.

— Мы должны попасть в какую-нибудь книгу,— сказал полковник.— Ты, дочка, не возражаешь?

— Конечно, нет,— сказала девушка.— Но лучше бы ее написал Данте.

— Что-то давно его не видно, этого Данте,— сказал полковник.

— Расскажи мне что-нибудь о войне,— попросила девушка.— Из того, что мне можно знать.

— Пожалуйста. Все, что хочешь.

— Что за человек генерал Эйзенхауэр?

— Само благонаравие. Хотя я к нему, видно, несправедлив. Да он и не всегда сам себе хозяин. Отличный политик. Политический генерал. Это он умеет.

— А другие ваши полководцы?

— Лучше о них не говорить. Они достаточно говорят о себе сами

в своих мемуарах. Почти все они и в самом деле смахивают на полководцев и состоят в Ротари-клубе¹, о котором ты и не слыхала. Члены этого клуба носят эмалированный жетон со своим именем, там штрафуют, если назовешь кого-нибудь по фамилии. Воевать им, правда, не приходилось. Никогда.

— Неужели среди них нет хороших военных?

— Нет, почему же. Школьный учитель Брэдли², да и многие другие. Вот хотя бы Молниеносный Джо. Он парень славный. Очень славный.

— А кем он был?

— Командующим седьмым корпусом, куда входила моя часть. Умен как бес. Быстро принимает решения. Точен. Теперь он начальник штаба.

— Ну, а великие полководцы, о которых мы столько слышим, вроде генералов Монтгомери³ и Паттона?

— Забудь их, дочка. Монти — это такой тип, которому нужен пятнадцатикратный перевес над противником, да и тогда он никак не решается выступить.

— А я всегда считала его великим полководцем!

— Никогда им не был, — сказал полковник. — И хуже всего, что он это знает сам. Как-то при мне он приехал в гостиницу, снял военный мундир и напялил юбочку⁴, чтобы поднять дух населения.

— Ты его не любишь?

— Почему? Просто он типичный английский генерал, отсюда все его качества. Так что ты насчет великих полководцев помалкивай.

— Но он ведь разбил генерала Роммеля.

— А ты думаешь, там, кроме него, против Роммеля никого не было? Да и кто не победит, имея пятнадцатикратный перевес? Когда мы тут воевали мальчишками, Гран Маэстро и я, мы побеждали целый год, побеждали в каждом бою, при ихнем перевесе в три или четыре к одному. Выдержали три тяжелых сражения. Вот почему мы не прочь подшутить над собой и не пыжимся, как индюки. В тот год мы потеряли больше ста сорока тысяч убитыми. Вот почему мы умеем подурачиться и нет в нас никакого чванства.

— Какая страшная наука, если только это вообще наука, — сказала девушка. — Терпеть не могу военные памятники, при всем моем уважении к погибшим.

— Да я и сам их не люблю. Как и дела, во славу которых их воздвигали. Ты когда-нибудь над этим думала?

— Нет. Но я хотела бы об этом знать.

— Лучше не знать, — сказал полковник. — Ешь бифштекс, пока он не остыл, и прости, что я заговорил о своем ремесле.

— Я его ненавижу. И люблю.

— Видно, мы смотрим на вещи одинаково, — сказал полковник. — Но о чем сейчас размышляет там, через два столика от нас, мой рябой земляк?

— О своей новой книге или о том, что написано в Бедекере.

— Не поехать ли нам после ужина покататься на ветру в гондоле?

— Это было бы чудесно.

— Скажем рябому, куда мы едем, а? Мне почему-то кажется,

¹ Великосветский клуб с филиалами в разных странах.

² Брэдли Омар Нельсон — американский генерал (1893).

³ Монтгомери Бернанд Лоу — английский фельдмаршал (1887).

⁴ Форма шотландских войск.

что у него дырявое не только лицо, но и сердце, и душа, а может, и интерес к жизни дырявый.

— Ничего мы ему не скажем,— возразила девушка.— Гран Maestro передаст ему все, что мы сочтем нужным.

Она прилежно принялась за свой бифштекс, а потом сказала:

— Как ты думаешь, правда, что после пятидесяти на лице у человека все написано?

— Надеюсь, что нет. У меня бы тогда было другое лицо.

— Ты,— сказала она.— Ты...

— Как бифштекс? — спросил полковник

— Замечательный. А твой эскалоп?

— Очень нежный, и соус совсем не приторный. А гарнир вкусный?

— Цветная капуста даже хрустит, как сельдерей.

— Надо было заказать сельдерей. Но вряд ли у них есть сельдерей, не то Гран Maestro сам бы его принес.

— Правда, нам весело ужинать? Вот если бы мы могли всегда есть вдвоем!

— Я тебе это предлагал.

— Не будем об этом говорить.

— Ладно,— сказал полковник.— Я тоже принял одно решение. Я брошу армию и поселюсь тут, в Венеции; буду жить очень скромно, на пенсию.

— Вот было бы хорошо! А как ты выглядишь в штатском?

— Ты же меня видела.

— Конечно, милый. Я просто пошутила. Ты ведь тоже иногда шутишь не очень деликатно.

— Штатское мне идет. Если только у вас тут есть хороший портной.

— У нас нет, но в Риме найдется. А мы не можем поехать в Рим на машине и заказать тебе костюм?

— Давай. Мы остановимся за городом, в Витербо, и будем ездить в город только на примерки и ужинать. А ночью будем возвращаться к себе.

— И встречаться с кинозвездами, говорить о них то, что думаем, а может, и выпивать с ними иногда.

— Да уж кинозвезд там сколько угодно.

— И мы увидим, как они женятся во второй и третий раз и получают папское благословение?

— Если тебе это интересно.

— Нет, не интересно,— сказала девушка.— Я ведь поэтому и не могу выйти за тебя замуж.

— Понятно,— сказал полковник.— Спасибо.

— Но я буду любить тебя, чего бы мне это ни стоило, а мы с тобой прекрасно знаем, чего это стоит, я буду любить тебя, пока мы живы и даже после.

— Я не уверен, что можно любить после того, как умрешь,— сказал полковник.

Он принялся сосать артишок, отрывая листок за листком и макая их мясистым концом в соус.

— Я тоже в этом не уверена,— сказала девушка.— Но я постараюсь. Разве тебе не приятно, что тебя любят?

— Да,— сказал полковник.— Я чувствую себя так, словно был раньше на голом скалистом пригорке — кругом камень, ямки не выроешь, нигде ни кустика, ни выступа, и вдруг оказывается — ты укрылся, ты в танке. Тебя теперь защищает броня, и поблизости нет ни одной противотанковой пушки.

— Расскажи это нашему другу-писателю, у которого лицо изрыто, как поверхность луны,— пусть запишет сегодня ночью.

— Я бы рассказал это Данте, будь он тут поблизости,— заметил полковник, который вдруг разбушевался, как бушует море, когда налетит шквал.— Я бы ему объяснил, что это такое — вдруг очутиться в танке, когда ты уверен, что тебе крышка.

В этот миг в зал вошел барон Альварито. Он искал их; взглядом охотника он их сразу приметил.

Подойдя к столику, он поцеловал у Ренаты руку и сказал:

— Ciao, Рената.

Альварито был довольно высок, костюм отлично сидел на его складном теле, однако это был самый застенчивый человек, какого полковник знал в своей жизни. Он был застенчив не от невежества, неловкости или какого-нибудь физического недостатка. Он был застенчив по природе, как некоторые звери,— ну, хотя бы бонго¹,— ее никогда не увидишь в джунглях, и на нее охотятся с собаками.

— Здравствуйте, полковник,— сказал он и улыбнулся, как может улыбаться только очень застенчивый человек.

Это не было ни спокойной усмешкой человека, уверенного в себе, ни кривой, язвительной улыбкой пройдохи или подлеца, ни деланной, расчетливой улыбочкой придворного или политикана. Это была удивительная, редкая улыбка, которая поднимается из самых сокровенных глубин, более глубоких, чем колодец или глубочайшая шахта, из самого нутра.

— Я зашел на минутку. Я хотел вам сказать, что виды на охоту прекрасные. Утки летят с севера тучами. И крупных много. Таких, как вы любите,— улыбнулся он снова.

— Садитесь, Альварито. Прошу вас.

— Нет,— сказал Альварито.— Встретимся в гараже в два тридцать, хорошо? Вы на своей машине?

— Да.

— Вот и отлично. Если выедем вовремя, увидим уток еще до темноты.

— Великолепно,— сказал полковник.

— Ciao, Рената. До свидания, полковник. Значит, завтра, в два тридцать.

— Мы знаем друг друга с детства,— сказала девушка.— Он старше меня года на три. Но он уже родился стариком.

— Да. Знаю. Мы с ним большие приятели.

— Как ты думаешь, твой земляк нашел его в своем путеводителе?

— Кто его знает,— сказал полковник.— Gran Maestro,— спросил он,— вы не видели, мой прославленный соотечественник искал барона в Бедекере?

— По правде говоря, полковник, не заметил, чтобы он вынимал Бедекер во время еды.

— Поставьте ему за поведение пятерку,— сказал полковник.— А знаете, это вино лучше, когда оно не слишком выдержанное. Вальполичелла не grand vin², когда его разливают в бутылки и держат годами, оно дает только осадок. Согласны?

— Согласен.

— Как же нам тогда быть?

— Сами знаете, полковник, в большой гостинице вино должно стоить денег. И в «Рице» вы дешевого вина не получите. Я бы вам по-

¹ Разновидность антилопы.

² Коллекционное вино (франц.).

советовал купить несколько fiasco хорошего вина; вы можете сказать, что оно из имения графини Ренаты и прислано вам в подарок. Потом я перелю его в графины. Таким образом, и вино у нас будет получше и мы еще на этом порядочно сэкономим. Если хотите, я объясню управляющему. Он человек славный.

— Объясните. Он ведь тоже не из тех, кто выбирает вино по этикеткам.

— Правильно. А пока пейте это. Оно тоже хорошее.

— Да,— сказал полковник.— Но ему далеко до шамбертена.

— А что мы пили когда-то?

— Что попало,— сказал полковник.— Но теперь я ищу совершенства. Или, вернее, не совершенства вообще, а того, какое могу купить за свои деньги.

— Я ищу его тоже,— сказал Gran Maestro.— Но тщетно. Что вы хотите на десерт?

— Сыр,— сказал полковник.— А ты, дочка?

Увидев Альварито, девушка притихла и казалась рассеянной. Она о чем-то раздумывала, а голова у нее была светлая.

— Пожалуйста, сыру,— сказала она. В эту минуту она была далеко от них.

— Какого вам сыру?

— Принесите что есть, а мы выберем,— сказал полковник.

Когда Gran Maestro ушел, полковник спросил ее:

— Что с тобой, дочка?

— Ничего. Ровно ничего. Как всегда, ничего.

— Тогда не витай в облаках. У нас для такой роскоши нету времени.

— Да. Ты прав. Давай займемся сыром.

— Ты хочешь сказать, что я говорю пошлости?

— Нет,— сказала она.— Положи правую руку в карман.

— Хорошо,— сказал полковник.— Сейчас.

Он положил правую руку в карман и нащупал то, что там лежало,— сперва кончиками пальцев, потом всеми пятью пальцами и, наконец, ладонью, искалеченной ладонью.

— Прости,— сказала она.— А теперь давай опять веселиться. И займемся сыром.

— Отлично,— сказал полковник.— Интересно, какой сыр он нам принесет?

— Расскажи о последней войне. А потом мы поедем кататься на холодном ветру в гондоле.

— Да это не так уж интересно,— сказал полковник.— Правда, для нас, военных, такие вещи всегда интересны. Но в этой войне было всего три, самое большее четыре этапа, которые интересовали меня.

— Почему?

— Мы сражались с уже разбитым противником, у которого были прерваны коммуникации. На бумаге мы уничтожили целую уйму дивизий, но все это были призрачные дивизии. Не настоящие. Их уничтожала наша тактическая авиация, прежде чем они успевали сосредоточиться. Трудно было только в Нормандии из-за рельефа, да еще когда мы прорвали фронт и должны были держать брешь, чтобы могли пройти танки Джорджи Паттона.

— А как это делают прорыв для танков? Расскажи, пожалуйста.

— Сперва дерутся, чтобы захватить город на скрещении главных дорог. Назовем этот город хотя бы — Сен-Ло. Потом надо оседлать дороги, взяв соседние города и деревни. Противник удерживает главную линию обороны, но не может стянуть дивизии для контрудара, так как

штурмовая авиация перехватывает их на дорогах. Тебе не скучно? Мне все это надоело до чертиков.

— А мне нет. Я еще никогда не слышала, чтобы объясняли так понятно.

— Спасибо,— сказал полковник.— Ты уверена, что тебе хочется обучиться этой страшной науке?

— Да,— сказала она.— Ведь я тебя люблю и хочу, чтобы ты разделил ее со мною.

— Никто не может разделить мое ремесло с кем бы то ни было,— сказал полковник.— Я только рассказываю тебе, как это делается. И могу добавить несколько анекдотов, чтобы тебе было интереснее.

— Пожалуйста.

— Взять Париж ничего не стоило,— сказал полковник.— Пустая жестикуляция, войны тут никакой не было. Мы застрелили несколько писарей — сняли заслон, который, как всегда, оставили немцы, чтобы прикрыть свой отход. Наверно, они решили, что им уже больше не понадобятся столько писарей, и поставили их под ружье.

— Разве взятие Парижа не было большой победой?

— Люди Леклерка — еще один хлопок третьего или четвертого сорта, чью кончину я отпраздновал бутылкой перье-жуэ 1942 года,— расстреляли немало патронов, чтобы это выглядело шикарнее, благо патронов они получали от нас вдоволь. Но все это была чепуха.

— Ты там участвовал?

— Да,— сказал полковник.— Смело могу сказать, что участвовал.

— И это не произвело на тебя впечатления? В конце концов это же был Париж и не каждому приходилось его брать.

— Сами французы взяли его четырмя днями раньше. Но по великому плану штаба верховного командования союзных экспедиционных сил, где собрались все тыловые политиканы из военных,— они носили нашивку, изображавшую что-то пламенное, а мы — листик клевера, как опознавательный знак, но больше на счастье,— так вот, по этому хитроумному плану город надо было окружить. Просто взять его мы не могли. К тому же нам пришлось дожидаться прибытия генерала и даже фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери, который не сумел заткнуть брешь у Фалеза, продвигаться вперед было нелегко, вот он к нам вовремя и не поспел.

— Наверно, вам его очень не хватало,— сказала девушка.

— Еще бы,— откликнулся полковник.— Ужасно не хватало.

— Но разве во всем этом не было ничего благородного, ничего героического?

— А как же,— сказал полковник.— Мы пробивались из Ба-Медона через Пор-де-Сен-Клу по улицам, которые я знал и любил, и у нас не было ни одного убитого, и мы старались причинить городу как можно меньше вреда. На площади Звезды я взял в плен дворецкого Эльзы Максвелл. Это была очень сложная операция. На него донесли, будто он — японский снайпер и застрелил нескольких парижан. Такого мы еще не слыхали! Вот мы и послали трех солдат на крышу, где он прятался, но он оказался безобидным парнишкой из Индо-Китая.

— Я начинаю понемножку понимать. Но как все это обидно!

— Всегда обидно, еще как обидно! Но в нашем ремесле нельзя ничего принимать близко к сердцу.

— Ты думаешь, что во времена кондотьеров было то же самое?

— Уверен, что еще хуже.

— Но рука у тебя ранена честно?

— Да. В самом что ни на есть честном бою. На каменистой, голой, как плешь, высоте.

— Пожалуйста, дай мне ее потрогать,— сказала она.

— Только поосторожнее с ладонью,— сказал полковник.— Она пробита, и рана нет-нет да и открывается.

— Тебе надо писать,— сказала девушка.— Я говорю серьезно. Люди должны обо всем этом знать.

— Нет,— возразил полковник.— У меня для этого нет таланта и я знаю слишком много. Любой враль почти всегда пишет убедительнее очевидца.

— Но писали же другие военные!

— Да. Мориц Саксонский. Фридрих Великий. Су Цинь.

— А в наше время?

— Ты не задумываясь сказала «в наше». Но мне это нравится.

— Ведь многие из нынешних военных пишут!

— Пишут. Ну, а ты их читаешь?

— Нет. Я читаю, главным образом, классиков и скандальную хронику в иллюстрированных журналах. И твои письма.

— Ты бы их сожгла,— сказал полковник.— Они ни к черту не годятся.

— Пожалуйста, не будь таким грубым.

— Не буду. Что бы тебе рассказать поинтереснее?

— Расскажи, как ты был генералом.

— Ах, об этом,— он сделал Gran Maestro знак принести шампанское. Это был редерер 42 года, который он любил.— Если ты занимаешь генеральскую должность, ты живешь в прицепном фургоне, и твой начальник штаба живет в таком же фургоне, и у тебя есть выпивка, когда у других ее нет. Твои начальники отделов живут на КП. Я бы мог о них рассказать, но тебе будет скучно. Я бы мог рассказать о начальниках первого, второго, третьего, четвертого и пятого отделов, но у немцев был и шестой. Боюсь только, что тебе будет скучно... Если ты генерал, у тебя есть карта под плексигласом и на ней — три полка из трех батальонов каждый. Все это нанесено на карту цветным карандашом. На карте указаны разграничительные линии, чтобы батальоны не лезли куда попало и не перестреляли друг друга. Каждый батальон состоит из пяти рот. Все батальоны должны быть хорошими, но среди них есть хорошие, а есть и похуже. Кроме того, у тебя есть дивизионная артиллерия, танковый батальон и целая гора запчастей. Вся жизнь твоя сводится к координатам на карте.

Он помолчал, пока Gran Maestro разливал редерер 42 года.

— Из корпуса, из *cuervo d'armata*,— перевел он, и в голосе его зазвучала неприязнь,— дают указания, что делать, а ты решаешь, как это сделать. Диктуешь приказы писарю, а чаще отдаешь их по телефону. Вынимаешь душу из людей, которых ты уважаешь, заставляя их делать заведомо невозможное, потому что приказ есть приказ. Ломаешь себе голову, ложишься бог знает когда, а встаешь чуть свет.

— И ты об этом не напишешь? Даже чтобы доставить мне удовольствие?

— Нет,— сказал полковник.— Книги о войне обычно пишут нервные юноши, они чуть-чуть свихнулись и сохранили свежесть воспоминаний о первом дне боев, или о первых трех или четырех таких днях. Это неплохие книги, но тому, кто там был, они кажутся скучными. Другие пишут, чтобы поживиться на войне, которой они и не нюхали,— те, кто удирал в тыл, чтобы поскорее сообщить новости с фронта. И не такие уж это были новости. Профессиональные писатели пристроились на службе в тылу и писали о боях, в которых ничего не смыслили, так, словно видели их своими глазами. Не знаю, как назвать такой грех! Вот и какой-то лощеный моряк в звании ка-

питана, который даже шлюпкой не смог бы командовать, написал про тайную подоплеку поистине Великой войны. Рано или поздно каждый выпустит свою книгу. Может, нам когда-нибудь перепадет и хорошая. Но я, дочка, книг не пишу.

Он сделал Gran Maestro знак налить бокалы.

— Gran Maestro,— спросил он,— вы любите воевать?

— Нет.

— Но мы ведь воевали?

— Да. Слишком много.

— А как у вас со здоровьем?

— Великолепно, если не считать язвы, да и сердце чуть-чуть пошаливает.

— Не может быть,— сказал полковник и почувствовал, как забилося его сердце,— у него даже перехватило дыхание.— Вы мне говорили только про язву.

— Ну вот, а теперь вы знаете...— Gran Maestro не закончил фразы и улыбнулся широкой, ясной улыбкой, озарившей его лицо, как луч солнца.

— Сколько у вас было приступов?

Gran Maestro поднял два пальца, как человек, сигнализирующий на скачках букмекеру, у которого пользуется кредитом и ждет ответного кивка, скрепляющего сделку.

— Я вас обскакал,— сказал полковник.— Но довольно ныть! Подлейте лучше донне Ренате этого превосходного вина.

— Ты мне не говорил, что у тебя они были опять,— сказала девушка.— Ты от меня это скрыл?

— С тех пор как мы в последний раз виделись, ничего больше не было.

— А ты не думаешь, что это из-за меня? Не то я приеду к тебе и останусь с тобой и буду о тебе заботиться.

— Это всего-навсего мышца,— сказал полковник.— Но видишь ли, это главная мышца. Она работает, как хорошо налаженная машина. И беда в том, что когда она сдает, ее не пошлешь в гарантийный ремонт. А когда она остановится, ты этого даже не узнаешь. Умрешь, и все.

— Пожалуйста, не надо об этом.

— Ты сама меня спросила,— сказал полковник.

— А у этого рябого с потешным лицом, у него таких вещей не бывает?

— Конечно, нет,— сказал полковник.— Если он посредственный писатель, он будет жить вечно.

— Почему ты знаешь? Ты ведь не писатель.

— Бог миловал, я не писатель. Но кое-что читал. У нас, пока мы не женаты, на чтение остается уйма времени. Может, и не столько, сколько у моряков торгового флота. Но все же достаточно. Я могу отличить одного писателя от другого, и уж ты мне поверь: посредственному писателю суждена долгая жизнь. Им всем надо назначить пенсию по старости.

— Давай не будем об этом говорить, слишком мне это горько, расскажи лучше какую-нибудь историю.

— Я могу рассказать тебе сотню всяких историй. Ничего не выдумывая.

— Расскажи хотя бы одну. Потом мы допьем вино и поедем кататься.

— А тебе не будет холодно? — спросил полковник.

— Конечно, нет.

— Что бы тебе рассказать? Тем, кто не воевал, скучно слушать про войну. Разве что какие-нибудь небылицы.

— Я бы хотела знать, как вы брали Париж.

— Почему? Ты вспомнила, что я тебе говорил, будто ты похожа на Марию Антуанетту по дороге на казнь?

— Нет. Я, правда, была польщена и знаю, что в профиль мы немножко похожи. Но меня никогда не везли в тележке на казнь, и я хочу, чтобы ты мне рассказал о Париже. Когда любишь и он для тебя герой, всегда интересно слушать, где он был и что делал.

— Пожалуйста, повернись в профиль,— сказал полковник,— и я все тебе расскажу. Gran Maestro, в этой несчастной бутылке еще что-нибудь осталось?

— Нет,— ответил Gran Maestro.

— Тогда дайте другую.

— Я ее уже заморозил.

— Отлично. Несите ее сюда. Итак, дочка, мы отделились от колонны генерала Леклера в Кламаре. Они пошли на Монруж и Порт-Орлеан, а мы двинулись прямо на Ба-Медон и захватили мост Порде-Сен-Клу. Это не слишком подробно, тебе не скучно?

— Ничуть.

— Жаль, что нету карты.

— Дальше.

— Мы захватили мост и предмостные укрепления на той стороне реки, сбросив в Сену немцев, оборонявших мост,— и живых и мертвых.— Он помолчал.— Да, мост они нам просто подарили. Его надо было взорвать. Немцев сбросили в Сену. Но, кажется, там были одни писари.

— Дальше.

— На следующее утро нам сообщили, что немцы укрепились в ряде мест, стянули на Мон-Валерьян артиллерию, а по улицам шныряют танки. Кое-что тут было правдой. К тому же нам приказали не торопиться, так как город полагалось взять генералу Леклерку. Я послушался приказа и стал продвигаться как можно медленнее.

— А как это делается?

— Откладываешь атаку часика на два и потягиваешь шампанское, кто бы тебе его ни подносил — патриоты, коллаборационисты или просто болельщики.

— Но неужели там не было ничего потрясающего или величественного, как пишут в книгах?

— Конечно, было. Сам город. Народ был вне себя от счастья. Старые генералы рассказывали по улицам в изъеденных молью мундирах. Да и мы сами радовались, что нам не пришлось драться.

— Неужели вам совсем не пришлось драться?

— Всего три раза. Да и то не по-настоящему.

— Всего три раза, чтобы взять такой город?

— Дочка, мы двенадцать раз вступали в бой от Рамбуэ до Парижа. Но настоящих боев было только два. В Туссю-ле-Нобль и в Лебюке. Остальное было просто приправой. Мне в общем и не надо было драться, если не считать этих двух стычек.

— Расскажи, как дерутся.

— Скажи, что ты меня любишь.

— Я люблю тебя,— сказала девушка.— Если хочешь, можешь напечатать об этом в «Gazzetino». Я люблю твое жесткое, сухое тело и твои странные глаза,— я их боюсь, когда они злеют. Я люблю твою руку и все твои раны.

— Теперь и я должен сказать тебе что-нибудь очень хорошее. Во-первых, я люблю тебя.

— А почему бы тебе не купить хорошего стекла? — спросила вдруг девушка. — Мы можем вместе съездить в Мурано.

— Я ничего не понимаю в стекле.

— Я могу тебя научить. Вот было бы весело!

— В нашей бродячей жизни не обзаводятся венецианским стеклом.

— Ну, а когда ты выйдешь в отставку и поселишься здесь?

— Тогда и купим.

— Я бы хотела, чтобы это было сегодня.

— Я тоже, но сегодня это сегодня, а завтра я поеду на охоту за утками.

— А мне можно поехать с тобой на охоту?

— Если Альварито тебя пригласит.

— Я могу заставить его меня пригласить.

— Сомневаюсь.

— Невежливо сомневаться в том, что говорит твоя дочка, она уже слишком взрослая, чтобы лгать.

— Ладно, дочка. Беру свои слова обратно.

— Спасибо. За это я не поеду и не буду вам мешать. Я останусь в Венеции и пойду к мессе с мамой и ее теткой и с моей теткой, а потом навещу своих бедняков. Я ведь единственная дочь, и у меня много обязанностей.

— Меня всегда интересовало, что ты делаешь целый день?

— Вот это я и делаю. А потом попрошу горничную помыть мне голову и сделать маникюр.

— Но завтра же воскресенье.

— Тогда я займусь этим в понедельник. А в воскресенье прочту все иллюстрированные журналы и самые неприличные тоже.

— Может, там будет фотография мисс Бергман¹. Ты все еще хочешь быть на нее похожей?

— Уже нет, — сказала девушка. — Я хочу быть похожей на самое себя, только много, много лучше, и я хочу, чтобы ты меня любил. И еще, — добавила она вдруг, глядя на него прямо и не таясь, — я хочу быть такой, как ты. Можно мне сегодня быть такой, как ты?

— Конечно. И спасибо, что ты больше не просишь рассказывать про войну.

— Ну, ты должен мне потом рассказать!

— Должен? — переспросил полковник, и в его странных глазах сверкнула такая жестокая решимость, словно неприятельский танк навел на него жерло своей пушки. — Ты, дочка, кажется, сказала «должен»?

— Да. Но не в том смысле. А если я не так сказала, прости. Я хотела сказать — пожалуйста, расскажи мне попозже еще какую-нибудь настоящую историю про войну. И объясни мне, пожалуйста, то, чего я не понимаю.

— Можешь говорить «должен», дочка. Черт с ним!

Он улыбнулся, и глаза его опять подобрели, хотя — он это знал и сам — они никогда не бывали совсем добрыми. Но тут уж ничего не поделаешь, он так старался быть поласковой со своей последней, настоящей и единственной любовью.

— Честное слово, дочка, я не возражаю. Право же, нет. Я знаю, что такое отдавать приказы, и в твои годы сам это любил.

— Но я вовсе не хочу приказывать, — сказала девушка. Хоть она и приняла решение не плакать, в глазах у нее стояли слезы. — Я хочу тебе подчиняться.

¹ Бергман Ингрид — шведская артистка.

— Знаю. Но и приказывать тебе тоже хочется. В этом нет ничего дурного. Такие, как мы, без этого не могут.

— Спасибо за «такие, как мы».

— Мне это было совсем нетрудно...— сказал полковник. И добавил: — Дочка.

В эту минуту к их столику подошел портье.

— Извините,— обратился он к полковнику.— Там какой-то человек — кажется, ваш слуга, сударыня,— с довольно большим пакетом для полковника. Оставить пакет в камере хранения или послать наверх, к вам в номер?

— Ко мне в номер,— сказал полковник.

— Пожалуйста, давай посмотрим здесь,— попросила девушка.— Нам ведь все равно, что скажут другие?

— Разверните его и принесите сюда.

— Слушаюсь.

— А потом отнесите поосторожней ко мне и запакуйте как следует к двенадцати часам завтрашнего дня. Я возьму его с собой.

— Слушаюсь, полковник.

— Тебе хочется на него посмотреть? — спросила девушка.

— Очень,— ответил полковник.— Gran Maestro, пожалуйста, еще бутылку редерера и, прошу вас, поставьте стул так, чтобы мы могли поглядеть на портрет. Мы страстные поклонники живописи.

— Больше редерера не заморожено,— сказал Gran Maestro.— Но, если хотите, есть перье-жуэ.

— Несите его сюда,— сказал полковник и добавил: — пожалуйста.— Он обратился к девушке: — Я не привык говорить с людьми, как Джорджи Паттон. Не вижу в этом нужды. К тому же Джорджи Паттон умер.

— Бедняга.

— Да, и был беднягой всю жизнь. Хотя денег у него куры не клевали, да и танков была уйма.

— Тебе не нравятся танки?

— Да. Не столько танки, сколько те, кто в них сидит. Броня превращает людей в наглецов, а это первый шаг к трусости; к настоящей трусости. Может, тут виновата еще боязнь пространства.

Он взглянул на нее, улыбнулся и пожалел, что заговорил о вещах, которые ей непонятны. У нее был вид неопытного пловца, который привык плавать на мелком месте, у отлогого берега, и вдруг не чувствует дна под ногами; он постарался ее ободрить.

— Прости меня, дочка. Я часто бываю несправедлив. И все же в том, что я говорю, больше правды, чем в генеральских мемуарах. После того как человек получит генеральскую звезду или несколько звезд, правда становится для него такой же недосыгаемой, как Святой Грааль для наших предков.

— Но ведь ты и сам занимал генеральскую должность.

— Не бог весть как долго,— сказал полковник.— Капитаны,— вот кто знает настоящую правду и может ее рассказать. А кто не может, тех надо разжаловать.

— А меня ты разжалуешь, если я солгу?

— Смотря по тому, о чем ты будешь лгать.

— А я не собираюсь лгать о чем бы то ни было. Я не хочу, чтобы меня разжаловали. Это звучит так страшно.

— Еще бы,— сказал полковник.— Тебя отошлют в тыл вместе с рапортом в одиннадцать экземплярах,— и все одиннадцать я подпишу собственноручно.

— А ты многих разжаловал?

— Порядочно.

В бар вошел портье; он нес портрет в большой раме, лавируя между столиками, как яхта, поднявшая слишком много парусов.

— Возьмите два стула и поставьте их вон туда,— сказал полковник младшему официанту.— Смотрите не заденьте холст. И придерживайте портрет, не то он упадет.— Повернувшись к девушке, он заметил: — Раму надо будет сменить.

— Знаю,— сказала она.— Не я ее выбирала. Увези его без рамы, а на будущей неделе мы купим другую, получше. А теперь смотри на портрет. Не на раму. Смотри. Говорит он что-нибудь обо мне или нет?

Портрет был хорош — не ремесленный, не холуйский, не манерный и не архисовременный. Вот так бы, наверно, писали наших возлюбленных Тинторетто или на худой конец Веласкес, — если бы жили среди нас. Однако это не было подражанием ни тому, ни другому. Просто великолепный портрет, — они еще попадают в наше время.

— Поразительно,— сказал полковник.— Вот молодец!

Портье и младший официант держали портрет, заглядывая сбоку. Gran Maestro не скрывал своего восхищения. Двумя столиками дальше сидел американец и пытался определить своим журналистским глазом, кто написал этот портрет. Ко всем остальным портрет был повернут тыльной стороной.

— Поразительно,— сказал полковник.— Но ты не можешь делать мне таких подарков.

— Я его уже тебе подарила,— сказала девушка.— Хотя я знаю, что волосы у меня никогда не доставали до плеч.

— А мне кажется, что доставали.

— Если хочешь, я попробую их отрастить.

— Попробуй,— сказал полковник.— Ах ты, чудо мое. Я так тебя люблю. Тебя и ту, что там на холсте.

— Можешь сказать это громко. Я уверена, что официантов ты не удивишь.

— Отнесите холст вверх, в мой номер,— сказал полковник портье.— Большое спасибо, что вы его нам показали. Если цена будет сходная, я его куплю.

— Цена сходная,— заметила девушка.— А может, сказать им, чтобы они пододвинули стулья вместе с портретом к твоему земляку? Давай устроим для него специальный просмотр. Gran Maestro сообщит ему адрес художника, и твой земляк посетит его мастерскую.

— Это очень красивый портрет,— сказал Gran Maestro.— Но его надо отнести в комнату. Не следует давать воли шампанскому.

— Отнесите его в мой номер.

— Ты забыл сказать: «пожалуйста».

— Спасибо, что ты это заметила. Портрет меня так взволновал, что я не отвечаю за свои слова.

— Давай не будем ни за что отвечать.

— Идет,— сказал полковник.— Пусть за все отвечает Gran Maestro. Он всегда за все отвечал.

— Нет,— сказала девушка.— Он сказал это не только из чувства ответственности, но и со зла. Знаешь, в каждом из нас, в этом городе, сидит что-то злое. Может, он не хотел, чтобы тот человек даже краешком глаза заглянул в чужое счастье.

— Каким бы оно ни было.

— Я научилась этому выражению у тебя, а теперь ты перенял его у меня.

— Так оно обычно и бывает,— сказал полковник.— Что живешь в Бостоне, потеряешь в Чикаго.

— Не понимаю.

— Этого, пожалуй, не объяснишь,— сказал полковник.— Хотя нет,— добавил он,— почему же? Объяснять — это главное в моем ремесле. Кто сказал, что нельзя объяснить? Знаешь, это как в футболе. Те, кто выигрывает в Милане, проигрывают в Турине.

— Я не люблю футбола.

— Я тоже,— сказал полковник.— Особенно матчи между командами армии и флота. И когда на войне футбольные термины употребляют наши военные шишки. Правда, им тогда самим легче понять, о чем они говорят.

— Сегодня нам с тобой будет хорошо. Как бы там ни было.

— Давай захватим с собой эту бутылку?

— Давай,— сказала девушка.— И бокалы повыше. Я скажу Gran Maestro. Возьмем пальто и пойдем.

— Хорошо. Я только приму лекарство, распишусь на счете, и мы пойдем.

— Жалко, что я не могу принимать за тебя лекарство.

— Нет уж, черт возьми, лучше не надо,— сказал полковник.— Мы сами выберем гондолу или скажем, чтобы наняли какую попало?

— Давай, рискнем. Пускай выбирают они. Что мы теряем?

— Терять нам, пожалуй, нечего. Совсем, пожалуй, нечего.

Глава принадлецапая

Они вышли через боковой подъезд на imbarcadego, и в лицо им сразу ударил ветер. Свет из окон отеля падал на черную гондолу, и вода казалась зеленой. Она красива, как хорошая лошадь или как летящий снаряд,— подумал полковник.— Почему я раньше не замечал, какие гондолы красивые? Какие нужны были руки и глаз, чтобы создать такую соразмерность линий!

— Куда мы поедем? — спросила девушка.

Ее тоже освещали лучи, падавшие из подъезда и окон отеля; она стояла у причала, возле черной гондолы, волосы ее развевал ветер, и она была похожа на статую на носу галеры. И не только лицом,— думал полковник.

— Давай прокатимся по парку,— сказал полковник.— Или через Булонский лес. Пускай он сдует нас в Арменонвиль.

— А мы с тобой поедем в Париж?

— Конечно! — сказал полковник.— Попроси его, чтобы он часок покатал нас там, где полегче грести. Мне не хочется мучить его на таком ветру.

— От этого ветра вода очень поднялась,— сказала девушка.— Кое-где в наших любимых местах нельзя будет проехать под мостами. Можно, я скажу ему, куда нас везти?

— Конечно, дочка. Поставьте ведро со льдом в лодку,— сказал полковник младшему официанту, который вышел их проводить.

— Gran Maestro просил передать, что эта бутылка — вам в подарок.

— Поблагодарите его хорошенько и скажите, что это невозможно.

— Пусть сначала выгребет против ветра, а потом я знаю, куда мы поедем,— сказала девушка.

— Gran Maestro послал вам еще это,— сказал официант.

Он подал старое армейское одеяло. Рената разговаривала с гон-

дольером — волосы ее трепал ветер. На гондольере был толстый синий морской свитер, голова у него тоже была не покрыта.

— Передайте ему от меня большое спасибо,— сказал полковник.

Он сунул официанту в руку бумажку. Тот вернул деньги.

— Вы мне уже подписали чаевые на счете. Ни вы, ни я, ни Gian Maestro еще с голоду не помираем.

— А как насчет жены и бамбини?

— У меня их нету. Ваши средние бомбардировщики разбили наш дом в Тревизо.

— Обидно.

— Вы тут ни при чем,— сказал официант.— Вы были такой же пехтурой, как и я.

— И все равно обидно. Разрешите мне вам это сказать?

— Пожалуйста,— сказал официант.— Но разве это поможет? Счастливо, полковник. Счастливо, сударыня.

Они спустились в гондолу, и сразу же началось всегдашнее волшебство: послушная лодка вдруг качнулась у них под ногами, потом они стали усаживаться в темноте, потом пересели, когда гондольер принялся голанить, и чуть накренил лодку, чтобы легче было править.

— Ну вот,— сказала девушка,— теперь мы дома и я тебя люблю. Поцелуй меня, пожалуйста, чтобы я знала, как ты меня любишь.

Полковник прижал ее к себе, она закинула голову, и он целовал ее, пока от поцелуя не осталось ничего, кроме горечи.

— Я люблю тебя.

— Что бы это ни значило,— прервала она его.

— Я люблю тебя и знаю, что это значит. Портрет красивый. Но что же тогда ты сама?

— Дикарка? — спросила она.— Растрепя? Неряха?

— Нет.

— Неряха — одно из первых слов, которому я выучилась от гувернантки. Так говорят, когда плохо причешешься. А лентяйка — это когда на ночь проведешь по волосам щеткой меньше, чем сто раз.

— Я сейчас проведу рукой, и они растреплются еще больше.

— Раненой рукой?

— Да.

— Но мы не так сидим. А ну-ка, поменяемся местами!

— Ладно. Вот это разумный приказ, ясный и понятный.

Они очень веселились, пересаживаясь и стараясь не нарушить равновесия гондолы.

— Ну вот,— сказала она.— Но обними меня крепко другой рукой.

— Ты всегда знаешь, чего тебе хочется?

— Всегда. По-твоему, это нескромно? Слову «нескромно» меня тоже научила гувернантка.

— Нет, это хорошо. Подтяни повыше одеяло,— чувствуешь, какой ветер?

— Он дует с гор.

— Да. И откуда-то еще дальше.

Полковник слышал, как бьет волна по доскам гондолы, ощущал резкие порывы ветра и знакомую издавна шершавость одеяла, а потом почувствовал прохладное тепло и прелесть ее тела, и упругость груди, которой легко касалась его левая рука. Тогда он провел искаленной рукой по ее волосам раз, другой и третий, а потом поцеловал ее, чувствуя, как из души его уходит даже горечь.

— Пожалуйста,— попросила она, совсем спрятавшись под одеяло,— теперь я.

— Нет,— сказал он.— Я.

Ветер был ледяной и резал лицо, но под одеялом ветра не было, там не было ничего, кроме его искалеченной руки.

— Пожалуйста, милый,— сказала девушка,— пожалуйста, не надо.

— А ты ни о чем не думай. Ни о чем на свете.

— Я не думаю.

— Ни о чем.

— Молчи.

— Тебе хорошо?

— Сам знаешь.

— Ты уверена?

— Молчи. Пожалуйста.

Она молчала. Молчал и он, и, когда большая птица, вылетев через закрытое окошко гондолы, пропала вдаль, скрылась совсем, оба не сказали ни слова. Он легонько придерживал ее голову здоровой рукой.

— Я люблю тебя,— сказал он, и в этот миг гондола круто свернула влево, ветер задул ему в правую щеку, и он сказал, когда его глаза разглядели очертания Дворца дождей:

— Ты теперь лежишь с подветренной стороны, дочка.

— Уже? Но ведь еще рано! Разве ты не знаешь, что должна чувствовать женщина?

— Нет. Может, ты мне скажешь?

— Спасибо. За то, что ты — это ты. Но неужели ты в самом деле не знаешь?

— Нет. По-моему, я никогда и не спрашивал.

— А ты догадайся,— сказала она.— Только подожди, пока мы пройдем под вторым мостом.

— Выпей вина,— сказал полковник, ловко достав ведро со льдом и открывая бутылку, которую уже откупорил для них Gran Maestro, а потом заткнул обыкновенной винной пробкой,— тебе это полезно, дочка. Это помогает от всех наших недугов, от всех печалей и страхов.

— У меня ничего этого нет,— сказала она, старательно выговаривая слова, как учила ее гувернантка.— Я просто женщина, или девушка, что бы это ни значило, которая делает то, что ей не следует делать. Ну что ж, обними меня, раз я лежу теперь с подветренной стороны.

— Хорошо,— сказал полковник.— Хорошо, если хочешь.

— Пожалуйста, обними меня. Я ведь тебя прошу.

Голос у нее ласковый, как у котенка,— думал полковник; даром что бедные котята не умеют разговаривать. Но потом он перестал думать о чем бы то ни было и очень долго не думал ни о чем.

Гондола шла сейчас по одному из поперечных каналов. Когда они выходили из Большого Канала, ветер так ее накренил, что гондольеру пришлось всем телом налечь на противоположный борт, а полковник и девушка тоже были вынуждены передвинуться под своим одеялом, и туда, под одеяло, с ожесточением ворвался ветер.

Они долго не произносили ни слова, и полковник заметил, что, когда гондола проходила под последним мостом, между ее верхом и пролетом моста оставалось всего несколько дюймов.

— Ну как, дочка?

— Хорошо.

— Ты меня любишь?

— Пожалуйста, не задавай глупых вопросов,

- Вода очень высокая, мы едва прошли под последним мостом.
- Ну, я знаю как ехать. Я здесь родилась.
- Я, бывало, совершал ошибки и в родном городе,— сказал полковник.— Родиться — это еще не все.
- Нет, это ужасно много,— сказала девушка.— И ты это сам знаешь. Пожалуйста, обними меня крепко-крепко, так, чтобы нас хоть минутку нельзя было оторвать друг от друга.
- Попробуем,— сказал полковник.
- И я могу быть тобой?
- Это очень трудно. Но мы постараемся.
- Вот теперь я — это ты,— сказала она.— Я только что взяла город Париж.
- Господи, дочка,— сказал он.— У тебя же теперь хлопот полон рот! Берегись! Сейчас выведут на парад двадцать восьмую дивизию!
- А мне наплевать!
- Ну, а мне нет.
- Разве она такая плохая?
- Отнюдь. И командиры хорошие. Это были национальные гвардейцы, но такие невезучие! Тридцать три несчастья, да и только! Хотя патент на невезенье получай.
- Я в этих вещах ничего не понимаю.
- Да их и объяснять не стоит,— сказал полковник.
- А ты мне, правда, можешь рассказать про Париж? Я так его люблю, и когда я думаю, что ты его брал, мне кажется, будто я еду в гондоле с самим маршалом Неем.
- Вот уж неинтересно,— сказал полковник.— Особенно после того, как он выдержал столько арьергардных боев, отступая от какого-то русского города. Он дрался по десять, двенадцать, пятнадцать раз в день. Иногда еще и чаще. А потом и людей не узнавал. Нет, и не думай кататься с ним в гондоле!
- Он всегда был одним из моих самых любимых героев.
- Еще бы. И моим тоже. До Катр-Бра¹. А может, это было не у Катр-Бра, а где-нибудь еще. Память у меня сдает. Давай назовем это просто Ватерлоо.
- У него там ничего не вышло?
- Ни черта,— сказал ей полковник.— Нет, ты его брось. У него было слишком много арьергардных боев на обратном пути из Москвы.
- Но его же звали храбрейшим из храбрых.
- Ну и что? Из этого каши не сварить. Храбрым тебе полагается быть всю жизнь. И еще — умнейшим из умников. А ко всему этому нужно хорошее снабжение.
- Пожалуйста, расскажи мне о Париже. Я вижу, что целоваться нам больше нельзя.
- А я не вижу. Кто тебе сказал, что нельзя?
- Я сама, потому что я тебя люблю.
- Ладно. Ты сама, и ты меня любишь. Ну нельзя, так нельзя, будь оно трижды проклято.
- А ты думаешь, нам можно еще немножко, если тебе это не вредно?
- Мне вредно? — спросил полковник.— К черту! Разве мне что-нибудь бывает вредно?

¹ Деревушка в Бельгии, где Ней сражался с англичанами 16 июня 1815 г. в канун Ватерлоо.

Глава четырнадцатая

— Пожалуйста, не злись,— сказала она, натягивая одеяло повыше.— Ты сам знаешь, что тебе вредно. Пожалуйста, выпей со мной вина.

— Так точно. И давай об этом не вспоминать.

— Слушаюсь! — сказала она.— Это я у тебя научилась так говорить. Видишь, мы уже больше не вспоминаем.

— Почему тебе так нравится эта рука? — спросил полковник, положив свою руку туда, где ей хотелось лежать.

— Пожалуйста, не прикидывайся, что ты глупый, и не смей, пожалуйста, ни о чем думать, ни о чем, ни о чем на свете!

— А я и на самом деле глупый,— сказал полковник.— Но я ни о чем не буду думать, ни о чем, даже о том, что на свете есть ничто и брат его — завтра.

— Пожалуйста, будь хорошим. Будь добрым.

— Буду. А сейчас я открою тебе военную тайну. Совершенно секретно: я тебя люблю.

— Вот это мило,— сказала она.— И ты это очень мило сказал.

— А я вообще милый,— сказал полковник, быстро прикинул в уме высоту моста, к которому они приближались, и рассчитал, что гондола пройдет свободно.— Это сразу бросается людям в глаза.

— Я вечно путаю слова,— сказала девушка.— Ты меня все равно люби. Я бы очень хотела, чтобы это я любила тебя.

— А ты разве меня не любишь?

— Да,— сказала она.— Всей душой.

Теперь они шли по ветру; оба устали.

— Как ты думаешь...

— А я вовсе не думаю,— сказала девушка.

— А ты попробуй подумать.

— Хорошо.

— Выпей вина.

— С удовольствием. Оно очень вкусное.

Вино было вкусное. Лед в ведерке еще не растаял, вино было холодное и прозрачное.

— Можно мне остаться в «Гритти»?

— Нет.

— Почему?

— Нехорошо. Из-за них. И из-за тебя. На меня-то наплевать.

— Значит, мне идти домой?

— Да,— сказал полковник.— По логике вещей получается, что да.

— Разве можно так говорить, когда нам грустно? Ну неужели нельзя ничего придумать?

— Нет. Я провожу тебя домой, ты хорошенько выпишься, а завтра мы с тобой встретимся где и когда ты захочешь.

— Можно позвонить тебе в «Гритти»?

— Конечно. Я не буду спать, когда бы ты ни позвонила. Ты позвонишь, как только проснешься?

— Да. Но почему ты всегда встаешь так рано?

— Профессиональная привычка.

— Ах, как бы я хотела, чтобы у тебя была другая профессия и чтобы ты не умирал!

— Я тоже. Но я бросаю свою профессию.

— Ну да,— сказала она сонно с довольной улыбкой.— И тогда мы поедем в Рим и закажем тебе костюм.

— И будем жить счастливо до самой смерти.

— Пожалуйста, не надо,— сказала она.— Ну, пожалуйста, пожалуйста, не надо! Ты же знаешь, что я приняла решение не плакать.

— А все равно плачешь! На кой черт было принимать это решение?

— Пожалуйста, проводи меня домой.

— Я и сам собирался это сделать,— сказал полковник.

— Нет, сначала докажи, что ты добрый.

— Сейчас,— сказал полковник.

После того как они, или, вернее, полковник, расплатились с гондольером,— этот коренастый, крепкий, надежный и знающий свое место гондольер делал вид, будто ничего не замечает, а на самом деле все замечал,— они вышли на Пьяцетту и пересекли огромную, холодную площадь, где гулял ветер, а древние камни под ногами казались такими твердыми. Грустные, но счастливые, они шли, тесно прижавшись друг к другу.

— Вот место, где немец стрелял в голубей,— сказала девушка.

— Мы его, наверно, убили,— сказал полковник.— Или его брата. А может, повесили. Почему я знаю? Я ведь не сыщик.

— А ты меня еще любишь на этих старых, изъеденных морем, холодных камнях?

— Да. Если бы я мог, я расстелил бы здесь мое солдатское одеяло и это доказал.

— Тогда ты был бы еще бóльшим варваром, чем тот стрелок по голубям.

— А я и так варвар,— сказал полковник.

— Не всегда.

— Спасибо и за это.

— Тут нам надо свернуть.

— Кажется, я уже запомнил. Когда они, наконец, снесут проклятый кинотеатр и построят здесь настоящий собор? На этом настаивает даже рядовой первого взвода Джексон.

— Когда кто-нибудь опять привезет из Александрии святого Марка, спрятав его под свиными тушами.

— Ну, для этого нужен парень из Торчелло.

— Ты ведь сам парень из Торчелло.

— Да. Я парень из Бассо Пьяве, и с Граппы, и даже из Пертики. Я парень из Пасубио, а это не шутка: там было страшнее, чем в любом другом месте, даже когда не было боев. В нашем взводе делили гонококки — их привозили из Скио в спичечной коробке. Делили, чтобы хоть как-нибудь сбежать, до того там было нестерпимо.

— Но ты же не сбежал?

— Конечно, нет,— сказал полковник.— Я всегда уйду последний — из гостей, конечно, а не с собраний. Таких, как я, зовут каменный гость!

— Пойдем?

— Но ты же, по-моему, приняла решение?

— Да. Но когда ты сказал, что ты — нежеланный гость, я перешла.

— Нет. Раз уж решила, значит, решила.

— Я умею выдерживать характер.

— Знаю. Чего только ты не умеешь выдерживать! Но есть такие вещи, дочка, за которые держаться не стоит. Это занятие для дураков. Иногда надо быстро перестроиться.

— Если хочешь, я перестроюсь.

— Нет. Решение, по-моему, было здравое.

— Но ведь до завтрашнего утра так долго ждать!

— Это как повезет.
— Я-то, наверно, буду спать крепко.
— Еще бы,— сказал полковник.— Если ты в твои годы не будешь спать, тебя просто надо повесить!
— Как тебе не стыдно!
— Извини,— сказал он,— я хотел сказать: расстрелять.
— Мы почти дошли до дому, и ты мог бы разговаривать со мной поласковее.
— Я такой ласковый, что просто дошнит. Пусть уж кто-нибудь другой будет ласковым.

Они подошли к дворцу; вот он, дворец, перед ними. Оставалось только дернуть ручку звонка или отпереть дверь ключом. Я как-то раз даже заблудился у них здесь,— подумал полковник,— а со мной этого нигде не случалось.

— Пожалуйста, поцелуй меня на прощанье. Но только ласково. Полковник послушался; он любил ее так, что, казалось, уже не мог этого больше вынести.

Она отперла дверь ключом, который лежал у нее в сумочке.

А потом она ушла, и полковник остался один, с ним были только истертые камни мостовой, ветер, все еще дувший с севера, да тень, упавшая оттуда, где зажгли свет. Он отправился домой пешком.

Только туристы и влюбленные нанимают гондолы,— думал полковник.— И те, кому надо переехать через канал там, где нет моста. Пожалуй, стоило бы зайти к «Гарри» или в какой-нибудь другой кабачок. Но пойду-ка я лучше домой.

Глава пятнадцатая

«Гритти» и в самом деле был для него домом, если только можно так назвать номер в гостинице. На кровати была разложена пижама. Возле настольной лампы стояла бутылка вальполичеллы, а на ночном столике — минеральная вода во льду и бокал на серебряном подносе. Портрет вынули из рамы и поставили на два стула так, чтобы полковник лежа мог его видеть.

На постели, рядом с тремя подушками горкой лежало парижское издание «Нью-Йорк геральд трибюн». Арнальдо знал, что он кладет себе под голову три подушки, а запасная бутылочка с лекарством — не та, что он всегда носил в кармане,— стояла под рукой рядом с лампой. Дверцы шкафа с зеркалами внутри были распахнуты, и в зеркалах отражался портрет. Старые шлепанцы стояли возле кровати.

— Порядок! — сказал полковник, обращаясь к самому себе, потому что кроме портрета тут никого не было.

Он открыл бутылку, которая уже была откупорена, а потом старательно, любовно и аккуратно заткнута снова, и налил себе в бокал вина — таких дорогих бокалов обычно не подают в отеле, где стекло часто бьют.

— За твое здоровье, дочка,— сказал он.— За твою красоту, чудо ты мое! А ты знаешь, что, кроме всего, ты еще хорошо пахнешь? Ты замечательно пахнешь и тогда, когда дует сильный ветер, и когда лежишь под одеялом, и когда целуешь меня на прощанье. Ведь это так редко бывает, и ты к тому же не любишь духов.

Она поглядела на него с портрета, но ничего не сказала.

— К черту! — сказал он.— Не желаю я разговаривать с портретом!

Почему сегодня все вышло так нескладно? — думал он.

Это я виноват. Ну что ж, завтра постараюсь вести себя хорошо; начну с самого рассвета.

— Дочка, — сказал он, обращаясь уже к ней самой, а не к ее портрету, — пойми, я ведь тебя очень люблю, и мне, правда, хочется быть чутким и ласковым. И больше никогда от меня не уходи, пожалуйста.

Но портрет на это не откликнулся.

Полковник вынул из кармана изумруды и поглядел, как они льются из его раненой руки в здоровую, прохладные и в то же время теплые, потому что они вбирают тепло и, как всякие хорошие камни, хранят его.

Надо положить их в конверт и запереть, — думал он. — Но какая сволочь сохранит их лучше, чем я? Нет, надо поскорее вернуть их тебе, дочка!

Держать их в руке приятно. Да и стоят они не больше четверти миллиона. Столько, сколько я могу заработать за четыреста лет. Надо будет высчитать это поточнее.

Он положил камни в карман пижамы и прикрыл их сверху носовым платком. Потом застегнул карман. Первая предосторожность, к которой себя приучаешь, — думал он, — это чтобы на всех твоих карманах были клапаны и пуговицы. Я, кажется, приучился к этому слишком рано. Приятно, когда эти твердые и теплые камни прикасаются к твоей сухой, жилистой, старой и теплой груди. Он поглядел, как сильно дует ветер, еще раз взглянул на портрет, налил себе второй бокал вальполичеллы и стал читать парижское издание «Нью-Йорк геральд трибюн».

Надо бы принять таблетки, — подумал он. — А ну их к дьяволу, эти таблетки.

Но он все-таки принял лекарство и стал читать газету дальше. Он читал Реда Смита¹, как всегда, с большим удовольствием.

Глава шестнадцатая

Полковник проснулся перед рассветом и сразу же почувствовал, что в постели он один.

Ветер дул с прежней силой; полковник подошел к открытому окну, чтобы проверить, какая сегодня погода. На востоке по ту сторону Большого Канала еще не начинало светать, но все же было видно, как ветер разводит волну. Ну и прилив будет сегодня, — думал он. — Наверно, зальет площадь. Вот здорово! Только не для голубей.

Он пошел в ванную, захватив с собой «Геральд трибюн» со статьей Реда Смита и стакан вальполичеллы. Эх, хорошо, если Gran Maestro достанет большие fiaschi, — подумал он. — Это вино всегда дает такой осадок.

Он сидел с газетой в руках и раздумывал, что его сегодня ждет.

Сперва телефонный звонок. Правда, это может случиться не скоро, ведь она будет спать долго. Молодые рано не просыпаются, а красивые — и подавно. Рано она во всяком случае не позвонит, да и магазины открываются только в девять или еще позже.

¹ Спортивный обозреватель.

Ах ты черт, — подумал он, — ведь эти проклятые камни все еще у меня в кармане! Как можно делать такие глупости!

Ты-то знаешь, как, — сказал он себе, просматривая объявления на последней странице газеты. — Достаточно их наделал на своем веку. У нее это не сумасбродство и не прихоть. Просто ей так хотелось. Хорошо еще, что она на меня напала.

Вот и все, в чем ей со мной повезло, — раздумывал он. — А впрочем, я — это я, и ничего тут не попишешь. И кто его знает, к лучшему оно или к худшему. А как бы вам понравилось сидеть с такими драгоценностями в солдатском сортире, как я сидел чуть не каждое утро своей распроклятой жизни?

Вопрос его не был обращен ни к кому персонально, — разве что к потомкам вкупе.

Сколько раз по утрам ты сидел орлом бок о бок со всеми остальными? Это было самое неприятное. Это, да еще бриться на людях. А если отойдешь в сторонку, чтобы побыть в одиночестве, или о чем-нибудь подумать, или ни о чем не думать, найдешь надежное укрытие, — глядь, а там уже развалились двое пехотинцев или дрыхнет какой-нибудь малый.

В армии ты можешь рассчитывать на уединение не больше чем в публичном доме. Никогда не бывал в публичных домах, но, вероятно, там так же, как в воинской части. Я бы мог научиться командовать публичным домом, — думал он.

Главных завсегдатаев я бы возвел в ранг послов, а те, кто со своим делом не справляется, могли бы в мирное время командовать армейским корпусом или военным округом. Только не злись, дружище, — одернул он себя, — да еще в такую рань и когда ты не кончил всех своих дел.

А что бы ты сделал с женщинами? — спросил он себя. — Купил бы им по шляпке или поставил к стенке. Какая разница?

Он посмотрел на себя в зеркало, вправленное в полуоткрытую дверь ванной комнаты. Отражение было чуть-чуть смещено, словно снаряд, который отклонился от цели. И промазал. Эх ты, потасканная, старая кляча, — сказал он себе.

Теперь изволь побриться, — ничего, полюбишься на эту физиономию, не помрешь. Да и постричься пора. Здесь, в городе, это несложно. Ты же полковник. Полковник пехоты США. Тебе нельзя разгуливать с длинными патлами, как Жанна д'Арк или как тот красавчик кавалерист, генерал Джордж Армстронг Кэстер¹. А ведь неплохо быть таким красавчиком, иметь любящую жену и труху вместо мозгов. Но он небось усомнился, правильно ли выбрал профессию, когда дело дошло до развязки, на той высоте у Литл-Биг-горна, когда вокруг в тучах пыли, уминая копытами степной шалфей, кружили вражеские кони, а от жизни только и осталось, что знакомый, любимый запах черного пороха да солдаты, стреляющие в себя или друг в друга, чтобы не попасть в руки индианок.

Труп его был изуродован до неузнаваемости, как любили писать тогда в газете, которая сейчас тут лежит. Да, на той высоте он должно быть понял, что совершил большую ошибку — окончательную и непоправимую. Бедный кавалерист. Все его надежды рухнули сразу. Что и говорить, пехота имеет свои преимущества. В пехоте никогда ни на что не надеешься.

Ладно, — сказал он себе, — вот мы и кончили все наши дела, а скоро

¹ Джордж Армстронг Кэстер — американский генерал, был разбит со своим кавалерийским отрядом и убит в бою с индейцами у Литл-Биг-горна (1876).

будет светло, и я как следует разгляжу портрет. Будь я проклят, если я его отдам. Нет, его я оставлю себе.

Господи,— сказал он,— хоть бы посмотреть, как она выглядит сейчас, во сне. Но я знаю как,— сказал он себе.— Ах ты, чудо мое. Даже и не заметно, что спит. Будто прилегла отдохнуть. Дай-то бог, чтобы она отдохнула. Отдохнула получше. Господи, как я ее люблю и как боюсь причинить ей хоть малейшую боль.

Глава семнадцатая

Едва только начало светать, полковник увидел портрет. Он увидел его сразу — всякий цивилизованный человек, привыкший просматривать и подписывать бумажки, в которые он не верит, схватывает все с первого взгляда. Да,— сказал он себе,— глаза у меня еще есть и зоркость прежняя, а когда-то было и честолюбие. Недаром я тогда повел моих чертей в бой, где им так здорово всыпали. Из двухсот пятидесяти в живых осталось только трое, да и тем суждено просить милостыню где-нибудь на окраине до конца своих дней.

Это Шекспир,— объяснил он портрету.— Победитель и по сей день неоспоримый чемпион.

Кто-нибудь, может, и одолеет его в случайной схватке. Но я могу преклоняться только перед ним. Ты когда-нибудь читала «Короля Лира», дочка? Мистер Джин Танней¹ прочел и стал чемпионом мира. Я эту пьесу тоже читал. Военные, как ни странно, любят мистера Шекспира.

Что ты можешь сказать в свое оправданье? Ну, закинь хотя бы голову назад! — сказал он портрету.— Хочешь, я тебе еще расскажу про Шекспира?

Глупости, оправдываться тебе не в чем. Отдыхай, а там будь что будет. Все равно дело наше дрянь. Сколько бы мы с тобой ни оправдывались, ни черта у нас не выйдет. Но кто же заставлял тебя совать голову в петлю, как мы с тобой это делаем?

Никто,— ответил он себе и портрету.— И уж во всяком случае не я.

Он протянул здоровую руку и обнаружил, что коридорный поставил рядом с бутылкой вальполичеллы еще одну, про запас.

Если ты любишь какую-нибудь страну,— думал полковник,— не бойся в этом признаться! Признавайся.

Я любил три страны и трижды их терял. Ну, зачем же так? Это несправедливо. Две из них мы взяли назад.

И возьмем третью, слышишь ты, толстозадый генерал Франко? Ты сидишь на охотничьем стульчике и с разрешения придворного врача постреливаешь в домашних уток под прикрытием мавританской кавалерии.

Да,— тихонько повторил он девушке; ее ясные глаза глядели на него в раннем свете дня.

Мы возьмем ее снова и повесим вас всех вниз головой возле заправочных станций². Имейте в виду, мы вас честно предупредили,— добавил он.

¹ Джин Танней — бывший чемпион мира по боксу.

² Намек на казнь Муссолини, повешенного партизанами вниз головой возле заправочной станции.

— Портрет, — сказал он, — ну почему бы тебе не лечь рядом со мной, вместо того чтобы прятаться за восемнадцать кварталов отсюда? А может, и еще дальше. Я ведь теперь не так быстро считаю.

— Портрет, — сказал он и самой девушке и портрету; но девушки не было, а портрет оставался таким, каким его нарисовали.

— Эй, портрет, а ну-ка подними повыше подбородок, чтобы совсем меня погубить!

И все-таки это прекрасный подарок, — думал полковник.

— А маневрировать ты умеешь? — спросил он у портрета. — Быстро, не мешкая?

Портрет молчал, и полковник сказал: сам знаешь, что умеет. Какого же черта спрашивать? Она обойдет тебя запросто в твой самый удачливый день, займет рубеж и будет драться, а ты только слюни распустишь.

— Портрет, — сказал он, — дочка, сынок или моя единственная и настоящая любовь, или кто бы ты ни был. Ты ведь сам знаешь, кто ты.

Но портрет опять ничего не ответил. А полковник теперь снова был генералом и ранним утром, да еще с помощью вальполичеллы, знал все насквозь, он знал, словно трижды проверил по Вассерману, что в портрете нет никакой подлости, и стыдился, что нагрубил ему.

— Слышишь, портрет, я сегодня постараюсь быть таким хорошим, каких ты, черт побери, еще не видел. Можешь сообщить об этом своей хозяйке.

Но портрет, по обыкновению, молчал.

Небось с кавалеристом она держалась бы иначе, — думал генерал, — теперь у него уже было две звезды, они давили ему на плечи и белели на мутно-красной, потертой дощечке, прибитой к капоту его виллиса. Он никогда не пользовался ни штабными машинами, ни бронированными автомобилями, обложенными изнутри мешками с песком.

— Ну тебя к черту, портрет! И пусть тебе отпустит грехи вселенский поп, мастер по всем религиям сразу.

— Поди к черту сам, — сказал ему портрет, не разжимая губ. — Солдатское отребье!

— Что правда, то правда, — сказал полковник, который снова стал полковником, отказавшись от былых чинов и званий. — Я очень люблю тебя, портрет. Не надо меня обижать. Я очень тебя люблю за твою красоту. Но девушку я люблю больше, в миллион раз больше.

Девушка на полотне не откликнулась, и эта игра ему надоела.

— Ты скован по рукам и по ногам, портрет. Даже если тебя вынули из рамы. А я еще буду маневрировать.

Портрет молчал так же, как и тогда, когда его принес портье и с помощью второго официанта показывал полковнику и девушке.

Полковник посмотрел на него, и теперь, когда в комнате стало совсем — или почти совсем — светло, увидел, как он беззащитен.

Он увидел, что это портрет его единственной настоящей любви, и сказал:

— Прости меня за все глупости, которые я тебе наговорил. Мне ведь и самому не хочется быть хамом. Давай попробуем немножко поспать, вдруг нам это удастся, а там, глядишь, и твоя хозяйка позвонит нам по телефону.

Может, она, наконец, позвонит, — думал он.

Глава восемнадцатая

Посыльный просунул под дверь «Gazzetino», и полковник бесшумно поднял ее, как только она проскользнула в щель.

Он взял газету чуть ли не из рук посыльного. Он не выносил этого посыльного с тех пор, как, случайно вернувшись в номер, застал его за обыском своего чемодана. Полковник забыл бутылочку с лекарством и возвратился с полпути, а посыльный шарил у него в чемодане.

— В такой гостинице как-то неловко говорить «руки вверх!» — сказал полковник, — но вы, ей-богу, позорите свой город!

Человек в полосатом жилете, с мордой фашиста, только отмалчивался, и полковник его подзадорил:

— Валяй, уж досматривай до конца. Но военных тайн я в мыльнице не вожу.

С той поры они друг друга недолюбливали, и полковнику нравилось выхватывать утреннюю газету чуть ли не из рук человека в полосатом жилете — бесшумно, как только замечал, что газета появляется под дверью.

— Ладно, сегодня твоя взяла, хлюст ты этакий, — произнес он на отличном венецианском диалекте, что было ему не так легко в столь ранний час. — Чтоб тебе удавиться!

— Но такие не даются. Они знай себе суют под дверь газеты людям, которые уже не чувствуют к ним ненависти. Да, бывший фашист — это нелегкое ремесло. А может, он и не бывший, а настоящий? Почему ты знаешь?

Мне нельзя ненавидеть фашистов, — думал он. — И фрицев тоже, потому что, к несчастью, я военный.

— Послушай, портрет, — сказал он. — Разве я должен ненавидеть немца и как полковник и как человек? По-моему, это уж больно простое решение вопроса.

Ладно, портрет. Не думай об этом. Брось! Ты еще слишком молода, чтобы в этом разбираться. Ты на два года моложе той девушки, с которой тебя писали, а она и моложе и древнее самой преисподней, у этого местечка большое прошлое!

— Послушай, портрет, — сказал он и, говоря это, знал, что теперь у него до самой смерти будет с кем поговорить по утрам, когда проснешься. — Слушай, что я тебе говорю, портрет. К черту, ты ведь до этого еще не доросла. Такие мысли нельзя произносить вслух, как бы верны они ни были. Многого я так и не смогу тебе сказать, и, может, для меня это к лучшему. Пора, чтобы и мне хоть немножко было лучше. А как ты думаешь, портрет, что для меня лучше? Чего же ты приумолк, портрет? — спросил он. — Проголодался? Я, кажется, проголодался.

И он позвонил коридорному, который всегда приносил ему завтрак.

Он знал, что, хотя уже светло и на Большом Канале видна каждая свинцовая и выпуклая от ветра волна, а прилив нагнал много воды к причалу дворца прямо против окон его комнаты, — телефонного звонка он еще долго не услышит.

Молодые спят крепко, — думал он. — Им так и полагается.

— Почему мы стареем? — спросил он коридорного со стеклянным глазом, подавшего ему карточку.

— Откуда я знаю, полковник? Наверно, это закон природы.

— Да. И я так подозреваю. Глазунью. Чай и поджаренный хлеб.

— А из американских блюд ничего не хотите?

— К чертовой матери все американское, кроме меня самого. А Гран Маэстро уже пришел?

— Он достал для вас вальполичеллу в больших оплетенных флягах по два литра; вот я принес вам графин.

— Ну и человек,— сказал полковник.— Господи Иисусе, как бы я хотел дать ему полк.

— Вряд ли он возьмет.

— Да,— сказал полковник.— Мне и самому он совсем ни к чему.

Глава девятнадцатая

Полковник позавтракал неторопливо, как боксер, который после зверского удара слышит счет «четыре» и умеет за оставшиеся пять секунд дать отдых мышцам.

— Портрет,— сказал он,— тебе бы тоже не мешало дать отдых мышцам. Боюсь только, что вот это как раз тебе и не удастся. Мы тут ограничены тем, что зовут статическим началом в живописи. Пони-маешь, портрет, почти ни в одной картине,— я говорю о живописи,— нет движения; только некоторые художники это умеют. Очень немногие.

Я бы очень хотел, чтобы твоя хозяйка была здесь и принесла с собой движение. Откуда девушки, вроде тебя или нее, так много знают с самых ранних лет, и почему вы такие красивые?

У нас в Америке, если девушка хороша, она наверняка из Техаса и, если тебе повезет,— знает, какой нынче месяц. Но вот считают они все хорошо.

Их учат считать, держать колени вместе и накручивать локоны на бигуди. Как-нибудь, портрет, за свои грехи, если только у тебя есть грехи, попробуй поспать в одной постели с девушкой, которая закрутила волосы на бигуди, чтобы завтра быть покрасивее! Не сегодня, а именно завтра. Сегодня они никогда не стараются быть красивыми. А вот завтра — другое дело. Завтра надо выдерживать конкуренцию.

А Рената — то есть ты сама — спит, не думая о своих волосах. Они разметались по подушке, эти темные шелковистые волосы, для нее они всего-навсего надоедливая обуза,— их вечно забываешь расчесать, несмотря на причитания гувернантки.

Я так и вижу, как она идет по улице легким, размашистым шагом, ветер треплет ее волосы как хочет, а грудь приподнимает свитер, и потом я вижу ночи в Техасе, тягостные, словно натянутые на металлические бигуди.

— Не коли меня этими железками, любимая,— сказал он портрету,— а я уж тебе отплачу круглыми, полновесными серебряными долларами или чем-нибудь еще.

Опять грубишь,— подумал он.

И вдруг сказал уже совсем по-свойски:

— Ты так чертовски красива, что даже тошно. И к тому же с тобой непременно угодишь в тюрьму за растление малолетних. Рената все же старше тебя на два года. А тебе нет и семнадцати.

Почему она не может быть моей, почему я не могу любить ее и тешить, быть всегда добрым и ласковым, родить с ней пятерых сыновей, а потом разослать их во все пять концов света, где бы эти концы ни были? Не понимаю. Такая уж, видно, мне досталась карта. А ты не пересдашь ли мне, банкомет?

Нет. Карты сдают только раз, а ты их берешь и начинаешь играть.

И я бы мог выиграть, если бы вытянул хоть что-нибудь подходящее,— сказал он портрету, но тот не выказал никакого сочувствия.

— Портрет,— сказал он,— отвернись-ка лучше, будь поскромнее. Я сейчас приму душ и побреюсь,— тебе-то никогда не приходится бриться,— а потом надену военную форму и пойду пройдуся по городу, хотя сейчас еще очень рано.

И он вылез из кровати, осторожно ступив на раненую ногу, которая всегда болела. Он выключил раненой рукой настольную лампу. В комнате было достаточно светло, и он уже целый час зря жег электричество.

Он пожалел об этом,— полковник всегда жалел о своих промахах. Он обошел портрет, мельком взглянул на него и стал рассматривать себя в зеркало. Скинув пижаму, он стал разглядывать себя критически и непредвзято.

— Ах ты, искореженный старый хрыч,— сказал он зеркалу.— Портрет — прошлое. Настоящее — сегодняшний день.

Брюхо не торчит,— сказал он мысленно.— Грудь тоже в порядке, если не считать большой мышцы внутри. Ну что ж, кого на казньведут, того и повесят, а уже на радость или на горе — там видно будет.

Тебе уже полсотни лет, старый хрыч! Ступай-ка прими душ, хорошенько потрись мочалкой, а потом надень свою военную форму. Тебе ведь отпущен еще денек.

Глава двадцатая

Полковник подошел к конторке в вестибюле, но портье еще не было на месте. Дежурил ночной швейцар.

— Вы можете запереть одну мою вещь в сейф?

— Не могу, полковник. Никто не имеет права открывать сейф, пока не придет помощник управляющего или портье. Но у себя спрячу все, что хотите.

— Спасибо. Не стоит,— сказал полковник и положил адресованный на свое имя конверт со штампом «Гритти», где лежали камни, во внутренний левый карман тужурки.

— У нас тут настоящего воровства теперь не бывает,— сказал ночной швейцар. Ночь была долгая, и он был рад случаю перекинуться словом.— Да никогда и не было. Вот только убеждения бывают разные и политика тоже.

— А как у вас насчет политики? — спросил полковник; он тоже устал от одиночества.

— Да сами знаете, ни шатко, ни валко.

— Понятно. А ваше дело как идет?

— По-моему, хорошо. Может, не так хорошо, как в прошлом году. Но все же вполне прилично. Нас полюбили на выборах, и теперь надо немножко выждать.

— Но вы-то сами что-нибудь делаете?

— Как вам сказать. Политика ведь у меня скорее для души. То есть, умом я тоже в нее верю, да вот больно плохо развит.

— А ведь слишком большое развитие тоже вредно — души не остается.

— Может и так. А у вас в армии политикой занимаются?

— Еще как,— сказал полковник.— Но не в том смысле, в каком вы думаете.

— Ну, тогда нам лучше этого не касаться. Я вас выспрашивать не хотел.

— Да ведь это я у вас первый спросил, я сам начал разговор. Мы просто болтаем. Никто друг у друга ничего не выпрашивает.

— Конечно. Вы, полковник, на инквизитора не похожи. Я знаю про ваш Орден, хоть в нем и не состою.

— Вы можете стать членом-соревнователем. Я поговорю с Gran Maestro.

— Мы с ним из одного города, но совсем из разных районов.

— Город у вас хороший.

— Понимаете, полковник, я политически так плохо развит, что считаю всех порядочных людей порядочными.

— Ну, это у вас пройдет,— заверил его полковник.— Не беспокойтесь. Партия ваша молодая. Неудивительно, что вы впадаете в ошибки.

— Прошу вас, не надо так говорить.

— Рано утром можно и пошутить

— Скажите откровенно, полковник, что вы думаете о Тито?

— Разное. Но он мой ближайший сосед. А я не привык сплетничать о соседях.

— А мне хотелось бы знать...

— Узнаете на собственной шкуре. Разве вы не понимаете, что на такие вопросы не отвечают?

— А я надеялся, что отвечают.

— Зря,— сказал полковник.— Во всяком случае, в моем положении. Могу вам только сказать: забот у мистера Тито немало.

— Ну, это я уже понял,— сказал ночной швейцар. Он и в самом деле был еще мальчишка.

— Еще бы,— сказал полковник.— Мудрости тут особой не нужно. Ну пока, мне надо пройтись — для пищеварения и вообще.

— До свидания, полковник. *Fa brutto tempo*¹.

— *Bruttissimo*²,— сказал полковник; затянув потуже пояс плаща, расправив плечи и обдернув полы, он переступил порог и вышел на улицу, где гулял ветер.

Глава двадцать первая

Полковник спустился в гондолу, которая за десять центезими перевозила пассажиров через Канал, заплатил сколько положено грязной ассигнацией и смешался с толпой людей, осужденных всю жизнь подниматься чуть свет.

Он оглянулся на гостиницу «Гритти» и увидел окна своей комнаты; они все еще были открыты настежь. Дождем не пахло, но дул все тот же резкий, порывистый, холодный ветер с гор. Люди в гондоле посинели, и полковник подумал: вот бы выдать всем по такому ветронепроницаемому дождевику, как у меня. Господи, любой офицер, носивший такой дождевик, знал, что от дождя он не спасает; любопытно, кто на этом наживается?

Настоящий дождевик вода не примет. А наши протекают всю, зато какой-нибудь ловкач наверно пристроил сынишку в Гротон, а, может, в Кентербери, где учатся отпрыски крупных военных поставщиков.

Кому из моих собратьев-офицеров он сунул в лапу? Кто у нас в армии берет взятки? Наверно, не один. Наверно,— подумал полков-

¹ Погода сегодня мерзкая (итал.).

² Премерзкая (итал.).

ник,— их очень много. Ты, кажется, еще не проснулся как следует, уж больно ты разоткровенничался. Но от ветра они все-таки защищают. Дождевики! Дождевики, держи карман шире!

Гондола подошла к причалу на другой стороне канала, и полковник стал наблюдать, как одетые в черное люди выбираются из черной плавучей колымаги. Какая же это колымага? — подумал он.— У колымаги должны быть колеса или, на худой конец, гусеницы.

Какая ерунда лезет в голову,— думал он.— Особенно сегодня утром. Но помню, и у меня бывали здравые мысли, когда игра шла ва-банк.

Он попал в дальнюю часть города, которая прилежала к Адриатике,— эти кварталы он любил больше всего. Шагая по узенькой улочке, он решил не считать, сколько пересек переулков и мостов, а потом сориентироваться и выйти прямо к рынку, не попав ни разу в тупик.

Это была такая же игра, как для других людей — пасьянс. Но она имела то преимущество, что, играя в нее, вы двигаетесь и любуетесь домами, городским пейзажем, лавками, тратториями¹ и старинными дворцами Венеции. Если любишь Венецию, это отличная игра.

Да, это своего рода *solitaire ambulante*², а выигрываешь радость для глаз и для сердца. Если доберешься в этой части города до рынка, ни разу не сбившись с пути, игра твоя. Но нельзя облегчать себе задачу и вести счет переулкам и мостам.

По другую сторону канала игра заключалась в том, чтобы, выйдя из дверей «Гритти», попасть, не заблудившись, прямо на Риальто через *Fondamente Nuove*.

Оттуда можно было подняться на мост, перейти через него и спуститься к другому рынку. Рынки полковник любил больше всего. В каждом городе он первым делом осматривал рынки.

Тут он услышал, как двое юнцов у него за спиной прощаются на его счет. Он определил их возраст по голосу, не оглядываясь, и старался на слух сохранить дистанцию, ожидая поворота, чтобы обернуться и посмотреть, что это за птицы.

Они идут на работу,— решил он.— Может, это бывшие фашисты, а может, кто-нибудь еще, а может, просто любители почесать язык. Но они говорят обо мне обидно. И дело вовсе не в том, что я американец,— им не нравлюсь я сам, моя седина, то, что я прихрамываю, мои походные сапоги. (Молодчикам такого сорта удобные походные сапоги не нравятся. Они любят сапоги с подковками, которые гулко стучат по плитам мостовой и блестят, как зеркало).

Вот и мой плац, на их взгляд, мешковат. А теперь они толкуют о том, почему это я вышел в такую рань, и готовы голову прозакладывать, что я уже не мужчина.

Дойдя до угла, он круто свернул налево, посмотрел, с кем ему предстоит иметь дело, и смерил разделявшее их расстояние, а когда юнцы огибали угол, образуемый апсидой церкви Фрари, полковник как сквозь землю провалился. Он стоял в мертвом пространстве, за апсидой старинной церкви; услышав, что они подошли вплотную, он выступил вперед, засунув кулаки в карманы дождевика, и повернулся к ним — он сам, и дождевик, и два кулака в карманах.

Они остановились, и полковник поглядел им обоим в глаза, и его улыбка была похожа на оскал мертвеца — старый испытанный при-

¹ Харчевня (итал.).

² Бродячий пасьянс.

ем. Потом он посмотрел им на ноги, — таким типам всегда смотришь на ноги, ведь они носят слишком узкие ботинки, и если их снять, увидишь одни мозоли. Не говоря ни слова, полковник сплюнул.

Оба молодчика — да, они и в самом деле фашисты — смотрели на него с ненавистью и с каким-то еще чувством. Затем они снялись с места, как болотные птицы, вскидывая ноги, будто цапли, и в то же время напоминая чем-то ибисов в полете; они то и дело злобно оглядывались, надеясь оставить за собой последнее слово, когда отойдут достаточно далеко.

Жаль, что их было не десять на одного, — подумал полковник. — Тогда они, пожалуй, и решились бы на драку. Впрочем, что их винить, — ведь они побежденные.

Но вели они себя совсем неподобающе с человеком моего звания и возраста. И потом глупо думать, что ни один полковник пятидесяти лет от роду не поймет их языка. И еще глупее думать, что старый пехотинец не захочет драться рано поутру при таком небольшом перевесе у противника, как два к одному.

Мне было бы неприятно драться в этом городе, ведь я так люблю здешний народ. Я бы этого не хотел. Но разве не могли эти дурно воспитанные юнцы сообразить, на кого они нарвались? Разве они не знают, откуда у человека берется такая хромота? Разве они не могли разглядеть другие признаки, по которым узнаешь старых фронтовиков так же безошибочно, как рыбака — по шрамам на ладонях, которые прорезала бечева с большой рыбой?

Правда, они видели только мою спину, мою задницу, ноги и сапоги. Но они могли узнать меня по походке. Или, может, походка у меня изменилась? Впрочем, когда я посмотрел на них и подумал — конец вам обоим! — они меня как будто поняли. Поняли как нельзя лучше.

Чего стоит человеческая жизнь? У нас в армии — десять тысяч долларов, если ты застрахован. К чему это я? Ах да, я как раз думал об этом, когда появились эти хлюсты; я думал о том, сколько денег сберег на своем веку моему правительству, пока всякое жулье опустошало казенную кормушку.

Да, — сказал он себе, — а сколько ты пустил по ветру в тот раз у Шато, считая по десять косых за голову. Ну, никто этого, кажется, так и не понял, кроме тебя самого. А сейчас незачем им и объяснять. Начальство любит все сваливать на военную удачу. В армии знают, что на войне бывает всякое. Поступай, как приказано, не считаясь с потерями, — вот ты и герой.

Господи, — подумал он, — посылать людей на убой мне совсем не по нутру. Но когда получаешь приказ, приходится его выполнять. Ошибки — вот что не дает тебе потом покоя. Но какого черта о них вспоминать! От этого никому еще не было легче. Да только иной раз мысли к тебе как привяжутся... Привяжутся так, что не отвяжешься.

Гляди веселей! — подумал он. — Не забудь, какой при тебе капитал, а ты чуть было не впутался в драку. Если бы тебе попало, они бы непременно обшарили твои карманы. Ты уже не можешь бить наповал этими руками, а оружия при тебе нету.

Вот и нечего напускать на себя меланхолию, малый. Малый или старый, или полковник, или неудавшийся генерал. Мы уже почти дошли до рынка, а ты и не заметил.

Однако плохо не замечать, что вокруг тебя делается, — добавил он про себя.

Глава двадцать впорая

Он любил этот рынок. Здесь негде было яблоку упасть, люди теснились даже в соседних улочках, давка стояла такая, что трудно было не толкнуть кого-нибудь ненароком, и всякий раз, как ты оставался поглазеть, купить или просто прицениться, ты создавал *îlot de resistance*¹ перед фронтом утренней атаки покупателей.

Полковник любил разглядывать огромные, высоченные груды сыра и больших колбас. У нас в Америке воображают, будто *mortadella* это сосиски,— подумал он.

Он сказал женщине в палатке:

— Дайте мне, пожалуйста, попробовать кусочек этой колбасы. Со всем маленький.

Она сердито и вместе с тем бережно отрезала ему тонкий, как бумага, ломтик, и, когда полковник его попробовал, он почувствовал отдающий дымком вкус проперченной свинины; этих кабанов откармливали в горных лесах желудями.

— Я возьму двести пятьдесят граммов.

Завтраки, которыми барон кормил охотников, были спартанскими, и полковник уважал этот обычай, зная, что на охоте наедаться не следует. Но он решил, что может добавить к завтраку эту колбасу и поделиться ею с лодочником и егерем. Гончая Бобби тоже получит свой ломтик,— зря, что ли, ей мокнуть до костей, ведь, даже дрожа от холода, она работает на совесть.

— А лучше колбасы у вас нет? — спросил он у женщины.— Какой-нибудь еще,— из тех, что вы держите под прилавком для постоянных покупателей?

— Лучше этой не бывает. Другая есть, сами знаете. Но эта лучше всех.

— Дайте мне полтора грамма пожирнее и без перца.

— Это можно,— сказала она.— Еще не вылежалась как следует, но как раз то, что вам нужно.

Эта колбаса предназначалась для Бобби.

В Италии, где худшее преступление — прослыть дураком и где столько людей голодает, лучше и не заикаться, что вы покупаете колбасу для собаки. Можно скормить ей кусок дорогой колбасы на глазах у рабочего человека, который знает, почему фунт лиха и каково собаке в воде зимой. Но никто не объявляет во всеулышание, для чего покупается эта колбаса. Кроме дураков или миллионеров, нажившихся на войне и послевоенных трудностях.

Полковник расплатился и продолжал свой путь через рынок, вдыхая аромат жареного кофе и разглядывая залитые жиром туши в мясном ряду, словно наслаждался полотнами фламандских мастеров,— имен их никто не помнит, но они с поразительной точностью изобразили в красках все, что можно застрелить или съесть.

Рынок сродни хорошему музею вроде Прадо или Академии,— подумал полковник.

Переулком он вышел в рыбные ряды.

Здесь прямо на осклизлых каменных плитах или в корзинах и ящиках с веревочными ручками лежали тяжелые зеленовато-серые омары с темно-кирпичным отливом, предвещавшим близкую смерть в кипятке. Всех их изловили предательским образом,— подумал полковник,— вот и клешни им даже связали.

Были здесь небольшие камбалы, несколько тунцов и пелагиды.

¹ Очаг сопротивления (франц.).

Эти большеглазые рыбы морских глубин сохраняют достоинство даже в смерти; они похожи на мину с хвостом,— подумал полковник.

Их бы никогда не поймали, не будь они такими прозорливыми. Несчастные камбалы для того и живут на мелководье, чтобы кормить человека. А эти блуждающие мины держатся в глубине синих вод и большими стаями странствуют по морям и океанам.

Чего только не приходит тебе в голову,— подумал он.— Посмотрим, что тут есть еще...

Было здесь великое множество угрей, еще живых, хоть они и потеряли всякую веру в свое первородство. Были здесь и сочные рачки, из которых готовят *scampi brochetto* (они с шипением жарятся на остром вертеле вроде рапиры, который в Бруклине пригодился бы для колки льда). Были тут небольшие креветки, серые с молочным отливом,— они тоже ждали своей очереди, чтобы попасть в кипяток и обрести бессмертие; их легкую скорлупу понесет отлив по Большому Каналу.

Проворная креветка, чьи щупальцы длиннее усов того старого японского адмирала, приходит сюда, чтобы отдать нам свою жизнь,— подумал полковник.— О, христианнейшая креветка, мастер отступления, у тебя ведь такая прекрасная разведка — эти две тоненькие антенны впереди, почему они не донесли тебе, как опасны огни и сети?

Наверно, по недосмотру,— ответил он себе.

Он глядел на горы маленьких моллюсков с острыми, как бритва, створками раковин,— их непременно надо есть сырыми, если у вас еще действует прививка против брюшного тифа.

Он обошел весь ряд, остановился возле одного из продавцов и спросил, где поймали этих моллюсков. Их поймали в хорошем месте, куда не спускают сточных вод, и полковник попросил вскрыть ему полдюжины. Выпив сок, он вырезал мякоть, соскоблив ее кривым ножом, который вручил ему продавец. Тот передал ему нож, зная по опыту, что полковник вырежет мякоть лучше, чем он сам.

Полковник заплатил продавцу какие-то гроши — но куда больше, чем те гроши, которые достались рыбакам, выловившим моллюсков,— а затем подумал: взгляну-ка я еще на речных рыб, и пора возвращаться в гостиницу.

Глава двадцать претвья

Полковник вернулся в «Гритти Палас». Он расплатился с гондольерами и вошел в вестибюль, тут ветра не было.

Провести гондолу от рынка вверх по Большому Каналу можно было только вдвоем. Оба гондольера потрудились вовсю, и полковник заплатил им как положено, и даже несколько больше.

— Мне никто не звонил? — спросил он дежурного портье.

Портье — умный, подвижной блондин с острым лицом — был неизменно вежлив, но без всякой угодливости. — Он скромно носил на лацканах синей ливреи эмблему своей должности — скрещенные ключи. Хотя и был портье. По званию — вроде капитана, — думал полковник. — Офицер, но не из благородных. В прежние времена был бы старшим сержантом; правда, дело ему приходится иметь только с высоким начальством.

— Сударыня уже звонила два раза, — сказал портье по-английски.

Так принято называть язык, на котором мы все говорим, — подумал полковник. — Ну что ж, давайте звать его английским. Это, пожалуй, все, что у нас от них осталось. Можно сделать им любезность и сохранить старое название. Хотя Стаффорд Криппс¹, наверно, и язык скоро будет выдавать по карточкам.

— Будьте добры, соедините меня с ней поскорее, — сказал он портье.

Портье принялся набирать номер.

— Вы можете поговорить отсюда, полковник, — сказал он. — Я вас уже соединил.

— Быстро!

— Пройдите в кабину, — сказал портье.

Войдя в кабину, полковник снял трубку и по привычке сказал:

— Полковник Кантуэлл слушает.

— Ричард, я звонила два раза. Но мне сказали, что ты ушел. Где ты был?

— На рынке. Ну как ты, прелесть моя?

— Все еще спят, и нас никто не слышит. Поэтому — да, я твоя прелесть. Что бы это ни значило.

— Хорошо спала?

— Мне снилось, что я скользя в темноте, как на лыжах. Может, и не на лыжах, но в темноте.

— Правильно, это и должно было тебе присниться. Почему ты так рано проснулась? Ты даже перепугала нашего портье.

— Наверно, это нескромно, но скоро я тебя увижу? И где?

— Когда и где хочешь.

— Камни еще у тебя? Приятно ты провел время с мисс Портрет?

— Да. И снова да. Камни у меня в верхнем левом кармане, а карман застегнут. С мисс Портрет мы болтали поздно ночью и рано утром, она мне очень скрасила жизнь.

— Ты ее теперь любишь больше, чем меня?

— По-моему, я пока еще человек нормальный. А может, это одно хвастовство. Она очень красивая.

— Где мы встретимся?

— Давай позавтракаем в кафе «Флориан», на правой стороне площади. Площадь, наверно, залило водой, интересно будет поглядеть.

— Хочешь, я приду туда через двадцать минут?

— Хочу, — сказал полковник и повесил трубку.

Он вышел из будки, и вдруг ему стало плохо, а потом показалось, будто дьявол загнал его в железную клетку — в Железную Деву, а может, в Железное Легкое; лицо у него посерело, он еле доплелся до конторки портье и сказал ему по-итальянски:

— Доменико, будьте добры, дайте воды.

Портье ушел, а он привалился к конторке, с трудом переводя дух. Он стоял неподвижно, не теша себя никакими иллюзиями. Портье принес стакан воды, и полковник принял четыре таблетки вместо положенных двух, по-прежнему не шевелясь, как усталый ястреб.

— Доменико, — позвал он.

— Да?

— У меня тут в конверте одна вещь, прошу вас, положите ее в сейф. Ее могут потребовать у вас либо я сам, лично или письменно,

¹ Криппс Ричард Стаффорд — английский политический деятель, лейборист министр в послевоенном кабинете Эттли (1889—1952).

либо та особа, с которой вы меня только что соединяли по телефону. Дать вам письменное распоряжение?

— Нет. Это ни к чему.

— Ну, а если с вами что-нибудь приключится? Вы ведь тоже не бессмертны, а?

— Да, наверно,— сказал портье.— Но я все это запишу, а кроме меня есть еще управляющий и его помощник.

— И оба люди хорошие,— признал полковник.

— Вы бы присели, полковник.

— Не хочу. Кто же позволяет себе расслаживаться, кроме ничемных стариков и старух в дешевых мебелирашках? Вы разве сидите?

— Нет.

— Я могу передохнуть стоя или приткнувшись к любому воющему дереву. Мои соотечественники вечно присаживаются или просто валяются. И чтобы заглушить свое нытье, жуют укрепляющие галеты.

Он говорил без умолку, стараясь поскорее прийти в себя.

— Неужели у вас продают такие галеты?

— Факт. В них кладут какое-то снадобье, чтобы вы не волновались. Вроде атомной бомбы обратного действия.

— Что-то не верится!

— Ну, у нас есть такие военные тайны, что о них только генеральские жены друг другу рассказывают! Укрепляющие галеты это из них еще самая безвредная! Следующий раз мы засыпем всю Венецию бактериями с высоты 56 тысяч футов. И ничего против этого не поделаешь,— сказал полковник.— Они тебе сибирскую язву, а ты им другую заразу!

— Но это ужасно!

— Просто кошмар,— заверил его полковник.— Невиданный и неслыханный. Об этом сообщали в печати. Но зато вы в это время сможете поймать по радио принцессу Маргарет, она вам споет американский гимн. Думаю, что это мы устроим. Голос у нее, я бы не сказал, что большой. В свое время не такие слышали. Но теперь ведь кругом жульничество. Радио само делает голоса. А гимн «Звездное знамя» — он вас поддержит почти до самого конца.

— Вы думаете, они и в самом деле на нас что-нибудь сбросят?

— Что вы! Когда же они это делали?

От гнева, от боли, от чувства беспомощности полковник вел себя так, будто он — генерал армии, но, приняв таблетки, почувствовал облегчение и сказал:

— Сiao, Доменико!

Выйдя из отеля, он подсчитал, что ему нужно двенадцать с половиной минут, чтобы добраться до кафе, где он встретится с Ренатой; впрочем, она, наверно, чуть опоздает. Он шел осторожно, не ускоряя шага. Но мосты ему все равно давались с трудом.

Глава двадцать четвертая

Точно в назначенное время Рената сидела за столиком. В резком утреннем свете, который падал на залитую водой площадь, она была все такой же красивой. Она сказала:

— Ричард, сядь. Тебе нехорошо? А?

— Ну что ты! — сказал полковник.— Чудо ты мое!

— Ты обошел все наши любимые места на рынке?

- Нет, не все. Я не ходил туда, где продают диких уток.
- Спасибо.
- Не за что,— сказал полковник.— Я никогда туда не хожу без тебя.
- Ты думаешь, мне не надо ехать на охоту?
- Нет. Безусловно, нет. Если бы Альварито хотел, он бы тебя пригласил.
- Он мог меня не пригласить именно потому, что этого хотел.
- Верно,— сказал полковник, обдумывая эту догадку.— Что будешь есть?
- Тут очень невкусно кормят утром, и потом я не люблю площадь, когда она затоплена. У нее такой унылый вид, и голубям некуда сесть. Весело бывает попозже, когда дети прибегают играть. Пойдем завтракать в «Гритти»?
- Тебе туда хочется?
- Да.
- Ладно. Позавтракаем там. Я, правда, уже поел.
- Да ну?
- Я выпью кофе с горячими слойками, а если есть не захочется, хотя бы в руках подержу. Ты очень голодна?
- Ужасно,— призналась она простодушно.
- Тогда мы проделаем всю процедуру как следует. Тебе от одного слова «завтрак» станет противно.
- Когда они шли, ветер дул им в спину и развевал ее волосы веселее, чем знамя; держа его крепко за руку, она спросила:
- А ты меня еще любишь при резком холодном свете венецианского утра? Он ведь, правда, такой резкий и холодный, да?
- Я люблю тебя, хотя он и резкий, и холодный.
- Я любила тебя всю ночь, когда бежала в темноте на лыжах.
- Как же тебе это удавалось?
- Лыжня была такая, как всегда, но только кругом темно и снег не светлый, а темный. А идешь на лыжах обыкновенно: не торопясь, легко.
- И ты бежала на лыжах всю ночь? Сколько же ты прошла?
- Нет, не всю. Потом я крепко спала, а когда проснулась, мне было хорошо. Ты лежал рядом и спал, как ребенок.
- Я не был рядом с тобой, и я не спал.
- Но сейчас ты со мной,— сказала она и прижалась к нему еще крепче.
- И мы уже почти дошли.
- Да.
- А я тебе уже говорил, что я тебя люблю?
- Говорил, но скажи еще раз.
- Я люблю тебя,— сказал он.— Говорю тебе это прямо и официально.
- Говори, как хочешь, если только это — правда.
- Молодец,— сказал он.— Ты добрая, славная и красивая девушка. Повернись-ка тут на мосту, в профиль, и пусть ветер треплет твои волосы.
- Ну это легко,— сказала девушка.— Вот так?
- Он посмогнул, увидел ее профиль, утреннюю свежесть кожи, грудь, приподнимающую черный свитер, и глаза, прищуренные от ветра, и сказал:
- Да, так.
- Ну и слава богу,— сказала она.

Глава двадцать пятая

Gran Maestro посадил их за столик у окна, выходявшего на Большой Канал. В ресторане кроме них никого не было.

Вид у Gran Maestro с утра был здоровый и праздничный. По утрам он забывал о своей язве, да и о сердце также. Когда у него ничего не болело, он старался не думать о боли.

— Мой товарищ рассказывает, что ваш рябой соотечественник завтракает в постели,— поведал он полковнику.— Сюда, правда, могут прийти несколько бельгийцев. «Храбрейшие из них были белги»,— процитировал он.— Есть у нас тут и парочка pescesani; сами знаете, откуда их принесло. Но они переутомились, и, по-видимому, будут есть, как свиньи, у себя в номере.

— Отлично доложили обстановку,— сказал полковник.— Проблема, которую нам надо решить, Gran Maestro, состоит в том, что я уже поел у себя в номере, как тот щербатый и ваши pescesani. А вот эта дама...

— Молодая девушка,— поправил его Gran Maestro, улыбаясь во весь рот. Настроение у него было хорошее — день только начинался.

— Эта молодая девушка хочет так позавтракать, чтобы никогда уже больше к этому не возвращаться.

— Понятно,— сказал Gran Maestro; он поглядел на Ренату, и сердце у него в груди перекувырнулось, как морская черепаха в океане. Редкостное ощущение, мало кому на этом свете удается его пережить.

— Что ты будешь есть, дочка? — спросил полковник, любуясь ее утренней, ничем не прикрашенной смуглой красотой.

— Все подряд.

— Может, ты все-таки уточнишь?

— Чай вместо кофе и все, что Gran Maestro удалось для меня припасти.

— Старыми запасами, дочка, я вас кормить не буду.

— Дочкой зову ее только я.

— Я это сказал от души. Мы можем приготовить почки, зажаренные с шампиньонами. Грибы собрали люди, которых я хорошо знаю. Или вырастили у себя в сыром погребе. Могу подать омлет с трюфелями — их вырыли очень благородные свиньи. И канадскую грудинку, полученную по случаю из самой Канады.

— Все равно откуда,— сказала девушка улыбаясь и не теша себя пустыми иллюзиями.

— Все равно откуда,— серьезно повторил полковник.— Я-то уж знаю, откуда. Ну ладно, пошутили и хватит. Давайте теперь поедем.

— Если это не очень нескромно, я и сама на прочь.

— А мне принесите флягу вальполичеллы.

— И больше ничего?

— Порцию грудинки, если она и вправду из Канады.

Он поглядел на девушку, потому что теперь они остались одни, и сказал:

— Ну, как ты, прелесть моя?

— Наверно, я очень хочу есть. Но спасибо тебе за то, что ты сегодня добрый так долго.

— Мне это было не трудно,— объяснил полковник по-итальянски.

Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова

(Окончание следует)



СЕРГЕЙ СМИРНОВ
СВЯТОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Сергею Васильеву

Не могу, при всем своем
старанье,
Согласиться, — бог меня прости! —
Что чрезмерно частые собранья
Помогают творчески расти.

Почему?
Да есть на то причины,
Перечислить их
не долгий труд:
То доклад зело велеречивый,
То от прений
даже мухи мрут.

Выступают те же златоусты,
Что и в предыдущие разы,
И жуют
из области искусства
Никому не нужные азы.

А иной
достопочтенный некто,
Захватив на прения лимит,
Не без театрального эффекта,
Активистов Бахуса клеймит.
Пить вино —
занятие тупое.
Нам не нужно практики тупой.
Но, помимо вредного запоя,
Есть священный
творческий запой.

Это
вид особого недуга,
При котором хочется скорей
Даже от единственного друга
Убежать
за тридевять дверей.
Окруженный прочными стенами,
Сам не свой
от головы до пят,
Ты кипишь — сие бывает
с нами! —
Как в мятежной юности кипят.

Над тобою
лампочка в зените —
Верная соратница твоя.
Ты один,
а сетью кровных нитей
Связан с океаном бытия.

В сердце зажигательная искра,
И бурлит работа над строкой!
У тебя,
как у премьер-министра,
Все пружины власти под рукой.

И сквозят
в чертах стихотворенья
Ветер жизни, прущий напролом,
И твое
особое горенье
За отдельным
письменным столом.

ПОЭТ

Николаю Грибачеву

Жесткие,
ухватистые,
скорые,
Прикипают пальцы к кирпичу:
Строит
для себя
и для Истории,
И ему Эпоха по плечу...

У другого же — своя история:
То шипит
на Время,
как гусак,
То корпит над творчеством,
которое
Можно толковать
И так,
И сяк.

ВЫСТРЕЛ

Б. И.

Я разбужен был криком
грачиным,
Листья зябко роняли росу.
По совсем непонятным причинам
Кто-то
выстрелил
в сонном лесу.
Сразу стих соловей на опушке.
Онемела в овраге вода.
Замолчали призывы кукушки
И беспечная
флейта
дрозда.

И казалось, на все Подмоскowie
Вновь обрушится
грохот ружья,
А вернулись минуты покоя
В беспокойные наши края.
И цветы запестрели красиво.
И усилился
ливень лучей.
И с певцами лесного массива
Зазвенел
родниковый ручей.

Трибуна

В. Н.

Читал поэт свои творенья,
Неукоснительно читал:
Гудел он, как столпотворенье,
Гремел, как в кузнице металл,
Орал, как громкоговоритель,
Трубил, как медная труба.

Но все равно
широкий зритель
Зевал и тер морщины лба...
А есть
совсем другое чтение,

Где страстность тоже горяча,
Но где имеют предпочтенье
Сказать о главном
не крича,
Где автор
смотрит
добрым малым
И полон резкости земной,
Где он —
в контакте
с целым залом
И обязательно — со мной.

Восхождение

Иосифу Игину

Я целиком приветствую
сужденье,
Что интересна
трудность восхождения.
Идешь, как черт, навьюченный
поклажей.
Тебе в пути
подчас не до пейзажей.
Тебя доводит до изнеможенья
Высотное земное притяженье.

Но ты идешь, назло
похолоданиям,
Воюешь
с кислородным голоданием.
И вот
уже — рукой подать
до места
На царственной
Макушке
Эвереста!



ВЛАДИМИР ЦЫБИН

ЩЕДРОСТЬ

ЗЕМЛЯ

Насквозь пропахшая брусничкой,
вся — вешний свет и синева,
пускающая вслед за дымкой
гусей в зенит — из рукава,
спеленутая облаками,
когда в лога ушла зима, —
ты отмякала под руками,
моя зеленая земля.
В забое с глиной и водою
ты мне за шиворот текла,
была болезнью и бедою,
но мачехою не была!
И это — так!
Ты в ранней рани
не для меня ль в крутую мглу
пускала зори снегирами,
кружила тонкую пчелу?
Не ты ль язей у переката
выплескивала в звезду?
Пусть ты кругла,

пусть ты поката,
пусть крутишься, — не упаду,
не заблужусь в густом тумане!..
И я, земля, тебя одну
возьму с собою в звездоплане
в космическую целину.
В безветрии миров и в холод
твой каждый куст,
твой каждый ком,
твой каждый холмик и пригорок
мне будет верным маяком.
Через века, через просторы
пахнут в лицо мне за кормой
и Млечный путь,
и метеоры,
и звезды — талою землей!
Я, отданный во власть движенью,
в который раз — в косом дыму
пойму земное притяженье,
что я — твой сын, земля, пойму!

ХОЗЯЙКА СТВОЛА

Дело шахтерское — ей не внове:
крепко сбита, пасмурна,
тяжела,
она, насупив хмурые брови,
возле ствола —
хозяйка ствола.
Темнеют и тлеют под глазами
следы бессонницы
у нее.
Волкий ее окликает:
Саня,
Саня Тимофеевна, почтенье мое!
Что и говорить — девка крутая!
Ходит за Санькой бедой молва:

— Ну и силенка,
ого-го какая!
Забойщики покрякивают:
— Какова!
И вправду такую попробуй
тронь-ка!
Такой не перечь на пути,
толкнет вагонетку рукой
легонько —
и вагонетка сама в клетки!
А под спецовкой
в белом прогале
дышит еле
теплый ложок...

Встанет Санька —
и под ногами
горбятся ямины от сапог...
И Егор Медовин,
парень тертый,
давний сердцеед,
резвел с утра,
остерегался Саньки:

— Ну ее к черту,
стоит у ствола
не баба — гора!

А Санька угрюмо
в глазах гасила
под завалом бровей
огонь голубой:
— Вот что, браток,
не добром, так силой,
если выпил,
не пущу в забой.

А дома, лицо закрыв

руками,
засиживается Санька
у окна молчком,
все думает:
сердце-то ведь не камень,
лучше бы я родилась мужиком!
И темнеет она,
и все ждет чего-то,
и все смотрит, все смотрит
в седую рань,
и берет
отцовский баян с охотой.
— А ну, баян,
веселую пробалнь!

И баян в ладонях
замрет не скоро.
А Санька вновь
не пасмурна — весела.
И невестам своим
говорят шахтеры:
— Нашу играет
хозяйка ствола!

* * *

Жа горе синей
над Волчьим хребтом
увалень сытый —
отлежался гром.
Трава лежала
на хвором боку,
охнула — встала
в самом соку,
и красные клювы
вытянули клюквы.
Хошь не хошь,
трожь не трожь —
все равно подавит
клюкву дождь!
Все равно сыпкий
ударит град
по спелым цыпкам
первых утят,
по кочкам,
по шишкам,
по голым лодыжкам
ходких грибов!

Бруснике алой
не цвеств у леска...

Где же ты, Анна,
дочь лесника?
Мечтала ты, Анна,
молчком, тайком
о дальних странах —
за Волчьим хребтом.
Мелели туманы,
вдаль маня...
Где же ты, Анна,
боль моя?

Облака опали,
громом обкатаны.
За чужого парня
тебя усватали.

А когда о ставни
трется дождь —
о чем мечтаешь,
что поешь?

Говорят — якобы
в дальних краях
выгорают ягоды
в лопухах.

АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ

ЖЕНЩИНА С КОРЗИНОЙ ЯБЛОК

А в лебедé травинки зябнут,
А в лебединых крыльях дрожь,
Когда с корзиной, полной яблок,
Ты, босоногая, идешь.

А петухам заря припелась,
А окуням наснилась вода,
Когда сама земная зрелость
Проносит праздничную плоть.

А бабы зарятся ревниво,
А бабам очи застит страх.
И луны белого налива
Восходят на твоих плечах.

И парни, встретясь, тихо охнут,
Расступится честной народ.
Но брови черные не дрогнут,
И яблоко не упадет.

УХОД ЛЕТА

К ачая теплыми плечами
Над позднеспелую травой,
Ты ворожила над цветами,
Приговоренными тобой
Цвести последним цветом лета.
До зорь прохладных сентября.
Качалась в венчике нагретом
Пчелой не снятая заря.
И было слышно, как над степью
Немая прорастала жуть,
Как поднималась в каждом стебле
По жилкам солнечная ртуть.

Доярка, знатная, степная,
Ты шла не этой ли тропой,
Где шли быки на водопой,
Легко в копытный след ступая,
Легко большую грудь вздымая,
Ты шла над позднею водой.

Ты проходила. В знобком страхе,
В слепом предчувствии беды,
Уже осенним пням на плахи
Роняли головы цветы,

Уже над вылинявшим ставом,
Над журавлиною тоской

Трубила сгубленная слава,
Стоял, сняв шапку, месяц твой.
К экватору спешило лето,
Как будто к свадьбе золотой.

Как будто здесь он стал чужой,
Тот август Азии большой,
Как будто чья-то песня спета
Над этой тихой водой...
Ты уходила...
Ксения, Ксения,
Как тяжелы твои следы!
Так после позднего цветенья
Грузнеют поздние плоды.
И, словно лета завершенье,
Последний, перед омовеньем,
Восход последней красоты...

Ах, Ксения, Ксения,
Ты ли это?!
Не уходи, не улетай,
Под звездный плеск,
Под птичий гай,
Здесь песнь твоя еще не спета.
Не отцветай, не облетай!
Еще придет, вернется лето
И хлынет в душу через край.



ПОЭТЫ ОСЕТИИ

Борис Муртазов

На улицах Москвы нередко
сетую,
Что нынче не в горах я спину грею.
Когда цветут бессмертники
в Осетии,—
К Дарьялу порываюсь я скорее!

Я говорю: на свадьбу с пылу-жару
Ввалиться бы гулливо с кунаками,
А с алагирским всадником на пару
Копытами топтать нагорный
камень.

Пусть мудрость, говорят,
белоборода,
Не чуждо ей, однако, то, что ново.
Мне б так хотелось в опыте народа
Найти свое нестершееся слово.

Седые горы — лучшие на свете — я
Во сне увижу и — тоски следа нет.
Но если дома засижусь, в Осетии,—
Опять меня в Москву обратно
тянет.

Перевел Л. Озеров

Георгий Кайтуков

Вечер тучу носит
Где-то в стороне.
Усатые колосья
Кланяются мне.

Просят у дороги,
Чтобы ветер етих.
Тонкие их ноги
Еле держат их.

Словно пьяный, колос
Покачнулся вдруг.

УСАТЫЕ КОЛОСЬЯ

Слышу тихий голос:
— Помоги нам, друг!

— Стой, держись прямее,
Усатый колосок!
Чем могу тебе я
Помогу, дружок.

— Нас возьмите, люди.
Скоро будет град.
Мы, как вы, не любим
Темной тучи взгляд.

Перевел А. Николаев

Андрей Гулуев

Снежные вершины,
Словно великаны,
Встали надо мною,
Смотрят с высоты.

Подо мною Терек
Мчитя неустанно,
Омывая наши
Пашни и сады.

А в конце ущелья
Без конца и края
Рощи разбегаются
В разные края.

НА УТЕСЕ

И блестит на солнце,
И поет, играя,
Новая, Советская,
Родина моя!

Ты, страна родная,—
Радости основа!
Дорогая сердцу,
Светлая земля!

Я смотрю с утеса,
Чтоб увидеть снова
Голубые горы,
Милые поля!

Перевел В. Журавлев

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

ЛЕБЕДУШКА

НЕИЗВЕСТНАЯ ПОЭМА

Суриковский литературно-музыкальный кружок был одним из первых литературных объединений, куда принес свои стихи приехавший из деревни никому тогда еще не известный поэт Сергей Есенин. Председатель Суриковского кружка писатель Г. Д. Деев-Хомяковский в своих воспоминаниях, хранящихся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, приводит большой отрывок из юношеской поэмы Есенина под названием «Лебедушка». В воспоминаниях Деева-Хомяковского много неверного — сдвинуты даты событий, неправильно названы журналы. Поэтому публиковать стихи в его записи не представлялось возможным. Ни в одном сборнике стихов Есенина этой поэмы не было.

В феврале 1915 года Есенин официально вышел из состава Суриковского кружка. Однако он не порвал отношений с Деевым-Хомяковским и продолжал давать в журнал «Доброе утро» стихи и рассказы. «Для «Доброго утра» у меня есть еще несколько вещей», — писал он Хомяковскому в одном из писем.

Это навело нас на мысль просмотреть комплект журнала за все время его существования. В № 5—6 журнала за 1917 год нами была обнаружена «Лебедушка».

В. Земсков, Н. Ховряков

* * *

Из-за леса, леса темного,
Подымалась красна зорюшка,
Рассыпала ясной радугой
Огоньки-лучи багровые.

Загорались ярким пламенем
Сосны старые, могучие,
Наряжали сетки хвойные
В покрывала златотканые.

А кругом роса жемчужная
Отливала блески алые,
И над озером серебряным
Камыши, склоняся, шептались.

В это утро вместе с солнышком
Уж из тех ли темных зарослей
Выплывала, словно зоренька,
Белоснежная лебедушка.

Позади ватагой стройною
Подвигались лебежатушки,
И дробилась гладь зеркальная
На колечки изумрудные.

И от той ли тихой заводи,
Посередь того ли озера,
Пролегла струя далекая
Лентой темной и широкою.

Уплывала лебедь белая
По ту сторону раздольную,
Где к затону молчаливому
Прилегла трава шелковая.

У побережья зеленого,
Наклонив головки нежные,
Перешептывались лилии
С ручейками тихозвонными.

Как и стала звать лебедушка
Своих милых лебежатушек
Погулять на луг пестреющий,
Пощипать траву душистую.

Выходили лебежатушки
Теребить траву-муравушку,
И росинки серебристые,
Словно жемчуг, осыпались.

А кругом цветы лазоревы
Распускали волны пряные
И, как гости чужедальные,
Улыбались дню веселому.

И гуляли детки малые
По раздолью по широкому,
А лебедка белоснежная,
Не спуская глаз, дозорила.

Пролетал ли коршун рощею,
Иль змея ползла равниною,
Гоготала лебедь белая,
Созывая малых детушек.

Хоронились лебежатушки
Под крыло ли материнское
И, когда гроза скрывалась,
Снова бегали, резвились.

Но не чуяла лебедушка,
Не видала оком доблестным,
Что от солнца золотистого
Надвигалась туча черная,—

Молодой орел под облаком
Расправлял крыло могучее
И бросал глазами молнии
На равнину бесконечную.

Видел он у леса темного,
На пригорке у расщелины,
Как змея на солнце выползла
И свилась в колечко, грелась.

И хотел орел со злобою
Как стрела на землю кинуться,
Но змея его заметила
И под кочку притаилась.

Взмахом крыл своих под облаком
Он расправил когти острые
И, добычу поджидая,
Замер в воздухе распластанный.

Но глаза его орлиные
Разглядели степь далекую,
И у озера широкого
Он увидел лебедь белую.

Грозный взмах крыла могучего
Отогнал седое облако,
И орел, как точка черная,
Стал к земле спускаться кольцами.

В это время лебедь белая
Оглянула гладь зеркальную
И на небе отражавшемся
Увидала крылья длинные.

Встрепенулась лебедушка,
Закричала лебежатушкам,
Собрались детки малые
И под крылья схоронились.

И орел, взмахнувши крыльями,
Как стрела на землю кинулся,
И впились когти острые
Прямо в шею лебединую.

Распустила крылья белые
Белоснежная лебедушка
И ногами помертвелыми
Оттолкнула малых детушек.

Побежали детки к озеру,
Понеслись в густые заросли,
А из глаз родимой матери
Покатались слезы горькие.

И орел когтями острыми
Раздирал ей тело нежное,
И летели перья белые,
Словно брызги, во все стороны.

Колыхалось тихо озеро,
Камыши, склонясь, шептались,
А под кочками зелеными
Хоронились лебежатушки.

Л. Арнаут, Я. Карпов

ТАЙНА ЗОЛОТОГО РУНА

Не нужно свысока относиться к небольшому предприятию. Здесь происходят крупные события, совершаются важные дела. Это подтверждает история фабрики «Грампластинка» — ныне завода искусственной кожи и меха. На этом маленьком предприятии изобретатель Петр Филиппович Сапиевский сделал много удивительных открытий. Все они связаны с внедрением в народное хозяйство, в наш быт, новых синтетических материалов, которые Никита Сергеевич Хрущев на майском Пленуме ЦК КПСС 1958 года назвал важнейшим фактором дальнейшего технического прогресса.

Современник Пушкина писатель Одолевский уверял, что через две с половиной тысячи лет люди будут ходить в платье из «эластического стекла». Это предсказание сбылось в наше время. Ткань из стеклянных нитей — один из многих сотен и тысяч видов новых искусственных материалов, подаренных человеку бурным развитием химии, органического синтеза. Разрушая и дробя молекулы, построенные природой, химики как бы вновь создают из этих обломков молекулы-гиганты неизвестного ранее вида и строения. Продуктом этой разрушительной и созидательной работы химиков и явилась синтетическая полихлорвиниловая смола, с которой пришлось иметь дело Петру Филипповичу Сапиевскому.

Сапиевский нанес полихлорвиниловую смолу на ленту ткани, получился текстуринит, который превосходил натуральную кожу по прочности, был эластичен, водонепроницаем. И все же это была еще не кожа. Текстуринит должен был начать дышать. Натуральная кожа обладает пористостью. Подобно микроскопическим контрольным пунктам или заставам, поры задерживают воду, но беспрепятственно пропускают воздух, насыщенный парами. У текстуринита не было пор,

и это сводило его к неполноценному заменителю.

Но как же сделать текстуринит пористым?

Однажды во время обеда Петр Филиппович потянулся за солонкой, да так и замер неподвижно над тарелкой дымящегося супа. А что если создать поры в текстурините с помощью поваренной соли — этих легко растворимых кристаллов? Опыт был поставлен немедленно. В комок полихлорвиниловой смолы замесили щепотку соли, нанесли на ткань, прогрели, а затем опустили ее в стакан с водой. Через несколько часов Петр Филиппович открыл стакан, вынул влажный кусочек искусственной кожи, приложил его к губам и сильно дунул. На поверхности текстуринита выступили пузырьки. Значит, возникшие в нем поры наполнились воздухом, вода растворила кристаллики соли, оставив в пластмассе поры в виде микроскопических пустот. Победа! Текстуринит стал пористым! Начал дышать!

Мог ли это предвидеть американский журнал «Новые пластмассы», который в 1943 году, незадолго до открытия, сделанного Сапиевским, невесело сообщил: «Несмотря на все усилия американской техники, до сих пор не удалось решить главное — заставить дышать полихлорвиниловую кожу».

Петра Филипповича пригласили на совещание в Московский комитет партии. В зале — видные химики, производственники, партийные работники.

Сделать доклад о пористой искусственной коже? Но ведь Сапиевский сам еще очень мало знает о ней. Выступая перед такой солидной аудиторией, нужно, наверное, теоретически обосновать свое открытие, изложить его языком точных химических формул, сделать научные выводы.

А пока Петр Филиппович уверен

только в одном: именно с помощью хлористого натрия или обычной поваренной соли можно сделать искусственную кожу пористой. В нескольких словах он знакомит собравшихся с поставленным опытом и показывает кусочек пористой искусственной кожи.

— Вот пока и все,— заключает Петр Филиппович и садится. Доклад не занял и пяти минут. Все в Сапильевском напряглось от волнения. «Что-то произойдет сейчас?» Молчание нарушил сидевший неподалеку профессор, признанный авторитет в области синтетических материалов.

— Это здорово! — сказал он, обращаясь к залу. — Просто и хорошо...

Судя по легкому, одобрителному гулу голосов, профессор выразил мнение большинства собравшихся. Но кое-кто из химиков упорно отмалчивался. Еще бы! Им ли, специалистам по кожзаменителям, было не знать, что патентная литература изобилует всевозможными заявками на получение пористой пленкообразующей массы? Одни предлагали вводить в пластмассу газы под разными давлениями, другие — летучие растворители, третьи — жидкости. Все это явно не шло ни в какое сравнение с простым, дешевым и доступным способом, найденным Сапильевским. Оставалось только догадывать — как же можно было не додуматься до этого раньше?

Карл Маркс говорил, что изобретателю приходится вести спор с инерцией не только материалов, но и традиций, устаревших воззрений. В правильности этой мысли не раз убеждался на своем жизненном пути Петр Филиппович. Вот и сейчас неожиданное открытие вызвало не только восторг, но и хмурые возражения, насмешки.

— Стакан воды одно, а цех другое, — говорили одни. — Вы не сможете вымывать из слоев полихлорвинила кристаллы соли. Ведь полихлорвиниловая пленка не пропускает воду. Эти кристаллы останутся замурованными там, словно арматурный каркас в железобетоне.

— А если и удастся получить таким образом внутренние полости — поры, то скоро они исчезнут, заплывут, — говорили другие. — Вы забываете об одном свойстве пластических масс — холодной текучести. Положите пластмассовый брусок на две опоры, и через некоторое время он прогнется под влиянием собственного веса.

Да, трудно было Петру Филипповичу подыскивать ответы на эти доводы авторитетных специалистов. Подтверждений своей правоты Сапильевский искал в новых и новых опытах.

Так получилось у новатора и на сей раз. Он выявил новое, неизвестное доселе свойство полихлорвиниловых смол: эти смолы подвержены текучести только однажды — когда находятся в расплавленном состоянии. Именно это свойство полихлорвиниловой массы и позволило Сапильевскому получать из нее и патефонные пластинки, и типографские клише.

Не все знают, что легкие и прочные пластмассовые клише, которые десятками и сотнями тысяч рассылает ТАСС во все концы страны редакциям газет, тоже изобретены Сапильевским.

Но если полихлорвинил не подвержен действию закона холодной текучести, то система микроскопических пор, дыхательных путей искусственной кожи находится в полной безопасности. Ей ничто не грозит. Так текствинит завоевал себе право на жизнь.

ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ

Работники промышленности не могли ждать, пока текствинит приобретет все качества натуральной кожи. Текствинит еще не имеет пор, он не может вдыхать воздух. Ну и что же! Даже и в таком виде он необходим. Почему бы не выпускать из текствинита открытую, летнюю, резную обувь?

Перед нами пожелтевшая от времени газетная вырезка. Заметка сообщает о новом виде дешевой и доступной искусственной кожи, полученной в Москве инженером Сапильевским. Наискось по газетному тексту размашистая надпись цветным карандашом: «Найти этого Сапильевского».

Эту надпись сделал директор одного из заводов. В военные годы, когда натуральная кожа ценилась на вес золота, текствинит был поистине чудесной находкой. Многие предприятия страны разворачивали в своих цехах производство обуви из синтетического материала.

Из разных городов страны приезжали к Сапильевскому представители заводов, чтобы ознакомиться с производством искусственной кожи, и уезжали его горячими сторонниками, последователями. Семьдесят предприятий страны получили рецептуру, чертежи оборудования, точные данные технологии производства текствинита.

О том, что русские наладили массовое производство обуви из хлорвинила, американская печать сообщала как о сенсации.

...На нижнем этаже завода искусственной кожи и меха работает удивительная машина. С одного конца в нее входит бесконечная лента ткани, с другого наматывается на рулон готовая кожа, мягкая, легкая, эластичная.

Название машины длинное — текствинитовая агрегированная непрерывного действия машина Тандем-92, а сама она невелика — легко умещается в комнате. Агрегат ежеминутно выпускает почти восемь метров искусственной кожи. Здесь совмещен весь цикл операций по производству текствинита.

Недавно изобретателю и конструктору Тандема — Сапильевскому была вруче-

на золотая медаль Выставки достижений народного хозяйства.

К концу семилетия наша промышленность будет выпускать ежегодно только из искусственной кожи свыше девяноста миллионов пар обуви! Начало этому быстро растущему производству было положено на маленьком предприятии в Безбожном переулке.

Как найти такой способ отделки текстинита, который воспроизводил бы рисунок или узор, отличающий поверхность натуральной кожи? Этот вопрос давно занимал изобретателя. Во всем мире это достигается тиснением. Но монотонное повторение рисунка, выгравированного на металлическом валу, сразу же выдавало искусственное происхождение кожи, имитацию. А ведь узор, оставленный природой на подлинной коже, бесконечно многообразен. Этими мыслями и делился Сапилевский со своим помощником, начальником лаборатории Зильпертом, разглядывая рулон гладкой, только что изготовленной кожи. И вдруг Петр Филиппович замолчал: на глянцевой поверхности текстинита он увидел четкий отпечаток большого пальца. «Откуда, собственно, взялся этот отпечаток? Ведь рулон только что вышел из-под валков и его никто не трогал»...

— Впрочем,— сказал Сапилевский,— ничего загадочного тут нет. Мы ведь с вами прекрасно знаем, что при нанесении покрытия каждая царапина на поверхности валка отразится на внешнем виде готовой продукции. Значит, кто-то притронулся неосторожно к валу и след пальца отпечатался на текстинитите.

— Тогда почему бы не воспользоваться этой находкой? — подхватил Зильперт.

— Конечно,— воскликнул Сапилевский,— кто нам мешает покрыть металлический вал слоем пластической массы, приложить к ней натуральную кожу и получить зеркальный оттиск природного узора. А затем с помощью этого вала мы сможем наносить на любое покрытие узор натуральной кожи.

Еще в незапамятные времена были подмечены чудесные свойства кожи — легкой, гибкой, долговечной, пористой, хорошо защищающей от влаги и ветра. Прочная юфть, гладкий хром, шелковистый опоек, тонкое эластичное шевро, ноздреватая свиная кожа, замша, лайка, шагрень — без этого сырья не просуществовали бы и дня обувные, галантерейные, шорные, седельные фабрики и мастерские... Мудрено ли, что первые заменители кожи вызвали к себе кое у кого презрительное отношение. Суррогат, имитация, подделка!

Какую печальную известность получили в годы первой мировой войны солдатские сапоги с картонными подметками! Неодобросовестные махинации царских чиновников — интендантов и поставщиков — были у всех на устах. И все же нужда в полноценных заменителях

натуральной кожи возрастала с каждым днем, особенной остроты она достигла в годы гражданской войны.

— Положение снабжения армии обувью крайне тяжелое,— сообщил Ленин по прямому проводу Сибревкому в 1920 году.— Предлагается вам экстренно, специальным маршрутом выслать в Москву в адрес Главкожи 10 тысяч пудов подошвенной кожи, имеющейся по сведениям в районе Омска и Томска.

...В те трудные годы Владимир Ильич стремился использовать любую возможность получения заменителя кожи.

«Прошу немедленно сообщить мне Ваше заключение по изобретению суррогата подошвенной кожи, сделанному Барышниковым, а также движение этого дела...» — гласит ленинская записка, посланная в Главкожу.

Лишь через два с лишним десятилетия удалось, наконец, получить материал, действительно заменяющий натуральную кожу. Впрочем, это уже не заменитель. По многим свойствам искусственная кожа превосходит натуральную. Теперь далеко не всегда материал, который дают нам животноводы и кожевники, может служить полноценным заменителем своего синтетического собрата.

Любое открытие, изобретение — как бы удачны они ни были — влекут настоящего исследователя к новым поискам, открывают перед ним новые манящие дали. В этом смысле история искусственной кожи еще недописана. Текстинит, вызвавший в свое время столько споров, вероятно, скоро уступит место триковиниту. Так пока условно называется кожа, которую Сапилевский получает, нанося пластичную массу на трикотажную основу. Новый синтетический материал намного легче, эластичнее, дешевле своего предшественника, обладает более привлекательной внешностью.

Изменяя, улучшая им же созданную кожу, придавая ей все новые качества, человек выигрывает состязание с природой.

МОСКОВСКАЯ СМУШКА

Это было жарким июньским днем. Петр Филиппович сидел у открытого окна и наблюдал за легкими белыми хлопьями тополиного пуха.

Они садились на подоконники, на шторы, цеплялись за абажур, но чаще всего присасывались к решетке вентилятора, образуя на ней причудливый узор.

Сапилевский все пристальнее всматривался в это скопление пушинок, затем перенес кресло поближе к вентилятору и взобрался на сидение. В этой позе и застали изобретателя удивленные сотрудники заводской лаборатории.

— Вот вам прекрасный способ завивки смушки,— сказал Петр Филиппович восхищенно.— И заметьте, какой естественный узор получился...

Не подумайте только, что эта счастливая случайность, неожиданно возникшая мысль и решила сразу проблему искусственной смушки.

«На помощь явился случай», «открытие было вызвано случайностью» — эти фразы из старых книг по истории науки и техники в наши дни могут лишь вызвать улыбку. Кто принимает теперь всерьез легенды об упавшем с дерева яблоке, которое натолкнуло Ньютона на мысль о законе всемирного тяготения, о случайно перепутанных монтером проводах, благодаря чему динамомашинка стала работать как электромотор? Конечно, было бы очень эффектно рассказать, как тополиный пух, осевший на вентиляторной решетке, подсказал изобретателю идею нового, пневматического способа укладки смушки. Увы, ничего подобного не произошло. Всесторонне оценив эту мысль, Петр Филиппович сам же отверг ее.

История с тополиным пухом лишь вводит нас в ту атмосферу непрерывных, неустанных поисков, в которой живет изобретатель, говорит о его умении подмечать незначительные, казалось бы, мелочи и делать из них далеко идущие выводы.

Работа над проблемой искусственной смушки не раз доказывала, как зорок глаз, как остра мысль человека, умеющего целиком отдаваться любимому делу. Хорошо сказал Лагранж: «Случай награждает тех, кто этого заслуживает».

Чтобы воплотить идею в жизнь, нужны были долгие искания, бесчисленные опыты. Ведь когда работники завода делали первые шаги, они не могли почерпнуть необходимые сведения в технических журналах или справочниках. Американцы выдвигают искусственную выдру, котик, цигейку. Но секрет производства искусственной смушки им неизвестен.

• Французы изготавливают черный каракуль. Но завитки его пока еще не отличаются особой устойчивостью. От влаги они быстро теряют форму. Да к тому же фирменные секреты на Западе оберегаются достаточно ревниво. Вот почему Сапилевскому и его помощникам приходилось до всего доходить своим умом, все создавать заново.

Одна за другой возникали машины, которые скручивают из вискозных и капроновых нитей «ершик», или так называемую синель, завивают и укладывают завитки на ткани таким образом, что ее не отличишь от настоящей смушки. Жаль только, что свободные концы нитей, оставшиеся после укладки завитков, портят внешний вид искусственного меха. Приходилось вооружаться пинцетом и выдергивать эти концы. Кропотливая, утомительная работа! Разве можно мириться с ней в наше время!

Но как создать машину, которая бы сама разбирала завитки и извлекала концы нитей?

Занятый такими мыслями, Петр Филиппович сидел однажды в парикмахерской. Рядом то и дело вскрикивал малыш, которого стригли. Мать сердилась на парикмахера, уверяя, что машинка тупая и выдергивает волосы.

Едва стрижка закончилась, Сапилевский бросился к парикмахеру с просьбой продать злословную машинку.

— Да машинка притупилась, — признался тот. — К чему она вам?

— А мне именно тупая и нужна, — загадочно ответил Петр Филиппович.

Так и не побрившись, Сапилевский поспешил на завод. Вооружившись приобретенной машинкой, он поднес ее к завиткам только что изготовленного меха. Металлические зубья стали захватывать и выдергивать концы свободных нитей. «Да, пожалуй, именно на этом принципе и сможет работать настоящая нитевыборочная машина» — подумал изобретатель.

— Что это вы делаете, Петр Филиппович? — спрашивали рабочие.

— Потом увидите. Пока секрет...

— Знаем ваши секреты. Небось не сегодня-завтра соберете слесарей, технологов, конструкторов, чтобы вместе взяться за новую работу.

Так оно и случилось. На заводе бережно хранят небольшую машину, сделанную по наброскам Петра Филипповича слесарями Павлом Васильевым и Александром Щербиным. Она довольно примитивна на вид. Рукоятка для вращения, пара зубчатых шестерен, гребенка для прочесывания меха — все больше напоминает школьный демонстрационный прибор, чем современный механизм. Но эта схематичная модель помогла Сапилевскому представить себе наглядно, как будет работать его машина, продумать особенности ее конструкции. Теперь можно было двигаться дальше, к первому опытному рабочему образцу.

Кстати, на заводе сохранилось еще несколько таких миниатюрных предшественников сегодняшних машин, изготавливающих искусственную кожу и мех. Хорошо бы собрать их в одном из залов Политехнического музея, присоединив сюда первые наброски, эскизы, может быть кое-что из отвергнутых самим же изобретателем вариантов. Такая своеобразная выставка, раскрывающая процесс, «кухню» технического творчества, была бы по-своему интересна и увлекательна.

И еще. Эта зримая вещественная демонстрация зарождения и развития технического замысла показала бы, как строг и взыскателен к себе настоящий изобретатель.

Сапилевский не из тех людей, которые, едва только их осенила новая мысль, спешат подать заявку на авторское свидетельство. Нет, Петр Филиппович вспоминает об авторских правах обычно уже после того, как созданная им новая машина начала работать, выпускать продукцию.

Секрет искусственного каракуля и смушки, найденный Сапилевским, стал достоянием нашей промышленности. Пять миллионов квадратных метров этого синтетического меха будут выпускать ежегодно химические предприятия к концу семилетки. Это заменит тридцать миллионов шкур окляг каракулевой породы!

У серого каракуля и смушки красивый серебристый отлив. Он получается благодаря тому, что волокна этого меха имеют неодинаковую длину. Чтобы получить такой же оттенок в заводских условиях, стали делать синель с длинными светлыми и короткими темными нитями. Постигли на заводе и тайну создания темной линии, так называемого хребта на шкурке, который так высоко ценится меховщиками.

Гоголь хвалил знаменитые решетилоские смушки, из которых справили себе новые шубы заседатель и подкоморий в Миргороде. Видно, в те времена, когда писались «Вечера на хуторе близ Диканьки», решетилоские смушки славились своим отменным качеством. Не завюжет ли себе в ближайшем будущем такую же репутацию московская смушка? И какая женщина не захочет справиться себе шубку из этого красивого и дешевого меха? Уже сейчас манто из московской смушки стоит немногим больше, чем хорошее драповое пальто, и, примерно, в десять раз дешевле, чем манто, сшитое из натурального меха.

ДИРЕКТОР У ВЕРСТАКА

Помнится, поначалу нам никак не удавалось договориться с Петром Филипповичем о встрече. Секретарь односложно отвечала по телефону: «в цехе», «в лаборатории», «на производстве».

Мы стали искать Сапилевского «на производстве».

— Петр Филиппович? Да, вот он, у верстака, — сказали нам в цехе искусственного каракуля.

Здороваясь, худощавый седоволосый человек в синей сатиновой спецовке подал нам не ладонь, а запястье, как это обычно делают мастеровые люди, не успевшие отмыть руки от машинного масла.

Вместе с одним из своих помощников слесарем Александром Щербиным Петр Филиппович отлаживал узел новой машины, которую на заводе называют «Вемикс». Он просто и понятно объяснил нам, как на этой машине будут изготавливать новый вид искусственной кожи на трикотажной основе.

В тесной комнатке, где синее пламя газовой горелки отсвечивало на стеклянных колбах и ретортах, Петр Филиппович поставил вместе с инженером Абрамовичем и техником Аксеновой химический опыт. Из него мы узнали о секрете

глубинной окраски искусственной смушки. Светлая верхушка завитка рельефно выступает из темной глубины меха.

Не в том ли, что Петр Филиппович соединяет в своем лице и химика-экспериментатора, и изобретательного механика, кроется секрет его успехов? Ведь Сапилевский успешно завершает почти все свои начинания, замыслы. Об этом убедительно говорит не только тридцать авторских свидетельств, полученных Сапилевским, но и то, что все методы, технологические процессы, созданные на предприятии, нашли широкое применение в промышленности.

История химической технологии знает немало интересных находок и открытий, которые не получили путевки в жизнь только потому, что некому было создать механизмы, аппараты для соответствующего производственного процесса, или, как говорят химики, аппаратурно оформить его. Идеи Сапилевского были подхвачены промышленностью только потому, что он дал им законченное и стройное конструктивное воплощение, технически завершал их.

Но при всей одаренности и энергии Сапилевского вряд ли бы ему удалось сделать много, если бы он не располагал такой замечательной опытной базой, как завод искусственных кож и меха, если бы рука об руку с ним не трудились такие же, как и он, энтузиасты, борцы за технический прогресс.

Вряд ли кто-нибудь сможет написать историю этого завода, не упоминая о Сапилевском — его основателе, бессменном директоре, главном инженере и главном конструкторе. И как представить себе Петра Филипповича вне маленького предприятия в Безбожном переулке, где было так много счастливых находок, где прошли двадцать лет его жизни!

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ НАХОДКА

Тихо в опустевших цехах и лабораториях в этот предвечерний час. Петр Филиппович настроен что-то невесело: редкостно понемногу ряды друзей, помощников, вместе с которыми было так много сделано, испытано, пережито. Найти им замену нелегко.

— Сколько у вас людей, девяносто человек? Да что это за предприятие! Кустарная мастерская какая-то, — говорят иные работники хозяйственных и советских органов. И вот завод, где создается так много ценных технических новшеств, завод, который может соперничать с крупным исследовательским институтом, приравнивает по уровню зарплаты кустарному мастерскому. Попробуйте в этих условиях заполучить опытного технолога, квалифицированного конструктора...

Людей, привыкших к точному разграничению обязанностей, «сфер влияния» между промышленными предприятиями, научными и проектными институтами, многое на этом заводе пугает своей необычностью. Оказывается, в годовом плане здесь фигурируют не только тысячи квадратных метров искусственной кожи и каракуля, но и темы научных работ.

— Как прикажете вас величать — экспериментальным заводом? — спрашивают Сапилевского. — Но каждый такой завод работает по заданиям научных институтов. А вам кто дает задания, кто вами руководит? Сами выбираете темы, сами экспериментируете, сами конструируете. Это же непорядок! Ваше дело давать промышленную продукцию и все!

Но жизнь не всегда укладывается в рамки служебных предписаний и инструкций. Процесс производства искусственной кожи на Калининском комбинате «Искож», который по настояниям авторитетных специалистов, «не замечающих» Сапилевского, решено было наладить на импортном оборудовании, не «пошел», как говорят производственники. Судили-рядили и пришлось все-таки применить по сути дела конструкции, которые созданы на Московском заводе искусственной кожи и меха.

Проект технического оснащения мощного комбината передается на утверждение в высокую инстанцию. И опять недоумение. На каком основании Сапилевский подписывает этот проект? Пусть остается проект Сапилевского, но подписаться под ним должен институт.

Так за предприятием в Безбожном переулке укрепилась понемногу репутация какого-то курьеза, странного гибрида, подобного которому не сыщешь среди заводов и научных институтов.

Нетрудно представить себе, сколько всяких огорчений, тревог, неприятностей приходится испытывать работникам заво-

да, когда утверждаются годовые планы, сметы, штаты.

Да, нелегкая ситуация! Но человек дела, ясно видящий цель, Петр Филиппович трезво оценивает не только невыгоды, но и преимущества своего положения. Здесь, между идеей и ее воплощением в чертеж, в металл нет разрыва. Химический эксперимент, конструирование, работа над опытным образцом новой машины — все это органически слито в единый творческий процесс. Вот почему рождение идеи совпадает с рождением новой производственной установки.

На все изыскания, связанные с новыми процессами производства искусственной кожи и меха, завод не взял ни копейки из государственной кассы.

Машины, которыми оснащены цехи завода, не ласкают глаз контурами корпусов, не блистают никелем и лаком. Каждая из них только родоначальник, предшественник серии машин, которые устанавливаются в Александрове, Ленинграде, Кишиневе, Богородске, Львове и других городах страны. Но эти первые опытные образцы безотказно работают, выпускают продукцию. Их наперебой берут меховые, обувные и галантерейные предприятия Москвы. Завод покрывает затраты на все — сырье, заработную плату, исследования, эксперименты — и при этом еще дает прибыль государству.

Как не вспомнить здесь об иных, недешево обходящихся государству институтах, с их довольно низким «коэффициентом отдачи». Не является ли завод в Безбожном переулке в какой-то мере прообразом отраслевых промышленных институтов будущего?

Может быть, своеобразное, но очень жизненное и плодотворное сочетание научного эксперимента с производством и есть еще одна, тридцать первая по счету, творческая находка Петра Филипповича Сапилевского.

Вера Шапошникова

Трелюдия

независимости

(Из путевого дневника)

Фото автора

В начале 1960 года правительство Гвинейской республики пригласило главу Советского правительства Никиту Сергеевича Хрущева посетить Гвинею. Советское правительство ответило на это предложение согласием.

Гвинейская республика занимает территорию в двести сорок шесть тысяч квадратных километров. Населяют ее более двух с четвертью миллионов африканцев. Гвинея делится на четыре географических района: Нижняя и Верхняя Гвинея, Фута-Джаллон и район вечнозеленых тропических лесов.

В столице Гвинеи Конакри, являющейся одновременно главным портом республики,— восемьдесят тысяч жителей. К наиболее крупным городам относятся также Канкан, Киндия и Лабе.

Климат Гвинеи отличается большой влажностью вследствие того, что крутые склоны ее возвышенностей преграждают путь юго-западным и западным ветрам.

Основное занятие населения Гвинеи — земледелие. Возделываются земляной орех, бананы, ананасы, рис, кофе, маниок, фоньо. Большое место в экономике страны занимает скотоводство. Скот разводится главным образом в районах, не пораженных мухой цеце,— горах Фута-Джаллона и долинах Нигера. В стране есть заводы по переработке натурального хинина и пасты для изготовления духов. Недра Гвинеи богаты полезными ископаемыми; добываются бокситы, железная руда, алмазы, золото.

Около двух лет назад Гвинея освободилась от французских колонизаторов, стала независимым государством. Но многими из ее богатств еще пользуются захватившие их колонизаторы, в частности американские капиталисты. Однако гвинейцы, упорно отстаивая независимость, все более укрепляют свою экономику.

Журналистка Вера Шапошникова в составе делегации советского Общества дружбы с народами Африки совершила поездку в Гвинею. Публикуем ее заметки из путевого дневника.



Набережная в Конакри во время отлива

Из далеких сказок детства Африка вдруг приблизилась к нам, живая, реальная, опалила горячим дыханием, закружила, ошеломила вихрем красок, ритмов, острых запахов земли и плодов.

Ее северные ворота — Марокко — встретили нас закрытыми лицами женщин, роскошью Касабланки, оглушающей музыкой Танжера, загадочным взглядом прорицателя — темнотой мавра, охватившего рукой неподвижного ошестинившегося варана. А Гвинея...

ПРЕДДВЕРИЕ

Март только начинался. На московских улицах плясал мороз. По утрам с звонким треском кололся под ногами ледок.

— С шубами расстаньтесь. Вам и в демисезонных пальто будет неважно, — говорили знакомые, напутствуя нас в дальнюю дорогу.

Но только очутившись на берегу истомленного зноем океана, мы поняли, что под тропиками нет ничего нелепее, чем длиннополое темное пальто.

...В одиннадцать утра «Ту-104» вырвался на дорожку, взял сильный, короткий разбег и круто полез вверх. И вот уже позади туманное небо Москвы, откуда-то появились внизу облака, и сияющий одинокий «Ту-104» летел над этим безжизненным полем с его редкими голубыми промоинами.

Бортпроводница принесла бюллетень. Рейс Москва — Париж. Скорость 920 километров в час. Температура за бортом самолета — минус 55°, а в салоне тепло.

Скорости, скорости! Не успели мы предаться размышлениям о полете, как под крылом заперестрила кутерьмой городов густонаселенная Голландия, потянулись ровные ленты каналов, желтые квадраты полей с редкими островками деревьев, серые нагромождения дамб, охраняющих город от моря.

Обедали мы в Париже. Столица Франции встретила нас мягким теплом, тонкими ароматами весны. Рабочие в синих, прошитых белыми нитками комбинезонах стригли газоны. На другое утро мы поступили в распоряжение фирмы «Эр Франс», с ее самолетами, гидами и отелями. Крылья «Супер констелейшн» подняли нас и понесли за темные леса, за синие моря, за высокие горы. Покрывались бледной листвой леса Южной Франции, желтыми складками громоздились Пиренеи, в долинах лежал туман, Атлантический океан бросал на берег кружево пены.

Освоившись с обстановкой, мы повели с соседями разговор о жизни, о людях, летящих в Марокко, стали рассказывать о себе.

* * *

Марокко — одна из первых стран Африки, которые в послевоенные годы освободились от колониального режима. Власть перешла к королю Мохаммеду V, сохранившему в своей стране средневековые монархические порядки.

Протекторат, монархия... А как же теперь живет народ? Что происходит в стране, порвавшей цепи колониализма? Мы засыпали вопросами сидящего рядом пассажира — общительного, остроумного, любознательного учителя из Рабата. Он, в свою очередь, расспрашивал о нашей стране, интересовался советской системой образования.

— В Марокко еще недавно грамотных было только один процент населения, — сказал он, вздохнув. — Теперь школ стало больше.

— А другие области жизни? Что происходит в промышленности, в деревне?

Наш спутник помедлил с ответом, бросил взгляд на карту, лежавшую у него на коленях, оглянулся и сказал с оттенком грусти:

— Вы летите в Марокко. У вас есть глаза и уши. Смотрите, слушайте. Впрочем, не откладывайте своих наблюдений. Их можно начать и здесь...

По кабине самолета прошел взвалю американский летчик.

— Почему он здесь? — спросила я другого пассажира.

— Он возвращается на военную базу. В Марокко, по официальным источникам, пять американских военных баз.

— А куда летит морячок в картинном берете с помпоном? Вон тот, который снял синюю фланельку, отстегнул воротник и, оставшись в тельняшке, накрылся пледом.

— Это — французский моряк. Он держит путь на французскую военную базу, одну из тех, что еще расположены на марокканской земле...

Есть в Марокко и другие базы. Словом, недостатка в «защитниках» нет. Но от кого же они защищают Марокко?

* * *

За несколько дней до нашего приезда страну постигло стихийное бедствие: землетрясение огромной разрушительной силы превратило в развалины древний город Агадир, стоявший на берегу Атлантики. Эпицентр землетрясения находился в нескольких километрах от Агадира, в океане. Толчки продолжались несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы уничтожить труд нескольких поколений, похоронить под обломками тысячи людей, оставить без крова десятки тысяч. Это была трагедия, повергшая в траур всю страну.

В Касабланке — самом большом из городов Марокко — была отменена ежегодная ярмарка, проходившая всегда во время рамадана — изнуряющего поста, которому подвергают себя верующие мусульмане.

Из многих стран в Марокко была направлена помощь. Из СССР Красный Крест послал медикаменты, предметы первой необходимости.

Командование иностранных войск использовало это народное бедствие, чтобы доказать необходимость своего пребывания на марокканской земле. На расчистку развалин с военных баз были посланы солдаты. Причем представители французских властей лицемерно заявили марокканцам: «Мы сделаем для вас все, что вы хотите. Зачем вспоминать о протекторате, о взрыве атомной бомбы в Сахаре в дни, когда совершилась такая трагедия?»

Агадир! Он лежал где-то внизу, этот разрушенный город, и все, кто находился в самолете, говорили о катастрофе.

Газеты заполнены материалами о последствиях землетрясения, объявлениями о розыске пропавших без вести горожан, сообщениями о судьбах извлеченных из-под обломков людей.

Трое булочников десять дней пробыли под рухнувшей пекарней. В газете были напечатаны их портреты: искудавшие люди с обумевшими глазами. Мать, нашедшая в больнице своего ребенка, со слезами на глазах прижимающая его к груди. Спасательные команды, разбирающие страшные нагромождения...

Доступ в город закрыт, он оцеплен войсками. Никто, кроме медиков и людей, разбирающих развалины, не может попасть в Агадир. Кварталы домов с воздуха обливаются горючим и сжигаются, чтобы предотвратить возможные вспышки эпидемий.

О катастрофе говорят и на рабатском аэродроме. Здесь стоят двухфюзеляжные санитарные самолеты с белыми крестами на черных крыльях. По летному полю снуют автомобили, электрокары, посылая глухие сигналы. Мелькают красные фески носильщиков в широких, песочного цвета шароварах и беспятых, узких, с загнутыми носами чупяках. Аэродромные рабочие толкают высокие лестницы, подкатывая их к самолетам.

Итак, мы на африканской земле. Жарко? Нет. Наши пальто и плащи как раз кстати. С океана тянет свежестью. Он где-то совсем рядом. Шуршат жестколистные эвкалипты. У входа в аэровокзал цветут на клумбах скромные ноготки.

— А земля-то, земля! Совсем как в Подмосковье! — восклицает географ Людмила Алексеевна Михайлова.

На аэродроме под ногами лежал рыжий суглинок. Сквозь трещины в почве едва пробилась бледно-желтые, похожие на одуванчики цветы и редкая трава...

Но какими обманчивыми, неточными, поверхностными оказались первые африканские впечатления: скорости имеют и свои теневые стороны.

Когда-то Короленко, глядя на открывающиеся из окна вагона дали, с грустью думал о том, как много интересного и поучительного пронесется мимо человека. Сколько явлений остаются нераскрытыми

из-за скорости передвижения, сколько людей и характеров непонятными!

И хотя Париж, полет над горами Испании, над океаном и марокканской землей, разговоры в дорогах оставили очень сильные впечатления, но они были слишком скоротечны. А быстрая смена впечатлений столь же утомительна, как и тягучее однообразие их...

ПУТЬ В ГВИНЕЮ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ МАРОККО

Рабат — столица Марокко — древний красивый восточный город. Огромные пальмы как бы обмахивают его опахалами листьев. Белоснежные здания. Ярко и буйно цветущие кусты. Длинная глиняная стена, которой обнесена обширная территория королевского дворца.

По улицам идут марокканцы в национальных костюмах. Среди пестрой вереницы машин бредут ослики с седоками. В открытых кафе под тенью деревьев развалившиеся в креслах американцы «великодушно» протягивают ноги малолетним чистильщикам ботинок. Ребятишки — чумазы, босые, ползают на коленях, наводя блеск на чужие ботинки.

У кафе, ресторанов, автобусов кушари предлагают изделия: разворачивают ковры, надувают кожаные, круглые подушки, украшенные национальным орнаментом, тянут нас к нестерпимо блестящим на солнце изделиям из меди — кувшинам, ковшам, подсвечникам, блюдам, к подносам, тарелкам разных размеров, рисунков и форм, к мехам для воды и вина, гончарным изделиям, обуви, сумкам, фигуркам из проволоки, тряпичным куклам.

Центральные чистые улицы нового Рабата переходят в узкие и лишенные зелени переулки Медины. Здесь, в старой части города, расположены рынки — пестрые, шумные, беспорядочные, с их стихий цен и товаров. Возле плоскокрыших домов, обращенных окнами внутрь двора, с криком бегают ребятишки. Торопливой походкой ходят женщины с закрытыми лицами.

Вначале все здесь несколько оглушает и пленяет древностью, особым колоритом таинственного Востока, который привлекает сюда туристов — они приносят стране некоторый доход. Но очень скоро из пестроты и красок Востока выступает главное. В Рабате на каждом шагу сталкиваешься с людьми, рассказывающими о трудностях жизни. Если даже они и молчат, то все равно рассказывают о себе своим видом, поступками, отношениями друг с другом.

* * *

По пятницам марокканский король Мохаммед V, «наместник Магомета» на точной марокканской земле, ездит в ме-

четь на молитву. Пятница — священный день — дань Аллаху, когда верующие марокканцы предаются раздумьям о бренности земной жизни.

Нам сказали: «Нужно обязательно посмотреть это зрелище». Мы отправились к дворцу и, попав на просторную, дышащую жаром площадь, оказались далеко не единственными здесь зрителями.

Сегодня Африка уже не смущала прохладой. Солнце стояло над головой. На фоне асфальта и синего неба ослепительно сверкали стены дворца, низкие, слепые, покрытые зыбкой рябью зеленой черепицы. Арка ворот вела во внутренний дворик. У входа стояла королевская стража с винтовками наперевес. Яркая, красная одежда солдат резко выделялась на фоне белого дворца и просторной площади.

Перед дворцом на значительном от него расстоянии раскинулись обширные, выстланные серым камнем террасы. На подставках покоились чугунные стволы пушек, глядевшие жерлами на дорогу, идущую из дворца. Тяжелые цепи отделяли террасы от площадки перед дворцом, где к нашей машине прибавились в скором времени десятки других. Туристы, корреспонденты, официальные лица приехали сюда, чтобы посмотреть церемонию. Но особенно много собралось марокканцев. Приходили женщины в узких, длинных одеждах. Они робко усаживались на краях террас, свесив ноги в чужаках. С матерями были дети. Они поднимали возню, забирались на пушки, откуда их спугивал полицейский, важно прогуливавшийся вдоль террас.

Пришла семья — мужчина, женщина и ребенок, силуэты их, освещенные солнцем, четко обрисовывались на фоне камня и синего неба.

В живописной позе сидел на плитах террасы нищий мавр. Он почесывался, подставлял под солнце бока и потом задраемал, склонив на колени голову.

У каменной тумбы, выделяясь среди марокканок открытым лицом, сидела, сложив калачиком ноги, пожилая женщина в белом хитоне. От ее подбородка тянулась по шее бледно-синяя лента татуировки. Живые, насмешливые глаза освещали ее умное лицо. Это была берберка.

Женщина о чем-то громко говорила. Полицейский останавливался, грозно покрикивал на нее, она замокала, глядя на стража с лукавой издевкой. Но едва он отходил, берберка снова принималась за свое. Мы с интересом следили за этой своеобразной дуэлью, но вскоре, отвлеченные новым событием, забыли о женщине.

По дороге к дворцу на стройных, горячих конях под протяжные и зовущие звуки труб приближалась королевская гвардия. Яркая форма всадников — красные гольфы, кафтаны, белые пояса и чулки, зеленые галуны, сверкающие на солнце пики — сразу расцветили площадь.

Среди зрителей, а число их все росло и росло, началось движение.

Послышался резкий крик. Кто-то предположил, что это кричит муэдзин, сзывающий правоверных в мечеть на молитву. Но это шумела уже знакомая нам берберка.

— Она говорит о том, что хлеб дорог, — сказал по-французски стоявший рядом с нами местный житель.

Полицейский бросился к женщине, схватил ее за руки, но она с явной издевкой в голосе начала выкрикивать другие слова: «Да здравствует король, да здравствует принцесса!»

Полицейский в смущении отошел. Женщина засмеялась и исчезла в толпе.

И снова потянулось тягучее ожидание. Капитан переставлял гвардейцев с места на место, поминутно делал им замечания, и они покорно исполняли его капризы. Полицейские перестали стонять с пушечных стволос разгоревших жарой ребятишек. Нищий спал лежа на камне.

Наконец из дворцовых ворот вышли монахи в белых широких одеждах и красных фесках. Пятясь, они начали кланяться тому, кто еще был невидим.

Женщины вскочили со своих мест, ребятишки устремились к краю дороги, где стояла цепь гвардейцев. Засверкали на солнце трубы, возвещающие о выезде короля. На дорогу вывели горячих и стройных арабских скакунов. Они рвались из рук слуг, становились на дыбы. Люди едва удерживали их, висли на поводьях и шарахались в сторону, когда кони готовы были обрушиться на них ударами копыт.

Показалась легкая коляска. Король сидел за зеркальными стеклами. Он был в строгой одежде, в темных очках.

Наступила минутная тишина, а затем в воздухе раздался странный звук. Он напоминал однотонное тоскующее пение птицы, разносящееся в задумчивой дреме среднеазиатских ночей, — у-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Звук рос, сливался с другими такими же звуками, и вот он уже превратился в лавину.

Король слегка поднял руку, коляска мелькнула еще раз на повороте дороги. К ней бросились фотокорреспонденты. Затем все исчезло.

Люди на террасах постояли немного и медленно, как бы с разочарованием, потянулись по дороге в город. Наш автобус обгонял их, а мне все время казалось, что еще продолжают древние сказки Шах-разады.

Мы были в Марокко в тяжелую пору рамадана, когда люди могли есть и пить только после захода и до восхода солнца. Ночь проходила полупризрачная, торопливая. Затемно поднимались женщины, начинали готовить еду, вставали мужья и старшие дети, чтобы поесть, запастись энергией на долгий и трудный день.

Марокканская женщина угнетена. Она занимает жалкое положение. Это рабыня, живущая в худшей половине дома,

не имеющая права сесть с мужем за стол. На ней лежит вся тяжесть житейских забот.

Осматривая один из районов Рабата и древнюю крепость Касба, мы заглянули в мастерскую, где ткут прославленные марокканские ковры. Худенькие девочки пяти-восьми лет, поджав под себя ножки, сидели между туго натянутой основной ковров. Быстрыми тонкими пальчиками они брали шерстинку нужного цвета, завязывали ее на основе, а концы отрезали ножом. Нам сказали, что ковры, вытканые детскими руками, особенно ценятся. Дети тоньше чувствуют рисунок, их пальцы более гибки. Эти девочки трудятся в мастерской по восемь-десять часов. Считается, что они не работают, а только помогают матерям — ковровщицам. С помощью детей женщины могут кое-как содержать семью.

Сорок с лишним лет существовал в Марокко французский протекторат. Но изменилась ли жизнь за это время в стране? Что колонизаторы дали народу?

С этого у нас и начался разговор в королевском дворце, куда на другой день приехали журналисты и писатели, приглашенные Аллауи.

Он принял нас в просторном кабинете, устланном дорожками марокканскими коврами.

Аллауи, стройный и элегантный человек, подвел нас к карте и начал рассказывать о положении страны.

— Французская пресса ведет кампанию за то, чтобы сохранить военные базы на марокканской земле, — сказал он, указав на карте, где примерно находятся французские базы. — А мы выступаем за ликвидацию этих баз.

Аллауи помолчал, как бы подчеркивая значение своих слов. Затем улыбнулся с легким оттенком иронии и, приподнявшись на носках узких ботинок, доверительно заговорил:

— Командование иностранных войск на территории Марокко ведет политику, похожую на солидарность детей, находящихся в одной комнате. Когда им говорят: «Выходите из комнаты», они отвечают: «Пусть выйдут остальные, тогда уйду и я». Начальник службы печати королевского дворца говорил нам о многом.

О том, что марокканцы отлично знают: американское командование действительно переводит из Марокко часть своих войск в Испанию, но с той только целью, чтобы заменить истребительную авиацию ракетной техникой...

О том, что земли Марокко когда-то простирались в глубины Африки, что одна из династий марокканских королей вышла с берегов реки Сенегала...

Беседу прервал телефонный звонок. Аллауи взял трубку и что-то ответил на арабском языке. И когда с торжественной неторопливостью положил телефонную трубку на рычаг, на лице его играла загадочная улыбка.

— Не хотели бы вы видеть, как происходит прием у короля? — спросил он.

Разумеется, нам хотелось увидеть вблизи человека, который управляет десятью миллионами марокканцев.

Мы вышли в один из внутренних двориков дворца в той части его, где расположены службы. Здесь горели на солнце апельсины, словно покрытые лаком, блестя жесткие листья деревьев. Длинная галерея опоясывала дворик, замкнутый со всех четырех сторон постройками в арабском стиле — лепные карнизы, плоские крыши, перемежающиеся с затейливыми нагромождениями башен.

Сквозь узкую дверь мы попали на выстланный камнем новый дворик — строгий, замкнутый ослепительно белыми стенами и башнями. Аллауи исчез в одной из дверей. Мы ожидали его, рассматривая башни, шпили с символами страны. На одной из башен вместо шпиля была установлена телевизионная антенна.

Телевидение, как, впрочем, и радио и кино, в стране еще очень слабо развито. Киностудия выпускает лишь короткометражные документальные фильмы. Мощности радиостанции мала. Между прочим, на марокканской земле построена радиостанция, которая разносит по миру оголтелую пропаганду империализма, сдобренную эксцентричной музыкой современного Запада. Эта станция находится в Танжере, она принадлежит американцам.

Вслед за Аллауи мы направились в одну из комнат. Свет в нее падал через дверь. В глубине, напротив двери, сидел в кресле король. Он был в песочного цвета узкой и длинной одежде, в белой мусульманской шапочке, тонкими пальцами перебирал черные шарики четок. Вошла королевская стража и выстроилась в ряд. Вслед за ней пришла делегация иорданского короля Хуссейна, выразившего Мохаммеду V соболезнование по поводу агадирского землетрясения.

Низко кланяясь, делегаты подошли к королю и, вручив письмо, так же почтительно покинули комнату. Король пробежал глазами письмо, положил его на стол. Повернув к нам тонкое, худощавое лицо, он сказал, что рад в дни национального бедствия видеть у себя людей, которые приехали в его страну хотя бы по пути в Гвинею.

Позднее мы посетили ректора Рабатского университета Мохаммеда Эль-Фаси. За последние годы университет, преобразованный из института гуманитарных наук, стал центром, вокруг которого формируются культурные силы страны. Здесь издаются научные труды, выходят журналы. Университету в числе других подчинена и национальная библиотека, где хранится много редчайших манускриптов. Сюда же примыкают и департаменты по изучению древностей, изящных искусств, истории памятников, музыкального фольклора. Однако наука — и это признал сам Эль-Фаси — еще во власти религии.

Четыре тысячи молодых марокканцев посещают факультеты точных и естественных наук. Здесь готовятся физики, математики, биологи, разведчики земных недр. Скоро будет открыт медицинский факультет. Формируется ядро будущей национальной интеллигенции.

В стране создается первый театр. Он рождается из самодеятельности. Здание для театра строится в Рабате.

В Рабате живет и работает пока единственный в стране марокканский художник Идриси.

В стране еще крайне мало врачей. Почти нет специалистов сельского хозяйства.

Освобождение от протектората — шаг вперед. Но только еще первый шаг.

КАСАБЛАНКА

Я много слышала об этом городе, выросшем во время второй мировой войны. Он был перевалочным пунктом, звеном между Старым и Новым светом.

Здесь скопились тысячи беженцев, конечно, не все, кому угрожала война. Попасть в Касабланку было не просто. Нужны были деньги, причем немалые. Поток денег, ценных бумаг, бриллиантов хлынул в город. За ними устремились дельцы, игроки, различные авантюристы — неизменные спутники человеческого несчастья.

Трудно даже представить, какой чудовищной жизнью жил в годы войны этот самый крупный в Марокко город с восьмисоттысячным населением!

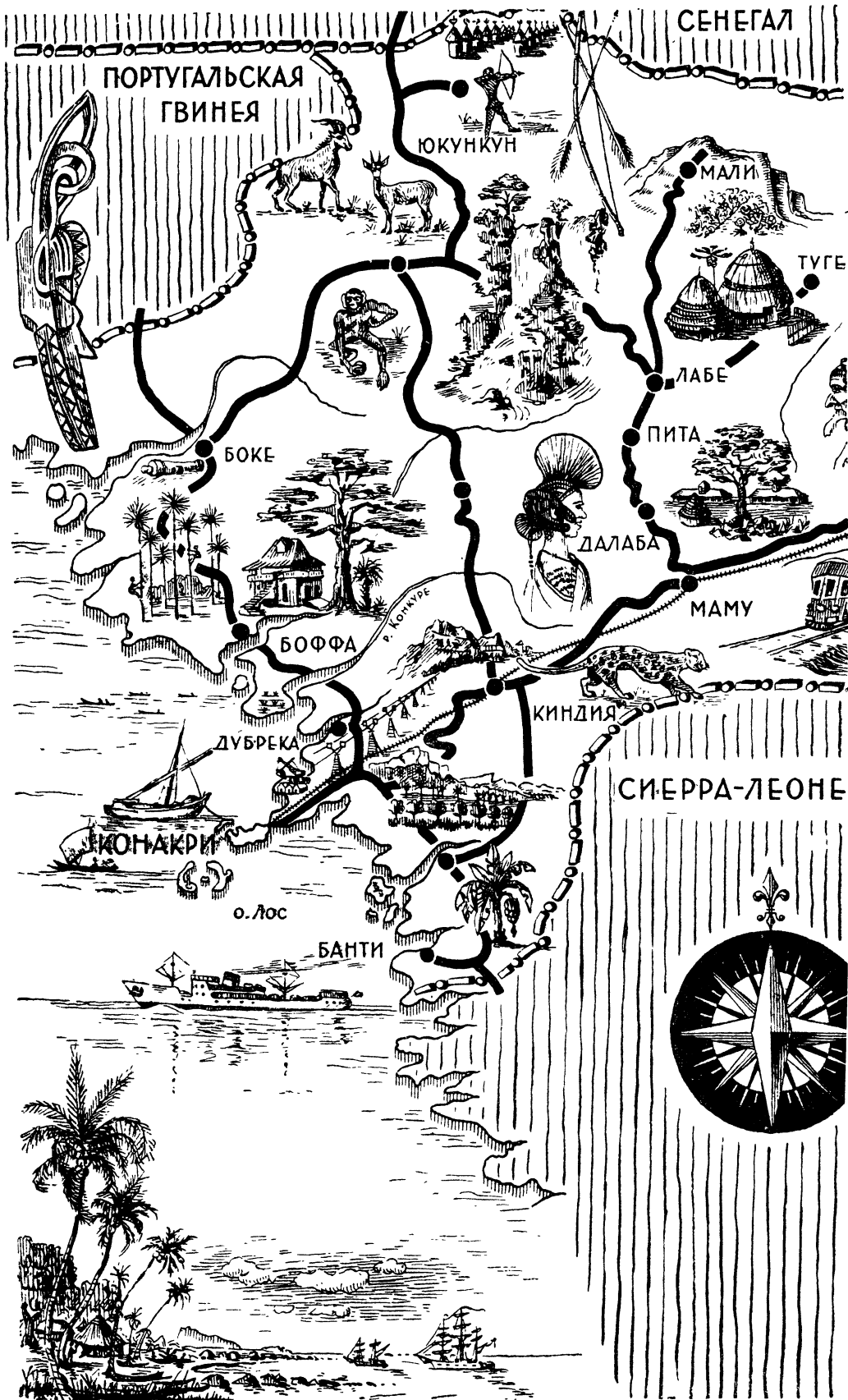
Мягко катится автобус от аэропорта. Впереди примостился гид, пожилой, худощавый испанец. Он подвижен, весел и говорлив. Что-то старательно объясняет, размахивает руками, но большинство из нас только догадывается, о чем идет речь: переводчика нет.

Одна из наших спутниц подкрутила репродуктор, проверила звук и начала говорить: «В Касабланке четыре посольства». Все заинтересовались: «Чьи?» Нам было известно, что все посольства находятся в Рабате — столице страны.

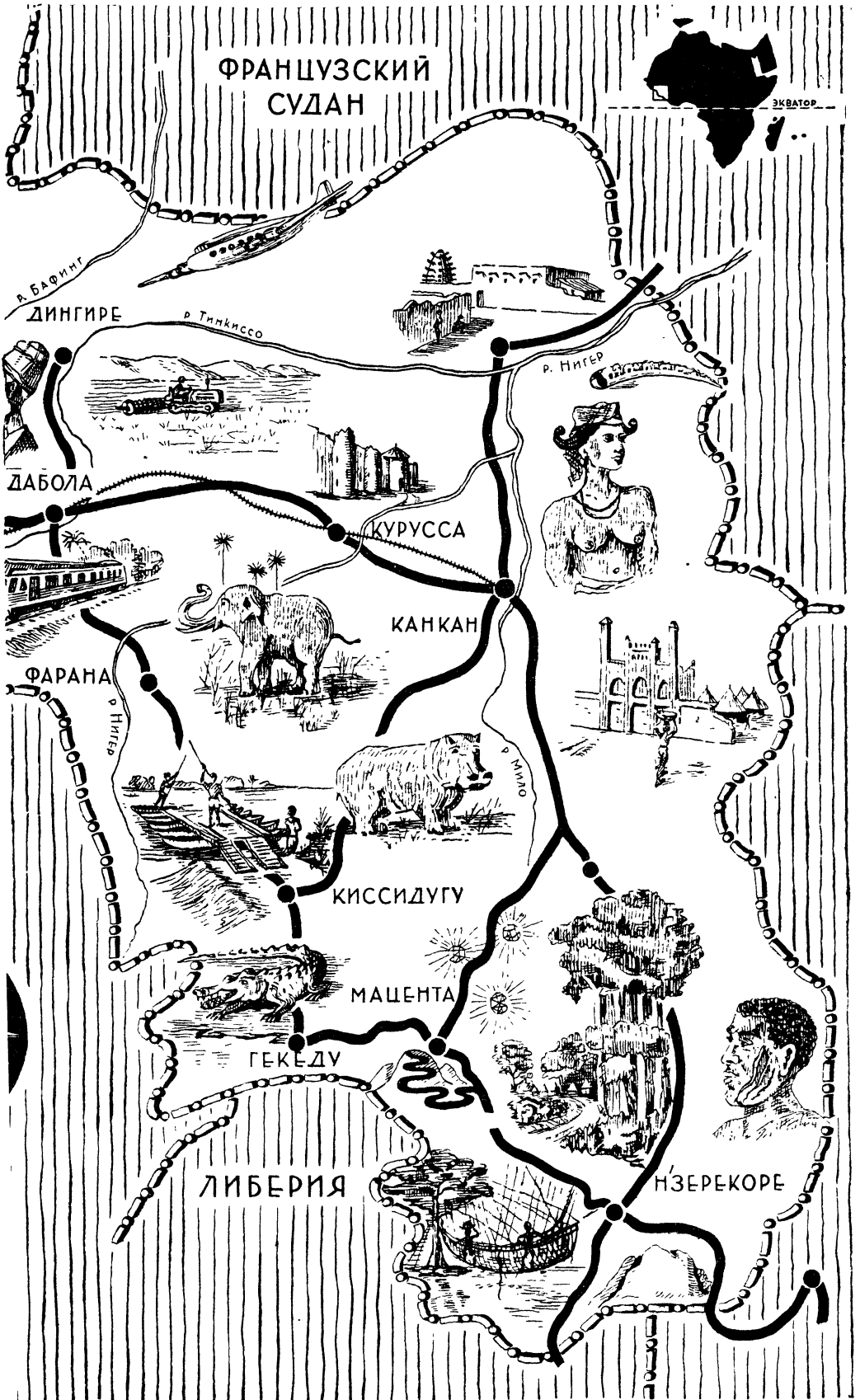
Гид растерянно посмотрел на белый, увитый цветущими лозами дом, весело засмеялся и, похлопав себя по лбу, сказал: «Перепутал. Здесь находятся четыре торговых агентства. Касабланка — город торговли».

Город мелькал и несся навстречу ажурными изгородями, огромными пальмами, уже привычными фесками, вереницей лавок, связками бананов, россыпями апельсинов, теплой чешуей ананасов, надписями на арабском языке, стрелами мечетей, богатством и красотой коттеджей и нищетою лачуг.

Рядом высились многоэтажные гаражи с широкими въездами, стеклянными стенами и дверями.



Так выглядит Гвинея



на туристических проспектах

Ни трамваев, ни троллейбусов в городе нет. Автобусы ходят редко. Но машины, принадлежащие частным лицам, движутся непрерывной лентой. Белокрылые, широкие шевроле, крейслеры, доджи, бьюики, форды. Они бесшумно скользят по улицам, а сами улицы напоминают торговые ряды, с тянувшейся непрерывной вереницей магазинов. Большие зеркальные витрины называют американским нейлоном, немецкой химией, французской косметикой и предметами роскоши. У дверей магазинов толкаются менялы, они хватают за полы и, отведя глаза в сторону, назойливо предлагают валюту.

Американцы, французы, испанцы — каждый по-своему — застраивали этот марокканский город. Строили торопливо, судорожно, не думая об ансамблях, о традициях, о стиле...

Угрожающе нависли над улицами белые громады отелей, испуганно сверкающие на экране синего спящего неба.

По вечерам из закрытых кабачков доносится «современная» музыка. С витрин улыбаются фотографии королей сезона. В кабачках, варьете, ресторанах веселятся, танцуют, совершают всевозможные сделки. Состоятельные люди, главным образом иностранцы, приезжают в Касабланку развлекаться из Рабата — он находится отсюда в полутора часах езды — и даже из стран Европы.

Вечером туристская фирма пригласила нас на ужин в марокканском кафе. Расписные стены, глиняная посуда, ковры, орнаменты, диваны, низкие столики... Подавали острые национальные блюда, пряные сладости, крепкий, пахнущий мятой чай.

Ужин тянулся долго. В зале часто менялись посетители. Приходили щеголеватые молодые люди с тонкими усиками и уставлыми, вялыми лицами. Их сменяли пары, самые странные. Обрюзгшая старая женщина со всей откровенностью поглядывала на юного спутника и гладила ему руку. Вот мать привела девочку, доверчивую, маленькую и хрупкую. И пока эта пышная, модно выкрашенная в седой цвет дама вела за рюмкой вина разговор с двумя бойкими мужчинами, девочка робко прижималась к ее плечу.

Вечерами центральная часть города производит особенно тягостное впечатление. Пустынные улицы и нависшие над ними дома, еще более белые в призрачном свете люминесцентных ламп. И какая-то затаенная опасливая настороженность чудилась во всем, даже в небе, глядящемся в землю россыпью бледно мерцающих звезд.

Касабланка — оживленный портовый город. У причалов застыли громады океанских пароходов, портовые краны переносят грузы — бочки, машины, тюки. Это самый крупный в Марокко порт, через него идет основная торговля, он питает марокканский рынок товарами. Круглые сутки здесь идет разгрузка и погрузка. Тысячи жителей Касабланки устремляют-

ся сюда в надежде на какой-нибудь заработок. Но этот грохочущий порт не дает людям работы.

Вот вытянулись длинные вереницы молодых и еще сильных, но уже уставших надеяться на лучшее мужчин. Облокотившись на каменные перила, стоит человек. Синие, замасленные брюки, свисающая ключьями трикотажная майка. И поза, и выражение лица — все говорит о том, что он давно привык бесцельно ждать...

Как он живет? Может быть, пятилетняя дочь его тклет ковры, сын выпрашивает подаяние, а жена мотыгой ковыряет землю, чтобы вырастить овощи и хоть чем-нибудь поддержать свою семью? Безработица здесь велика, жизненный уровень низок. Около восьмидесяти процентов жителей Марокко никогда не покупает мяса. Рис, лепешка, тминный чай — основная пища марокканца.

А какие богатые природные данные у страны! Здесь прекрасная земля — краснозем и чернозем. Если бы приложить к этой земле машины и знания! Если бы дать народу возможность пользоваться ее благами! Мы посетили находящийся недалеко от Касабланки известный своим средневековым восточным колоритом рынок.

Выбравшись из сутолоки машин, снующих по широким улицам центра, автобус свернул в северную рабочую часть города. Потянулись заводы: бельгийский металлический, завод по сборке автомобилей «Фиат», цементный, текстильная фабрика, принадлежащая иностранной фирме, американские нефтеочистительные заводы, завод сардин, пользующийся мировой известностью. Стоит он на берегу океана. Из окон его видно, как уходят на лов рыбаки. У берегов Марокко очень много рыбы, много консервных заводов. Но доходы уплывают из рук марокканцев.

Марокканская национальная буржуазия слаба. Ей принадлежит около десяти процентов капиталов, вложенных в экономику страны. При таком положении трудно развивать экономику в национальных интересах страны.

Всю дорогу, пока мы ехали, гид ставлял нас, как вести себя на рынке. Мы посмеивались над его осторожностью, но, очутившись возле базара, поняли, что советы имели довольно веское основание.

Базар сразу ошеломил нас своим многолюдьем и пестротой. Огромное шевелящееся пространство, где человек теряется, как песчинка в Сахаре. Горы фруктов, лежащих на старом брезенте, тряпье, палатки, навесы, тенты, прилавки. Дешевые платья, косынки, рубашки, халаты, чупяки, ермолки и фески, корзины, посуда. Ряды парикмахеров в походах на карточные домики палатках. Толпы людей окружают лекарей с травами, беснующихся прорицателей и «мудрецов», читающих наизусть коран.

Вот мавр в черной чалме, огромный и величественный. Просторное ярко-синее одеяние живописно оттеняет шоколадную

кожу его лица. В руке у мавра зеленые ящерицы — вараны, холодные и злые, похожие на маленьких драконов.

Мавр оглядывает толпу, что-то говорит, поднимает варана, подносит к шее и опускает за шиворот. Вот он опять достает его, что-то шепчет, прислушивается к шипению ящерицы и что-то объявляет собравшимся вокруг него людям. Возле мавра, у ног его, на обрывках газет, разложены травы, коренья. Мавр — лекарь. Варан — его советчик, узнающий людские недуги.

Жаждающие исцеления люди верят в мистическую силу заклинаний.

Целые ряды на рынке заняты швеями. Быстро крутятся колеса машинок, мерный стук челноков вливается в общий гул.

По рядам пробегает быстроногие водоносы в пестрых коротких одеждах, с бляхами, бубенцами и колокольчиками, с блестящими чашками и темным, лохматым мехом, перекинутым через плечо. Негоропливо движутся седебородые старики в белых мусульманских хаатах.

Не мудрено затеряться в этой человеческой сутолоке, где меньше покупателей, чем продавцов.

Во всем здесь сквозила бедность. И невольно вспомнились слова марокканского спутника, назвавшегося учителем: «Народу нужна конституция». Вспомнился американец, независимо разгуливающий в самолете, летящем над марокканской землей, беспечно дремлющий француз. Да, в «защитниках» здесь нет недостатка!

Но кого же защищают иностранцы в этой стране, начавшей борьбу за независимость? Не кого, а что: свои капиталы — девяносто процентов всех капиталов Марокко, не давая развиваться экономике страны в соответствии с национальными нуждами.

НА ЗЕМЛЕ СЕНЕГАЛА

Мы летели всю ночь. Этот полет вызвал странное ощущение нереальности. Я открывала глаза, видела небо — синее и глубокое, с яркими крупными звездами, близкими и мерцающими. Казалось, мы летим не над Сахарой, а поднимаемся в звездное пространство. А оно, словно живое, все колышется, переливается, горит...

Когда я снова открыла глаза, небо и звезды поблекли. По кабине прошла стюардесса с подносом, загорелись яркие лампочки, вспыхнули сигнальные надписи: «Застегните ремни».

Внизу уже обрисовывались черная земля, пенистая полоса прибоя, бледные огни Дакарского аэродрома.

Он пахнул на нас теплом разгорающегося дня. Небо, предвещая восход, покраснело, задышало жаром. Солнце, показавшись из-за горизонта, стало быстро взбираться вверх, раскаляя синеву. Это

был уже не север, а знойный запад Африки.

Как мало нам известно о Сенегале, об этих двух миллионах квадратных километров обугленной знойной земли! Исконной земли сенегальцев, вобравших в себя ее силу. Мы читали о крокодилах, слонах, носорогах — грозных обитателях сенегальских рек и лесов. Знали о завербованных во французские войска сильных людях, прямых, как стрела, и гибких, как лоза. Вот они ходят по полю, стройные, словно выточенные из эбенового дерева, в ярких одеждах, живописно оттеняющих черноту кожи, и как бы завораживают вас блеском улыбок и глаз.

На аэродроме, у входа в вокзал, старый негр поливает из шланга клумбы и поет тягучую песню. О чем он поет?

Мы сидим в тени цветущих акаций и слушаем несложную красивую и торжественную, как сенегальское утро, мелодию.

Наш спутник, комментатор Всесоюзного радио, открыл чемоданчик магнитофона.

Негр — его звали Соль Тахир — пел, оглядывая синеющие дали, высокое небо и солнце, иногда поднимая руку, как бы посылая привет берегам Сенегала, где он родился, вырос, где в его дом вошла млада жена, а потом появились на свет семь «козлят». Они разбрелись по стране, ища своей доли, а Соль Тахир приехал сюда, стал садовником. По утрам, поливая цветы, он поет. Он прославляет природу, солнце, сенегальскую землю с ее реками и пальмовыми лесами, океан, несущий прохладные ветры.

Прошел человек в коротких штанах. Он грубо крикнул на негра. Но тот даже не повернул к нему голову и продолжал петь.

Прекрасна сенегальская земля, прекрасны люди ее, их песни и сказки. Но именно здесь-то и кончилась сказка.

Очарование этого знойного утра было нарушено грубой прозой действительности.

Нам объявили, что Сенегал, входящий в состав французских владений, для нас закрыт. В наших паспортах не было виз на право остановки в столице Федерации Мали — городе Дакаре. Яркие, красочные плакаты, развешенные в холлах аэровокзала, манили: «Посетите Дакар». А мы поудобнее устроившись в креслах, готовясь к многочасовому ожиданию. По плану, намеченному обслуживающей нашу группу компанией, вылет в Конакри был назначен на завтра. Руководитель нашей группы Владимир Федорович Кузнецов вел переговоры с полицией, куда-то звонил по телефону. Возвращался расстроенный. Разрешения не было. Аэродромная полиция звонила в Дакар, дакарская — чуть ли не в Париж, консультировалась, справлялась, но ответа не давала.

В зал, где мы находились, по существу изолированные от мира, вошло несколько молодых африканцев. Они оста-

новились, огляделись и, увидев на спинках кресел наши теплые пальто, заулыбались и направились к нам.

Это приехали нас встречать члены бюро Сенегальской ассоциации культурной связи и дружбы с Советским Союзом. Юноши рассказали нам, что у них много дел. Они хотят, чтобы сенегальцы знакомились с русской, советской литературой, смотрели фильмы о Советском Союзе, читали газеты о жизни в стране, о которой они почти ничего до последнего времени не знали.

— Пришлите нам учебники русского языка,— просил председатель ассоциации Траоре Яя,— пришлите фильмы. Мы хотим изучать политическую экономию. Да, край наш прекрасен. Но мы хотим не только любоваться им. Наши люди хотят знать, что происходит в мире, общаться с другими народами, знакомиться с их культурой и бытом...

Мы передали юношам книги, журналы, которые привезли специально для африканских друзей, фильм об успехах советской науки. Кузнецов сообщил им о создании в Москве университета дружбы народов, о стипендиях, которые выделены советской страной молодым африканцам.

Встреча эта оставила ощущение чего-то хорошего и большого, что возникло и будет жить, сохраняя о себе добрую память.

Разрешения на въезд в Дакар мы так и не получили. Подошел автобус. Мы погрузили в него свои вещи и тронулись в путь. Он был недалог, этот путь, через пустынное поле к отелю, одиноко стоящему на берегу Атлантики — высокому белому, легкому зданию, обращенному окнами к океану. Быстрые лифты, просторные комнаты, удобная легкая мебель — все было полно продуманной простоты, все как бы создано для безмятежного отдыха человека. Окна, двери, выходящие на балкон, затененный от солнца и открытый для воздуха, свежего и пьянящего, пахнущего йодом, хвоей и водорослями. Тонкие сосны с длинными мягкими иглами истекали смолой. Красные, желтые, голубые зонты пляжа делали его похожим на цветник.

По прозрачной зеленой поверхности океана, держась за канаты, скользили за моторными лодками на водяных лыжах женщины, тонкие, гибкие, в темных очках и белых купальных костюмах...

Внизу, в ресторане, перед хрустальной вазой с фруктами, сидел вышощенный старик и брезгливо смотрел на виноградную ягоду, дрожавшую в его подагрических пальцах. А вокруг, между столиками, бегали сенегальцы, разнося фруктовые соки со льдом, закуски, фрукты.

На улице они открывали дверцы машин, в холле натирали полы, в парке поливали цветы и дорожки. Чернокожие в ярко-синих, ярко-желтых, красных куртках, они как бы специально были одеты

хозяевами отеля в дополнение к этой пестрой цветовой гамме.

Отель Н'Гор предназначен для очень богатых людей, проводящих в безделье время.

Мы пошли на пляж. Мы купались, а рядом под пальмой сидел полицейский, видимо опасаясь, что мы сможем уехать отсюда без виз в Дакар.

Вскоре к нам из деревушки, расположенной метрах в двухстах от отеля, пришла девочка. Худенькая, тонкая, в живописном тряпье, она села рядом, охотно позируя перед объективом. Вслед за ней появился мальчик с пустой консервной банкой. Он встал поодаль и начал выбивать на банке гулкую дробь, приплясывая и приседая...

Наглотавшись горько-соленой воды, мы пошли к деревушке. В это время запестрело парусами море. Обитатели деревни возвращались с лова. Выбежали женщины с ведрами и корзинами. Берег сразу расцвел их пестрыми платьями.

Женщины стали выгружать рыбу. Склоняясь к лодкам, они поднимали полные рыбой корзины и несли их на голове к деревне.

В деревушке было несколько грязных улиц. Небольшие, крытые соломой дома без окон. В темноте люди прятались от жары. Высокие пальмы почти не давали тени. Остро пахло гниющей рыбой. Отбросы ее валялись тут же, возле домов.

Двести метров от отеля до деревушки, а какое огромное расстояние, какой разительный контраст!

Медленно шли мы обратно. Сияли отполированные волнами базальтовые камни.

Полицейский по-прежнему сидел под пальмой. Он только глубже отодвинулся в тень от лежавших под солнцем наших спутников.

Вечером из ресторана доносились тоскующие звуки трубы. Мы снова вышли на берег. Океан искрился, переливался в свете взомедшей луны и тихо, глубоко вздыхал. Призрачно и немо спал островок перед пляжем. От земли исходило живое тепло, и казалось, что базальтовые камни шевелятся.

А несколько часов спустя мы уже перетаскивали наши пальто в автобус. На аэродроме нас ждал самолет. Мы улетели в Гвинею.

ОТКРЫТИЕ ГВИНЕИ

Это случилось во второй половине позапрошлого года. Генерал де Голль находился проездом в Гвинею, бывшей тогда еще французской колонией. Как писали иностранные журналисты, он обратил внимание на четкость и организованность происходившей в те дни в городе демонстрации. Люди шли по улицам стройными рядами с лозунгами и плакатами, на которых были написаны их заветные требова-

ния свободы, независимости и равноправия.

Де Голль удивился сплоченности и силе этих людей, их требованиям независимости. Он выразил недовольство и отказался от назначенной встречи с Секу Туре.

«Гвинея вольна в своем выборе,— заявил де Голль,— она может выбрать независимость, и в таком случае я гарантирую, что метрополия не будет чинить препятствий. Но, конечно, это поведет к некоторым последствиям...»

Не прошло и месяца, как Секу Туре заявил, что политбюро демократической партии Гвинеи решило отвергнуть предложенный де Голлем проект конституции, которая ставила исполнительную и законодательную власть страны под контроль французских, и провозгласить независимость.

2 октября того же года Гвинея стала независимой. И немедленно сказались обещанные де Голлем последствия.

Очевидцы рассказывают, что Конакри в то время напоминал осажденный город, из которого, сжигая корабли, поспешно бежали французские колонизаторы и их служащие.

Их вывозили на самолетах специальными рейсами. В первый же месяц независимости Гвинею покинули четыре тысячи врачей, механиков, служащих банков, контор. Половина преподавателей школ не вернулась в Гвинею из ежегодного отпуска. Министр общественных работ остался с пятнадцатью инженерами-африканцами. В распоряжении министерства финансов оказалось всего несколько человек.

Сразу же были прекращены все финансовые операции с Гвинеей. Судну, который вез рис для гвинейцев, было дано указание изменить свой маршрут.

По страницам буржуазных газет разлилась завогонная волна клеветы. Колонизаторы делали все, чтобы обесилить республику, подавить ее экономически и морально, лишить суверенитета.

Именно тогда над черным континентом, как солнце, освещающее путь к борьбе, загорелись слова: «Гвинея — прелюдия независимости Африки». Из африканских стран направились в Гвинею на работу специалисты. Остались здесь и некоторые прогрессивные французы. Из Европы приехала группа учителей, охваченных благородным желанием помочь Гвинее.

Гвинейская республика не только не рухнула, но окрепла, обрела свой голос, свое место среди самостоятельных государств мира. Правительства двадцати четырех стран пригласили Секу Туре посетить их государства.

Торжественно встречала Секу Туре Москва. Председатель Президиума Верховного Совета СССР, высказывая гвинейцам глубокое уважение и горячие искренние симпатии, выразил мнение всех советских людей. В ответ Секу Туре сказал, что африканцы беззаветно любят

свою страну, они стремятся к тому, чтобы видеть ее независимой, равноправной. И это будет возможно, если на африканском континенте исчезнет империализм. Он исчезнет, конечно, не сам по себе. За все прекрасное нужно бороться!

В Гвинее были сделаны решительные шаги к уничтожению колониализма и его пережитков. Эта страна еще раз показала борющейся, бурлящей Африке, что народ может добиться независимости, если он един в своих устремлениях, крепок духом и волей.

Мы не увидели в Гвинее плакатов, не услышали революционных маршей, речей и лозунгов. Мы застали здесь будни. Обыденные, человеческие будни, граничащую с наивностью безыскусственность и простоту. Но очень скоро мы поняли, что эта будничная простота обманчива. В Гвинее идет напряженная борьба за то, чтобы удержать и укрепить свои завоевания, дать народу то, чего он был лишен на протяжении многих столетий,— свободу.

...Гвинея открылась с воздуха — холмистая, зеленая, перерезанная серебристыми лентами рек. Над лесами расстилались дымки пожарищ, и дали тонули в светло-синем мареве. Широкой зубчатой полосой вдавался в океан полуостров.

У причалов порта стояли корабли. Маяк, несмотря на яркое солнце, еще посылавал свой луч в океан, навстречу идущим судам.

На полуострове среди зелени белели высокие здания, виднелись прогалыны красной земли, тянулись прямые линии улиц и цепи пушистых зеленых крон. Это был город Конакри — конечный этап нашего воздушного путешествия. Отсюда, из столицы Гвинеи, мы должны были совершать путешествие на автомашинах.

— Такое чувство, будто прилетели домой,— сказал наш спутник — экономист-африкановед Сергей Васильевич Датлин. И его слова выражали именно то состояние, которое, судя по счастью усталым лицам, испытывал каждый из нас.

Трудно рассказать, как мы провели первый день в Конакри. Это была непрерывная смена впечатлений, какой-то калейдоскоп.

Еще недавно Конакри лежал на небольшом островке Томбо. Насыпанная дамба соединила островок с материком, и город шагнул дальше, появился Конакри II и Конакри III, большой район Донка. Дамбу расширяют. По ней движутся машины-катки, утрамбовывая насыпанную землю.

В город на машине можно попасть только через «главную дорогу». Гладкая лента асфальтированного шоссе тянется от аэродрома, минует базар, переходит в Шестую авеню, еще недавно узкую улицу, а теперь широкую магистраль, с которой виден президентский дворец.

Город захлестывает лавина цветущих кустарников. Тонкие кокосовые пальмы



Улицы в Конакри

клонятся в истоме к океану, будто стараются заглянуть в его беспокойную душу. А рядом с пальмами, вцепившись в землю корнями, высятся причудливые пластинчатые стволы могучих баобабов, едва покрытые молодой листвой. Гвинея — край вечной зелени, вечного цветения. Смена листвы на деревьях происходит здесь постепенно, в течение всего года, всех его периодов, и дождливого и сухого. Одни деревья отдыхают, другие цветут, а третьи уже плодоносят.

В мартовские дни в Гвинею кончался сухой период, дозревали бананы, ананасы, апельсины, ярко-желтые помонажу — нежные, сочные фрукты, напоминающие своей формой крупные стручки сладкого перца. Над улицами, как елочные шары, висели уже желтеющие душистые манго. Начался сбор урожая. Делались запасы на долгий период дождей.

Ярки, необычны краски Гвинеи. Но, пожалуй, ярче ее цветов наряды женщин. Высокие стройные женщины занимаются хозяйственными делами возле своих домов. Они идут вдоль дорог по тротуарам с детьми за спиной. Здесь все носят на голове: фрукты, рыбу, дрова.

Кто-то сказал, что печи в Гвинею топят красным деревом. Мы действительно видели сложенные в небольшие штабеля тяжелые буре поленья красного дерева. По улицам бегали ребяташки, белозубые, веселые. Они махали руками, приветствуя проезжавших в машинах, выстраивались перед фотоаппаратом, отталкивали друг

друга, стараясь попасть в объектив. На перекрестках, у водопроводных колонок собирались оживленные толпы. Мальчики разливали воду в высокие и большие тазы, ставили их на головы девушкам, и те, чуть покачивая бедрами, несли воду домой, не расплескав по пути ни капли.

Мы долго бродили по улицам Донки — одного из районов Конакри, где живет коренное население города, наблюдая быт местных жителей, разглядывая живописных кустарей, тут же на улице изготовляющих и продающих свой товар, портных, сидящих за швейными машинками, корзинщиков, сапожников, гончаров.

В тени, под могучей кроной сейбы, мужчина вяжет сети. Здесь же сушится белье, расстеленное на земле. Женщина чистит апельсины — так они ценятся дороже.

По дорогам движутся автомобили, и полицейский со своего круглого возвышения на перекрестке регулирует не очень густой их поток. Снуют велосипедисты, везущие в корзинах длинные батоны. Муку Гвинея импортирует. Ни рожь, ни пшеница там не растут.

Шорох шин, музыка незнакомой речи, гудки портовых сирен, резкие крики голых орлов-стервятников — санитаров города, — звуки, краски, запахи...

Как и в любой столице, в Конакри сосредоточены все посольства, правительственные учреждения, банки и министерства. Возле обширного белого здания суда

в дни, когда происходят заседания, собираются толпы людей.

У биржи труда тоже пока еще толпится немало людей. Но безработица заметно идет на убыль. Будущие стройки республики потребуют много рабочих рук.

Как будет развиваться экономика Гвинеи? Первый трехлетний план, в те дни еще обсуждавшийся, а ныне уже утвержденный, относится к главным проблемам развитие горнорудного дела и строительство предприятий по переработке плодов. Особое внимание обращено на укрепление сельскохозяйственного производства — в деревнях живет девяносто пять процентов жителей.

Тридцать процентов бюджетных средств будет израсходовано на социальные нужды, на здравоохранение, благоустройство, образование.

Особенно заметные шаги сделало народное образование. По утрам дороги Гвинеи отданы детям. Они идут в школы, а книжки несут на головах. Веселые, энергичные ребята выбегают из спален интернатов на школьные дворы и делают зарядку. При школах строятся спортивные площадки. В городах сооружаются стадионы. Около двух лет назад для гвинейского ребенка школа, так же как и спорт, была недоступной роскошью. А теперь более пятнадцати процентов гвинейских детей учатся в школах, колледжах, лицеях. Существуют вечерние, заочные школы. Тяга к учению очень велика.

Училось бы значительно больше детей, но не хватает зданий, учителей. Выпускникам гвинейских лицеев дано право преподавания в начальных классах. Пересмотрены школьные программы. В одиннадцатилетней средней школе все обра-

зование и воспитание подчинено социальным нуждам нации. Закладываются основы для создания профессиональных кадров и своей технической интеллигенции, в которой республика испытывает острую нужду. Началась ликвидация неграмотности среди взрослого населения.

Много нужд у молодой республики. Мы посетили Институт научной документации и информации Гвинеи, во дворе которого свалены сброшенные с постаментов памятники первым гвинейским губернаторам, скульптуры, якобы олицетворявшие цивилизацию, которую несли сюда колонизаторы. Когда-то здесь размещался филиал французского института Черной Африки. Именно размещался, по существу он был резиденцией французских ученых в Конакри, а не базой изучения Гвинеи.

Он пока еще очень беден, этот институт, его только начинают создавать заново. В последнее время среди жителей лесных районов Гвинеи собрано несколько десятков масок, изображающих зло и добро. Одна из масок — красная, волосатая, со зловонным оскалом клыков — была предвестницей смерти для женщин. Другие маски несли болезни, горе. Есть маски для танцев, с рогами и черными длинными усами.

В институте мы видели головные уборы — высокие, пестрые, украшенные крупными бусами, выдолбленные из куска дерева стулья, напоминающие гриб с вогнутой шляпкой, простейшие сельскохозяйственные орудия, чаши из тыквы, ложки с длинными ручками, специальные корзины для выжимания сока из фруктов.

Все это пока в беспорядке лежало на столах, на полу. Институт ждал науч-

Гвинейцы на строительстве нового дома



ных работников, но их не было. Не было специалиста по естественным наукам. Штатный этнолог учился. Директор института, прогрессивный француз, поэт и преподаватель Сюре Каналь по возможности старался сберечь то, что должно послужить основой для плодотворной научной работы. Но многое разрушается. От сырости гибнет национальный архив.

В дождливый период влажность в Гвинее достигает восьмидесяти процентов. Жители города говорят, что платье и обувь, оставленные в закрытом шкафу, мгновенно покрываются плесенью. Для архивов, для книг нужны особые хранилища. На постройку их пока нет средств.

Вместе с рождением республики родилась новая форма труда. «Человеческие капиталовложения», или «трудовые вклады» — так называется добровольный коллективный труд на благо народа. Коллективом строят школы, больницы, мосты, дороги, которых так не хватает стране. Все жители участвуют в благоустройстве своих городов, селений.

Как много в стране первостепенных дел, от которых зависит дальнейшее укрепление республики! Гвинее столько нужно наверстывать! Здесь до сих пор нет своей письменности. Еще не решено, какой язык будет положен в ее основу. Пока что государственным языком остается французский...

Из-за отсутствия письменности в республике фактически не выходят газеты, существуют лишь бюро информации и радиодендр, регулярно извещающие жите-

лей обо всех событиях, происходящих в стране.

Мы познакомились с юными энтузиастами, работающими в этих учреждениях. Мы сидели в кабинете директора бюро информации. Гудел вентилятор. За стеной стучала на машинке кареглазая гвинеянка Бай Маргарет. Откуда-то с конца коридора доносился характерный треск телетайпа. По коридору, дверь в который была открыта, озабоченно, как во всех редакциях мира, бегали сотрудники.

Директор бюро информации Туре Абдуллай познакомил нас с теми, кто занят выпуском информационного бюллетеня. Все они молоды, как сама Гвинея, как все ее руководящие деятели.

— Вот Альфа, — представил нам редактор веселого круглолицего юношу в темном костюме и белой рубашке.

Диалло Альфа занимается вопросами внутренней жизни. Он информирует о деятельности партии, профсоюзов, об экономических проблемах, о строительстве школ и больниц. Это очень интересная информация. Бюллетень рассказывал, например, как шло обсуждение первого трехлетнего плана развития хозяйства, какие решения были приняты. Он сообщал о новых законах, о борьбе со взяточничеством, спекуляцией, этим трудно искоренимым наследием прошлого. Один из методов этой борьбы — единые цены на сельскохозяйственные продукты, которые введены в стране.

Этот бюллетень отражает в какой-то

Национальные танцы под барабаны тамтам





У гостиницы в Конакри всегда дежурят шоферы такси...

мере историю юной республики, первые самостоятельные ее шаги.

Радиоинформацией ведает Дамэ Нуру Белло. Он невозмутим и спокоен, держится с величавым достоинством. Небольшая бородка, галстук бабочкой, в пальцах зажата сигарета. Говоря о своей работе, Нуру Белло слегка улыбается. У него важный участок. Ежедневно Конакри ведет радиопередачи на шести языках основных народностей Гвинеи. Раз в неделю Гвинея вещает на Сенегал и Португальскую Гвинею — колонию Португалии. Люди этих стран очень ждут передач из свободной Гвинейской республики. Их волнует все, что в ней происходит. Опыт Гвинеи важен для всех африканцев, борющихся за свободу. Но станция в Конакри недостаточно мощна. Нужно ее усилить, строить новое здание.

И опять нужно, нужно... Так много еще нужно!

Трудно писателям (их пока трое), потому что нет полиграфической базы. Книжки можно печатать только во Франции на французском языке. В Гвинее сильно развито устное творчество, но оно не записано. Здесь богатый музыкальный фольклор.

— Все гвинейцы — композиторы, — говорит Альфа, — но записанной музыки тоже нет.

Многого нет, однако народ полон силы, энергии, дерзаний, веры. У него есть ни с чем не сравнимое чувство свободы. На его стороне симпатии всего прогрессивного человечества, готового помочь молодой республике строить новую жизнь.

В один из вечеров мы были на чешской промышленной выставке, проходив-

шей в Конакри. Освещенные люминесцентными лампами, стояли машины, столь нужные гвинейским полям. На стендах пестрела эмалированная посуда. Такую посуду мы видели в самых далеких селениях — она пришла в Гвинею по вкусу.

Чехи прислали врачей. Советский Союз предоставил Гвинее долгосрочный кредит, заключил соглашение об экономическом, техническом и культурном сотрудничестве.

Многие прогрессивные люди приехали в Гвинею, чтобы помочь республике. Французский художник Герри оставил в Париже свою мастерскую и приехал в Конакри. Он стал преподавателем рисования в школе. Герри называет многих детей, обнаруживших незаурядные дарования. «Гвинейские дети способны и восприимчивы. Они мягки, как воск, — говорит художник. — Перед ними большое будущее.

Ночью, когда с моря дует легкий ветерок, обрываются и падают на землю огромные кокосовые орехи — неценное богатство республики. Они разбиваются об асфальт. А юные обитатели Конакри колотят их о каменные ступени ведущих к океану лестниц.

Вот чумазый подросток колотит огромный орех, а трое других внимательно следят за ним. Вся земля вокруг усыпана копррой. Видимо, это излюбленное место охотников за кокосами. Треснула прочная зеленая оболочка. Из ореха полилась прозрачная жидкость. И сразу пассивные наблюдатели оживились, бросились отнимать у приятеля орех. В конце концов все по очереди напились, подняв орех над головой.

В другой раз мы видели, как полицейский журил мальчугана за то, что тот карбался по гладкому тридцатиметровому стволу кокосовой пальмы. Он журил его не за то, что мальчик срывал орехи. «Ребенок мог разбиться», — сказал нам полицейский.

Любовь к детям — одна из прекрасных черт народа Гвинеи.

— У нас не бывает сирот, — сказал мне один гвинеец. — Если случится несчастье, ребенок потеряет родителей, его сразу же усыновляют родственники или соседи.

Вечерами Конакри наполняется новыми звуками: возникают и гаснут глухие удары тамтамов, слышится гортанная песня. Жители выходят из домов, расстилают циновки, лежат, отдыхая, готовят ужин. Девушки причесывают друг друга.

Они закручивают волосы в тугие косицы, лежащие рядами вдоль головы. При свете немигающей керосиновой лампочки женщина штопает белье. Две девочки, встав друг против друга, разучивают национальный танец.

Возле входа в ярко освещенную лавку сидит мужчина. Его поза полна покоя и умиротворения. Рядом сидят четыре женщины, может быть, жены. Многоженство еще существует, и это одна из социальных проблем, в решении которых участвуют сами женщины — противницы многоженства.

— Девушка, учившаяся в школе, теперь ни за что не пойдет в дом второй женой, — сказала мне одна гвинеянка.

Мы остановились возле дома, из которого доносились громкие звуки ритмического танца. В дверях, закрытых занавеской, стоял юноша. Время от времени он исчезал за занавеской, видимо менял магнитофонную ленту.

— Люди отдыхают. Я хочу развлечь их, — сказал нам этот восемнадцатилетний рабочий единственной железной дороги в стране.

Дом его был пуст. Почти никакой мебели. Он живет один, ждет того времени, когда сможет привести жену. Ждать нужно еще два года. По закону мужчинам разрешено жениться не раньше двадцати лет, а девушка может выйти замуж в семнадцать лет. У юноши есть невеста, они знают друг друга с детства и уже договорились о браке.

Одна из примечательных черт нового времени — выбор невесты по любви, по взаимному согласию.

Как складывается день труженика-гвинеяца? Он встает в шесть часов, пьет чай или кофе с куском хлеба (крестьянин ест рисовый бульон без мяса). С семи до двенадцати горожанин работает. До двух перерыв для еды, теперь уже более плотной: салат, рыба или мясо, овощи. Рабочий день продолжается до шести часов вечера. В семь тридцать молитва в мечети или дома.

После ужина гуляют, развлекаются. В деревне в девять вечера все уже спят.

В кинотеатрах Конакри по вечерам показывают фильмы, озвученные на французском языке. Фильмы разных стран меняются ежедневно. Но «Судьбу человека» показывали в переполненном зале два дня. Это была одна из немногих советских картин, попавших в Гвинею.

Перед началом сеанса всегда исполняется национальный гимн республики, все гвинеяцы встают, замирают — торжественные и серьезные.

В Конакри я получила первые уроки местного языка.

У колонн отеля, в тени навеса, обычно сидели молодые шоферы такси. Здороваясь с нами, они говорили: «Спутник». Одному из них я подарила значок и немедленно оказалась в окружении шоферов. «Спутник, спутник», — протягивали они руки...

Значков не хватало.

Один из обделенных юношей огорченно попытался заговорить со мной.

— Ибраиме, — назвал он себя.

— Ибраиме, — повторила я, записывая, и он радостно закивал головой.

Я записала в блокнот четыре десятка местных слов.

Короткий урок языка помог мне не раз, хотя и примитивно, объясняться с гвинеяцами.

Нам сказали, что почти все шоферы связаны родственными отношениями. Работают они у своего двоюродного брата, невысокого, добродушного, круглолицего Фоди. Он — владелец семи машин — платит шоферам небольшую зарплату, обязан кормить их и предоставлять им жилье. Он получает известный доход, копит деньги, рассчитывая приобрести еще несколько машин. Фоди находился тут же, среди шоферов, и, когда подходил пассажир, сам садился за руль...

...Темна и мягка гвинеяская ночь. Звезды крупные, яркие и незнакомые. Под зонтами огромных деревьев душно и влажно. И в отеле душно, хотя раздвинута дверь-стена. Матрацы прикрыты клеенкой. Вместо подушки под головой твердый валик. Не спится. Шумит океан и уходит от берега, обнажая глыбы железняка, поблескивающие в отсветах звезд и огней Конакри. Кричит какая-то птица. А может быть, обезьяна. Эти непоседливые обитатели гвинеяских лесов, разорители банановых плантаций, живут и в городе. Пищи для них здесь сколько угодно. Плоды манго, папайи — дынного дерева — падают прямо на асфальт.

В ГЛУБИНАХ СТРАНЫ

Наши поездки по стране начались в первый же день. Мы уезжали в районы, возвращались вновь в гостиницу, иногда в тот же день, иногда через несколько суток. Дни, проведенные в глубинных районах страны, все шире и шире раскрывали перед нами картину жизни Гвинеяской республики.

...Автобус пришел с запозданием. Небо начинало белеть, раскаляться, воздух наполнился испарениями. И уже не хватало сил двинуть рукой, куда-либо идти, что-нибудь делать...

Европейцы жалуются, что Африка действует на них расслабляюще. Многие из живущих в Гвинее и Сенегале французов оставляют своих детей в Европе. Климат Гвинеи вообще нездоров. В марте здесь начинаются дожди. Они движутся с юга на север и кончаются в ноябре-декабре. Говорят, что в июле и августе жизнь в глубине страны замирает. Разливаются реки, гудят водопады, с неба низвергаются непрерывные ливни. И температура колеблется, то достигая тридцати с лишним градусов жары, то резко падая. И тогда начинают гулять по стране тропические лихорадки.

До сих пор в Гвинее свирепствует много тяжелых болезней, но с ними уже начата борьба. И одна из мер, способствующих быстрому искоренению болезней, — бесплатное лечение, недавно введенное в стране.

Когда, наконец, наш автобус прибыл, мы расселись по местам и тронулись в путь. Миновали Шестую авеню с ее несочетаемыми рядами лавок, в которых особое внимание привлекают замечательные изделия африканских кустарей — луки, барабаны, тамтамы, маски из дерева и слоновой кости. В этих изделиях запечатлелись высокое мастерство и своеобразное восприятие жизни.

На перемычке, соединяющей остров с материком, шла непрерывная работа. Буквально на глазах сокращались углубления, разделявшие некогда три плотины. В красной густой воде важно стояли цапли — белоснежные, хрупкие, тонконогие. А самосвалы все возили и возили красную, насыщенную железом землю, засыпая котлованы.

Где-то сбоку лежал аэродром — к нему вела одна из дорог. Среди пальм мелькали конусы деревенских крыш. Идущие вдоль дорог люди останавливались или прекращали на минуту работу, чтобы послать нам привет, помахать рукой. Доброта, приветливость, но и настороженность, обида при малейшем невнимании характерны для гвинейцев. Впрочем, настороженность и обидчивость, появившиеся в годы колонизации, заметно стираются. Расцветает природное человеческое достоинство. Здесь люди настолько проникнуты сознанием происходящих в их жизни перемен, что даже дети часто вместо приветствия кричат: «Гвинейская республика!»...

В деревнях течет мирная жизнь. Вот мужчина делает кирпичи. Он кладет вязкую глину в форму, утрамбовывает ее, затем вынимает кирпич и сушит на солнце. Из таких кирпичей строят дома. Основание хижины плетут из тонких жердей, обмазывают глиной и накрывают пушистой соломенной крышей. В большинстве домов окон нет. Очаги кладут у

дома. Иногда жилище опоясывают балконом.

Женщины толкут в больших деревянных ступах фоньо — род проса — или маньок, разжигают очаги.

Небольшой водоем пестреет цветными одеждами. Здесь на гладких больших камнях идет стирка. Стирают и мужчины, и женщины, и подростки.

Деревушки следуют одна за другой. Возле деревень — небольшие участки, засаженные маньоком — растением, толстый, мучнистый корень которого в сухом измельченном виде заменяет гвинейцам муку и крупу.

Главная же пища населения многих районов страны — рис. Он выращивается и на заболоченных илистых береговых низменностях, и в горных долинах Фута-Джаллона — огромного горного массива, занимающего центральную часть Гвинеи. В стране начали создавать большие производческие хозяйства — первые базы культурного земледелия.

Наш автобус ведет худощавый, высокий гвинеец Селябабука. Его руки уверенно лежат на руле. Иногда он останавливает машину и ждет, когда проедет встречный автомобиль, его протяжные сигналы слышны издали. Дорога узкая, на ней нередки аварии и катастрофы.

В машине идут разговоры. Кто говорит о лабораториях института Пастера, расположенных где-то неподалеку от Киндии, кто — о высоковольтной линии, шагающей через горы из Конакри в Киндию, и вспоминает, что общая мощность гвинейских электростанций всего лишь одиннадцать тысяч киловатт. И, конечно, вспоминают зловещую муху цеце, которая долго отпугивала от гвинейских берегов работорговцев и колонизаторов.

Политическая независимость — это только первый шаг к прочной независимости. Гвинейцы отчетливо представляют, как сложен предстоящий им путь. Строжайшая экономия, всеобщее трудовое участие в строительстве новой жизни увеличат бюджет, проведенная недавно денежная реформа укрепит экономику. Но еще крепко держится в стране иностранный капитал. И электрические станции, и городской водопровод, и почти все промышленные предприятия, и даже алмазные копи принадлежат в основном иностранцам. Но налог с предприятий поступает в бюджет страны.

Разговаривая, мы незаметно добрались до Киндии. Этот город построен недавно, вместе с железной дорогой. Он мало чем отличается от других. Те же белые дома европейцев и кзы местных жителей. Те же баобабы, манговые деревья. На улицах толпы людей. Большая станция. Весь экспорт бананов, растущих на окрестных, похожих на кукурузные поля плантациях, идет через Киндию.

Мы заглянули на эту станцию, где под навесом лежали огромные гроздья бананов, тщательно упакованных в полиэтиленовые мешки. Рядом стояли ящики с

ананасами, ждущие отправки в Конакри, а оттуда в разные страны, в том числе и в Советский Союз. Разглядывая ананасы и бананы, мы еще не знали, что ровно через месяц увидим их в московских магазинах.

Нигде я не видела такого обилия красок, как на базаре в Киндии. Он занимает несколько кварталов. Фрукты высятся целыми горами: грейпфруты, апельсины, манго. Помидоры, огурцы, лук, салаты, кокосовые орехи, орехи масличных пальм, орехи кола.

Многие ряды занимают торговцы рыбой, мясом, которого, впрочем, немного. Муха цеце, укусы которой смертельны, препятствовала развитию животноводства. В Гвинее разводили только породы скота, не боящегося ядовитых укусов этой мухи. Продаю на базаре и рис, и фоньо, и маньок.

Но как ни красочны продуктовые ряды, они блекнут перед рядами, где продаются ситцы. Чего только не увидишь на этих ситцах — и пальмы, и карту Гвинеи, и портреты людей, и крупные экзотические цветы, и причудливые листья неизвестных деревьев, и плоды ананаса. И все это — красное, голубое, зеленое, белое, развешенное на протянутых вдоль рядов веревках, — переливается радугой красок и манит к себе покупателя. Ткани изготовлены по особым заказам гвинейцев в разных странах.

Впрочем, продавцы, видно, не очень-то жалуют покупателей. Они преспокойно спят, растянувшись в тени, и продав-

ца приходится расталкивать. Но потом уж трудно унять его пыл, так красноречив он в своих уговорах.

Здесь же, сидя на земляном полу крытого рынка, шьют, играют в кости.

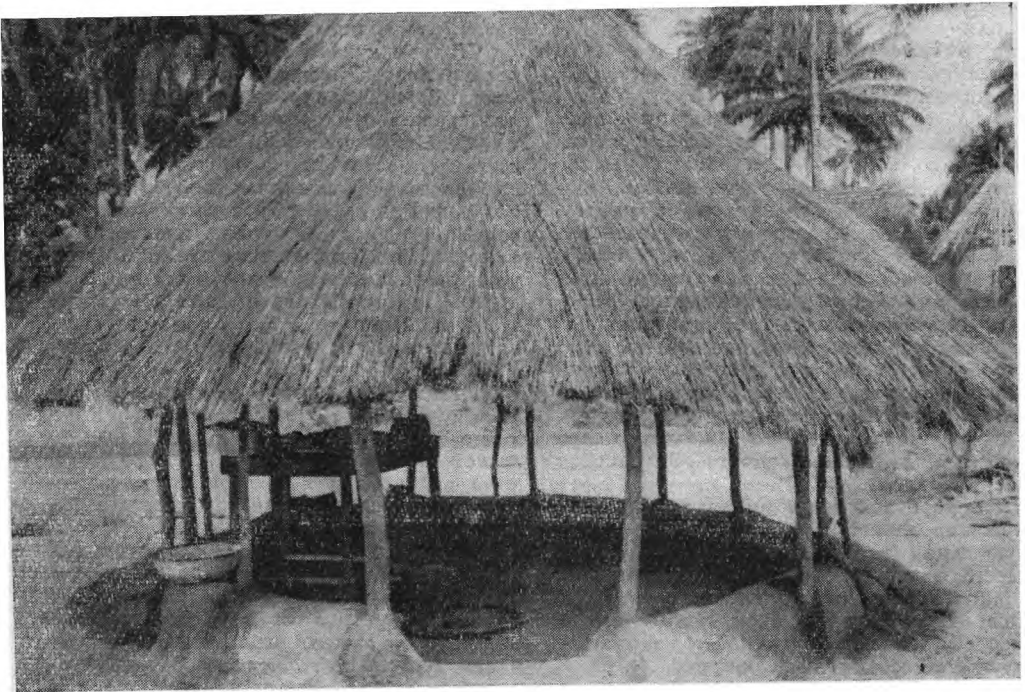
Торгуют на рынке и бусами, кошечками из змеиной кожи, сосудами, сделанными из тыкв, корзинами, чешской цветной посудой. В руках всей этой мелкой торговой буржуазии сосредоточены небольшие капиталы. Крупной национальной буржуазии в Гвинее нет, и большая торговля еще находится в руках иностранцев, которые постепенно свертывают дела.

* * *

В пяти километрах от Киндии находится филиал института Пастера. На его обширной территории, в вольерах, в закрытых больших и маленьких клетках живут обезьяны и змеи — десятки разновидностей. Суелливые макаки прыгают по клеткам, раскачиваются на трапециях, кидают в посетителей смятым в комочек сеном, протягивают за решетку свои маленькие розовые лапки, выпрашивая бананы. Служитель бросает их маргышкам, они ловко подхватывают бананы еще в воздухе и, очистив, быстро съедают.

В длинных каменных рвах, обнесенных железной сеткой, совершенно сливаясь с камнем, притаились пятнистые змеи. Там же в специальных домиках спят питоны. В особых помещениях, в небольших клетках, за стеклами, злобеще раскачиваются на хвостах кобры. Как

Несложно устройство деревенской кухни



прутья лежат тонкие, ярко-зеленые мамбы, самые ядовитые змеи, нападающие на свои жертвы с деревьев.

В филиале института Пастера добывают сырье для вакцины против желтой лихорадки, полиомиелита, бешенства, укусов змей. Возглавляет филиал научный сотрудник — француз.

* * *

До сих пор мы видели обезьян только в клетках и в вольерах. Но нам хотелось увидеть их на свободе. Нам столько рассказывали о том, как обезьяны бегают по дорогам, как таскают с плантаций бананы.

— Обезьяны, обезьяны! — вдруг закричал один из пассажиров автобуса.

Все прикинули к окнам. По дороге, смешно припадая на передние лапы, вытянув хвосты, бежала обезьянья стая. Здесь были и совсем еще маленькие, пушистые, серенькие, быстро перебирающие лапками обезьяны, и взрослые, медлительные, размером с большую собаку животные. Они охраняли с боков малышей. Свернув в лес, обезьяны вскарабкались на деревья и стали удивленно смотреть вслед уходящему автобусу.

Потом мы уже не обращали на обезьян внимания — они были повсюду — раскачивались на ветвях над нашими головами, неподвижно сидели где-нибудь на опушке, глядя на пасущихся малорослых коров и их спутников и защитников от насекомых — белых изящных птиц, напоминающих цапель.

Особенно много обезьян встречается по дороге на ФРИА — бокситовый комбинат в Кимбо, принадлежащий международной компании.

Кимбо не селение, а щедро открытое солнцу плато в предгорьях Фута-Джаллона. На нем и поселки, и высокие дома с раздвижными стенами, и огромные цехи, блестящие металлом цилиндры очистителей, электростанция, водокачка, охлаждающие установки, стометровые вращающиеся печи для обезвоживания руды, карьеры, бульдозеры, многотонные самосвалы, словом, все, что вместе составляет бокситовый комбинат компании ФРИА.

ФРИА — это сорок восемь с полови-



Женщина новой Гвинеи

ной процентов американских акций, двадцать шесть с половиной — французских, по десять — швейцарских и английских, пять — западногерманских. Может быть, пайщиком сюда войдет и Италия. Концессионеры не отказались от мысли построить здесь алюминиевый завод.

В Гвинее огромные запасы бокситов. Возле Киндии разработки их начались около двадцати лет назад. В этом южном месторождении запасы бокситов исчисляются в семьдесят миллионов тонн. В долине Кимбо бокситов еще больше — сто пятьдесят миллионов тонн.

В районах Фута-Джаллона, где до сих пор продолжают поиски, обнаружены

залежи в восемьсот с лишним миллионов тонн. Руда здесь не содержит кальция, удобна для обработки, так как не нужны дополнительные затраты на извлечение кальция.

На ФРИА работает сейчас около тысячи четырехсот человек. На строительстве фабрики было занято более трех тысяч рабочих. Их уволили. Скоро останутся без работы еще несколько сот человек.

В одном из открытых карьеров, где бульдозеры ворочают красную землю, мы спросили рабочего, сколько он получает. Гвинеец иронически улыбнулся, покачал головой и ответил: «Французы много не платят».

Гвинейские профсоюзы следят за условиями труда на комбинате. Установлен гарантийный минимум зарплаты, определена продолжительность рабочего дня, обусловлены отношения с предпринимателями.

Мы ходили по заводу, смотрели, как добывают породу, засыпают ее в шаровые мельницы, очищают от примесей. Взираясь по лестницам к длинным горнякам печам, были в диспетчерских. Рабочие гвинейцы всюду приветливо встречали нас, улыбались, хлопали в ладоши.

Глядя на этих рабочих, мы еще сильнее почувствовали будущее Гвинеи, увидели ее силу. И уже не имел никакого значения рассказ гида о том, как два французских инженера извезли всю страну, пытаясь на основе «интеллектуальных данных» набрать учащихся для создания на ФРИА профессиональной школы, и смогли якобы набрать только шестьдесят гвинейцев. Никакого впечатления не произвели на нас и унылые показательные рабочие поселки с жалкой растительностью возле домов. Это было прошлое Гвинеи. Будущее принадлежало людям, которые сидели сейчас на экскаваторах, трудились в огромных цехах.

«Мы хотим оградить человека от морального упадка, увеличить его богатства и содействовать развитию его духовной культуры, — так охарактеризовал политику Гвинейской демократической партии ее генеральный секретарь Секу Туре. — Мир — вместо агрессии. Справедливость — вместо несправедливости. Труд — вместо праздности и грабежа. Благополучие каждого вместо нищеты одних и богатства других».

Путь к будущему начат. А идущий — дойдет. Так говорит народная мудрость.

* * *

Территория Гвинеи невелика, меньше некоторых наших областей. Двадцать тысяч квадратных километров. Примерно два с четвертью миллиона жителей. Нам так и сказали: «примерно». До недавнего времени здесь не было никакой регистрации, перепись населения не проводилась.

— Сколько прожил этот человек? — спросила я как-то, увидев в одном из се-

лений седого, иссохшего старика. Его темная кожа лежала глубокими складками возле рта и на шее.

На вопрос переводчика старик только покачал головой. Много раз начинались дожди, много раз собирались люди селения на обрядовый праздник урожая. Тяжело наваливался на селение голод, как смерчи проносились болезни, унося иногда половину жителей. Приезжали вербовщики, соблазняли людей тряпками, побрякушками. А старик все жил и смотрел на мир. Сколько он прожил, не знает, год рождения нигде не записан, а сам он его забыл.

ВСТРЕЧИ НА ФУТА-ДЖАЛЛОНЕ

В Маму — городке с шеститысячным населением — мне сказали, что самому старому его жителю сто пять лет. Вообще старых людей мы видели мало. Создалось впечатление, что Гвинея — страна юности. Молодежь вышла на передний план жизни. Где бы мы ни были, везде прежде всего бросалась в глаза молодежь, радостная, энергичная, сильная. В Конакри она заполнила территорию чешской выставки, разглядывая машины, предметы домашнего обихода. Девушки плотной стеной окружили эстраду, где шла демонстрация мод.

Молодежь управляет страной, занимается организацией сельскохозяйственных кооперативов.

И вот в Далаба мы встречаемся с молодежью, слушаем ее песни, смотрим, как красиво, естественно танцуют юноши, девушки и подростки ритмические танцы.

В глубь страны мы ехали поездом. Тепловоз неторопливо тащил открытые, небольшие вагончики, до отказа забитые сидящими на скамейках людьми.

На железнодорожных станциях во время коротких остановок к вагонам подбегали девушки и ребятишки с корзинами и тазами, наполненными фруктами, и наперебой предлагали их — совсем как у нас в Поньрях или в Нижнем Осколе.

Вот поезд, замедляя ход, приблизился к маленькой станции. Под навесом перрона мы увидели большое число людей. Они глядели на подошедший состав, а мы высовывались из открытых дверей вагона, стараясь рассмотреть, что происходит на станции.

Мы поняли, в чем дело, только тогда, когда увидели маленькую девочку с красным советским флагом и букетом цветов. Она шла к нашему вагону, по коридору, между рядами людей, радостная и открытая, как светлая юность Гвинеи.

Советские люди, представители Общества дружбы с народами Африки, были для этой гвинейской девочки частицей нашей великой страны...

На привокзальной площади рядами стояли женщины, дети, мужчины. Особое место занимал отряд пионеров — две шеренги мальчиков и девочек в песочного цвета рубашках с короткими рукавами и в разноцветных галстуках. Пионеры запели национальный гимн, и все замерли. А едва затихли в неподвижном знойном воздухе последние мелодичные звуки гимна, раздались другие звуки — короткие, резкие, глухие. В центре площади появилась группа юношей с длинными, украшенными перьями барабанами, на которых они выбивали четкий ритм. Он то замедлялся, то убыстрялся, захватывая не только того, кто слушал, но и самих исполнителей. Другие юноши в белых одеждах танцевали под звуки барабанов. Согнув колени, они перегибались, кружились, подпрыгивали, делали сальто.

Сопровождаемые обволакивающими звуками тамтамов, мы пошли вдоль рядов, пожимая протянутые руки.

После коротких дружеских бесед мы поехали дальше. Я сидела рядом с нашим механиком Диопом Али, черным, высоким, худым сенегалцем. Я объяснялась с ним на сложном наречии, состоявшем из смеси французского с двумя десятками местных слов, которым меня научили шоферы в Конакри.

Я узнала, что наш шофер Селябабука родился в Лабе, что механик Диоп едет с нами потому, что поездка сложная, долгая, могут быть в дороге поломки, что маршрут наш таков: города Далаба, Пита и Лабе. А жить мы будем в Фута-Джаллоне, в одиноко стоящей на одном из горных плато гостинице...

Время сглаживает, затухивает впечатления и краски. Но запахи с какой-то еще не известной человеку силой способны вдруг воскресить, сделать реальным и осязаемым минувшее. Фута-Джаллон все время живет во мне всей своей первозданной прелестью и чистотой. Я ощущаю его в ранней свежести утра, в тонком запахе ландыша, в горячем дыхании теплой земли и дымящих костров, в прозрачности родниковых струй. Там, где я вижу природную свежесть, сразу встает передо мной Фута-Джаллон, его покрытые девственным лесом горные цепи, волнами бегущие вдаль. Гряда за грядой, разделенные синей, прозрачной дымкой.

По вечерам вспыхивают и гаснут огни в лесах как маяки в океане. Доносятся звуки тамтамов и ярко разгорается пламя пожара, зажженного человеком, чтобы расчистить в лесах для посева участок земли.

В Фута-Джаллоне находятся самые древние поселения — Пита, Лабе, Далаба. Здесь была столица народа алмани, создавшего некогда государство Фута-Джаллон. Ныне это деревушка, где по праздничным дням собираются крупные базары.

Фута-Джаллон — сердце Гвинеи, самая населенная ее часть. Отличный кли-

мат, горные пастбища, долины — пристанища земледельца — привлекали сюда людей. Издавна здесь росли маньок и просо, позже появились кукуруза, рис и многие другие южные культуры.

Мы поселились в гостинице, длинном и низком здании, придвинувшемся к обрыву большого горного плато. В номерах стояли кровати, покрытые грубыми одеялами из овечьей шерсти, отпугивающими ядовитых насекомых. Шкафы были из железа — защита от полчищ жадных термитов. У кровати на столике светили лампы «летучие мыши»: электричество здесь выключали рано.

Едва солнце упало за горы и окрестности засинели в вязком, стягивающем го-ры сумраке, мы отправились в Далаба.

На городской площади ослепительно горела газолитовая лампа. Здесь были пионеры, совсем еще маленькие, подростки и почти юноши.

Нам сказали, что пионеры от семи до десяти лет носят красные галстуки — символ труда и независимости, которую гвинейцы готовы защищать своей кровью. Более старшие носят желтые галстуки — символ солнца, которое, как справедливость, освещает землю, и золота — богатства гвинейской земли. У пятнадцати-восемнадцатилетних пионеров галстуки зеленые. Это — цвет леса республики, ее природы, объединяющей всех, кто здесь живет... В Гвинею сильная и прекрасно организованная молодежная организация ЖРДА. По ее типу создаются молодежные организации и в других странах Африки.

Мы садимся на стулья вместе с жителями Далаба. Рядом со мной Кале Мохаммед. У него еще не пропала округлость щек. Пробивается первый пушок усов, а во взгляде детская прямота и доверчивость. Но о чем говорит Кале? Он оставил на время школу, потому что вместе с такими же юношами занят организацией деревенского кооператива.

— Работы много, — говорит он. — Нужно объединить людей сначала в масштабе деревни, затем всего города, а затем всей страны. Нужно научить их владеть машинами, по-новому ухаживать за землей.

Кооперативы — а опыт это уже подтвердил — помогут людям выбраться из нужды, в которую их ввергнул колониализм.

Юноша рассказывал мне о своих работах, а на площади звучали барабаны и пионеры пели торжественный гимн свободе. Они пели выразительно, всем сердцем, всем своим существом. Они даже покачивались и приседали в такт песне, чтобы усилить ее выразительность. У них были певучие голоса, низкие и волнующие.

Песни перемежались с массовыми танцами. Вот в поле вышли крестьяне с мотыгами. Они продвигались вперед, ударяя тяпкой о землю, и пели, прославляя труд, делающий человека счастливым.



Гвинейская девочка

Среди танцоров был один в красной рубашке, который привлекал общее внимание своим искусством жонглера. Он подбрасывал тяпку, ловко поворачивал ее над головой, прыгал через нее, нес на

ладони. А дети скандировали: «Колонизаторы, убирайтесь из Африки!», «Африка — африканцам!»

И вот весь круг пришел в движение. Дети и юноши шли цепочкой, слегка пригибая колени, и пели: «Мы маленькие пионеры, но мы в то же время и дети. И, как всякие дети, мы любим смеяться, радоваться, но умеем и работать».

А потом дети вернулись на свои места. По кругу легкими шагами побежали юноши. Этот бег под звуки там-тамов походил на танец. Вот возле Кале остановился юноша, сделал какой-то знак, и мой сосед побежал, красиво и мягко, как молодая пантера.

Тьма становилась все гуще и гуще. Все ярче сверкали звезды — крупные звезды Фута-Джаллона. На середину круга вышел человек с гитарой и запел. Он пел о преимуществах независимости. Он сам сочинил эту песню, и она стала национальным гимном страны. Это был Ибрагиме Куяте — гвинейский поэт и композитор.

Прекрасны были этот вечер, тесный круг людей, их песни, танцы, сценки... В одной из сцен рассказывалось о вреде лжи, другая изображала полет советской ракеты. Дети сами сочинили эту сценку.

Когда ночь совсем окутала площадь, они запели прощальную песню: «Я ему говорю до свиданья, но, несмотря на то, что мы расстаемся, мы должны встретиться вновь».

И действительно, расставаясь, пожимая руки людям, мы чувствовали, что здесь, в этот вечер, родилась большая, хорошая дружба.

Мы вернулись в гостиницу вместе с теми, с кем сидели в кругу. Начался горячий и долгий разговор. Нас спрашивали:

— А как у вас организованы колхозы? Как работают пионерские и комсомольские организации? Какие права человеку дает конституция? Как строится образование?

Перед нами сидели люди, которые понимали: для свободы, для того, чтобы увеличить богатства человека и содействовать развитию духовной культуры, одной политической независимости недостаточно. Надо еще создать

прочную экономику, развить промышленность, сельское хозяйство, культуру.

Наши друзья говорили об этом с убежденной страстностью. Они рассказывали, что здесь, на Фута-Джаллоне, появились первые сельскохозяйственные кооперативы, коллективные поля, созданные на землях бежавших начальников племен и старост. На этих полях работают сообща. Государство помогает машинами. Машин пока мало, не хватает людей, умеющих ими управлять. И все же результаты видны. Урожай повысился. Но еще много предстоит потрудиться крестьянам. Земля Гвинеи бедна. Она требует большого ухода.

Гвинейцы объяснили нам, как делится урожай. Часть идет государству, дающему кооперативу машины и техников. Из оставшейся большей части создают запас для будущих посевов, покупают коллективные орудия труда и распределяют по числу работающих. Это совсем не мало. Гораздо больше, чем можно получить на своем личном поле. С каждым годом будет появляться все больше сельскохозяйственных орудий, будет накапливаться опыт и люди смогут повысить урожайность. Вот поэтому в Далаба крестьяне и считают, что коллективная система хозяйства — единственно правильная, что только она поможет развивать экономику.

Нам рассказали о том, как во времена колониальных порядков, едва поспевал урожай, в деревни съезжались скупщики. Они сбивали цены, увозили почти весь урожай, а потом, когда начинался голод, скупщики появлялись снова с продуктами, купленными у тех же крестьян за бесценок. Они вздували цены, давали авансы под будущий урожай, затыгивая таким образом петлю зависимости.

Теперь крестьяне могут продавать свой урожай государственному обществу взаимопомощи для развития сельского хозяйства. Во время дождей, если будет необходимость, они смогут выкупить этот урожай за ту же цену с небольшой наценкой за хранение. В этом люди чувствуют подлинную, реальную заботу о их благе. И это действует лучше любой агитации, объединяет людей вокруг Демократической партии, определяющей политику государства.

БОРЦЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

Однажды, решив осмотреть окрестности, я пошла к видневшемуся вдалеке круглому казу с большой двухъярусной крышей. Под деревьями у дороги сидели девочки. Они продавали коробочки, искусно сплетенные из пальмовых листьев. Пожилой гвинеец разложил на цинковке сандалии на воловьей коже, единственный ремешок которых был украшен тонким плетеным орнаментом.

Народная героиня На Куйте



Каз был почти рядом, когда сзади послышались легкие торопливые шаги. Меня догонял наш механик Диоп Али. «Сигу Далаба», — сказала я, — иду в Далаба. Он понял, кивнул головой, ответил: «афан» — хорошо и что-то добавил. Я сказала: «Ма-кулю» — не понимаю. Он показал на дорогу. От отеля шел автобус. Его вел Селябабука.

Мы подождали его, сели и вскоре въехали на улицу Далаба, где стояли огромные круглые казы. Сошли на площади — днем я ее совсем не узнала — и направились к одному из домов, где жила президент квартала Камара Мако-то. Она встретила нас возле дома, невысокая, полная, с грудным ребенком на руках.

Камара провела нас в свой дом, у которого стены не касаются крыши, — просветы служат и окнами и вентиляцией. В комнатах стояли стол, стулья, широкая деревянная кровать, на стенах висели фотографии и картинки. Так обставлено большинство гвинейских домов в городах. В деревнях только начинают появляться железные кровати с матрацем. Раньше спали на циновках.

Что же это за должность — президент квартала? В чем заключаются обязанности Камары Мако-то?

Избранная жителями квартала в первичную женскую организацию, чтобы решать конфликты, которые возникают между женщинами, она разъясняет им политику партии и государства, помогает разбираться в новых явлениях.

— Женщины должны играть в стране такую же роль, как мужчины. Мы боремся за равноправие везде и во всем, — так выразилась Камара Мако-то.

И действительно, гвинейская женщина выходит сейчас на широкую дорогу общественной жизни.

...На обратном пути Селябабука свернул с дороги куда-то в сторону. На вопрос, куда же мы едем, механик Диоп загадочно улыбнулся. Мы подъехали к небольшому скромному дому, стоящему у края горного хребта. Отсюда открывался вид на зеленые, убегающие, как волны, склоны Фута-Джаллона. От дома в обрыв водопадом обрушивались красные гроздья цветов.

Полы в доме были сложены из каменных плиток. Конус потолка, сплетенный из пальмовых листьев, напоминал коробочки, которые делали местные кустари. С потолка свисала простая деревянная люстра. Вдоль стен стояли подсвечники. Комнату разделяли колонны, в первой половине стоял стол для пинг-понга. У подножия колонн и вдоль полукруглой стены под большими окнами были сделаны выступы для лежания, украшенные национальным орнаментом.

Посредине комнаты на соломенном красном ковре стоял низкий круглый стол с низкими креслами и стульями с резными деревянными спинками. Предельная простота, вкус и национальный

колорит — этим отличается дом Секу Туре — дом, где он останавливается, приезжая в Фута-Джаллон и где, вероятно, глядя на картину родной природы, думал над судьбами своего народа. Он вышел из гуши его, этот самый популярный человек в Гвинее, страстный трибун, зажигающий своим словом людей. Он родился в крестьянской семье в селении Фарана в 1922 году.

Секу Туре окончил начальную школу в Конакри и, говорят, был не очень прилежным школьником. Он отказывался слепо повторять истины, которые высказывали французские учителя. Среднее образование Секу Туре получил заочно, блестяще выдержав экзамены. А дальше вся его жизнь была неразрывно связана с профсоюзным движением. Здесь развернулись его организаторские способности. Он изучал мир не по географической карте. Будучи генеральным секретарем объединения профсоюзов Гвинеи, Секу Туре побывал в большинстве стран Западной и Восточной Европы.

Популярность Секу Туре среди народа Гвинеи уже тогда была велика. В дни, когда мир праздновал победу над германским фашизмом, в Гвинее родилась Демократическая партия. Секу Туре был одним из ее основателей. И вот уже восемь лет он бессменный генеральный секретарь этой партии. После провозглашения Гвинейской республики Секу Туре единодушно был избран ее президентом.

Все, что он делает как президент и как генеральный секретарь партии, подчинено интересам народа, делу мира. Народ уже почувствовал реальную силу осуществленных в Гвинее реформ и единодушно поддерживает политику партии, государства. Он верит в успех внутренней политики и в целесообразность внешней политики «позитивного нейтралитета» — как определила Гвинея свои отношения с миром.

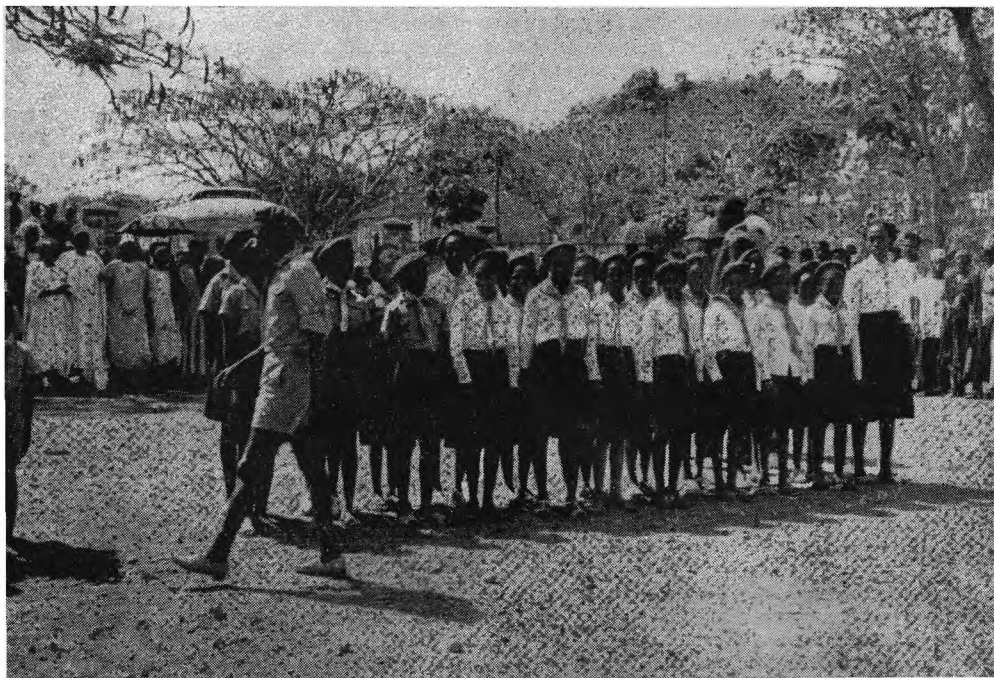
* * *

Что же произошло 14 сентября 1958 года? Разве случайно так единодушно оказались члены национальной конференции, встретившие одобрительными аплодисментами слова Секу Туре, выразившие сущность старых и новых отношений колонизаторов и гвинейцев.

— До сих пор мы всегда говорили: «Да, хозяин. Да, хозяин!» На этот раз мы скажем: «Нет, хозяин!»

Единство, решимость и мужество складывались постепенно, закалялись и крепили в борьбе, которую вели гвинейцы.

Мы были в Боке — небольшом городке одного из богатых районов Гвинеи, первом плацдарме колонизаторов. Высадившись здесь в удобной гавани сто с лишним лет назад, колонизаторы двинулись в глубь страны, захватывая землю, поработавшая людей. Еще сохранились остатки сожженных складов, куда со



Пионеры города Маму

всей страны свозилось добро, награбленное в Гвинее. На реке, величаво текущей в крутых берегах, сохранилась пристань с причалами для кораблей. Сюда пригоняли партии закованных в цепи черных рабов. Их грузили в трюмы кораблей и отправляли в Америку.

А над пристанью, защищенная стеной, рвом и пушками, направленными на Боке, находилась крепость военного коменданта. Отсюда он писал полные самых нелепых вымыслов донесения о быте и нравах гвинейцев, о том, как «блистательно» их усмиряли.

В одном из зданий Боке, на деревянной доске висит список комендантов-французов, управлявших этим районом. Немногом менее чем за столетие сменилось восемьдесят четыре коменданта.

В подвале серого, такого мирного на вид здания, в котором жили коменданты, находилась каменная тюрьма-мешок.туда бросали особо важных, особо опасных «преступников». Это были те, кто отстаивал свою землю от незваных пришельцев, кто защищал свой народ, призывал к протесту против насилия.

Одним из смелых борцов за свободу Гвинеи был Альфа Яйя, участвовавший в большом восстании, происходившем в Боке в начале этого века. Он сидел, прикованный к стене в этом каменном мешке, и сюда, сквозь решетку, ему опускали хлеб и воду. Отсюда был виден только кусочек неба, прекрасного неба Гвинеи.

Нынешний комендант Боке гвинеец Кайра Керим, подвижный молодой чело-

век с пронизательными глазами, юрист по образованию, а по убеждениям демократ, рассказывал, что долго держали Яйя в этом мешке, но даже из-под земли доходили до людей его страстные призывы к борьбе за свободу. Вот почему колонизаторы увезли народного героя Яйя в другую страну и снова бросили в тюрьму.

В Гвинее много героев, боровшихся за независимость. Кайра Керим знакомит нас с Камара Нэнэ. И она испытала холод застенков, эта спокойная, горделивая женщина, с орденом на груди.

Орденом республики — «Крестом Независимости» награждают тех, кто боролся с колонизаторами. На нем изображены: с одной стороны — эмблема партии — слон и надпись «Участнику борьбы за независимость», с другой стороны — Секу Туре, повергающий гидру колониализма. Носят орден на ленте цветов национального флага.

В числе первых двенадцати гвинейцев «Крестом Независимости» была награждена и На Куяте, мужественная гвинейка, с которой мы встретились в одном из центральных районов Лабе.

В этот город вместе с нами ехал врач. Он работает в районе Пита. Дьяките учился в Дакаре. Теперь гвинейцы учатся в медицинских вузах Чехословакии и Советского Союза. Скоро небольшая больница и диспансер в Пита пополнятся специалистами, которых так не хватает в Гвинее.

Около селения Кинкон нас ожидали

трое мужчин в европейских одеждах. Вместе мы пошли по узкой дорожке, сбегающей вниз. Там было каменное ложе реки. Казалось, гиганты-каменотесы выкладывали ступенями эти огромные гладкие береговые плиты. И вдруг ложе реки оборвалось. Вода стремительно падала в узкое, почти не видимое сверху ущелье. Она шумела, дробилась об уступы, кипела и искрилась, вечно бегущая вода водопада Кинкон.

Могучая сила заключена в этих cascадах. Сколько энергии может дать стране один только этот Кинкон! Гвинею не случайно называют «дворцом вод» — так много здесь водопадов и рек.

В Лабе при входе на площадь, мы увидели написанный по-русски плакат: «Добро пожаловать. Привет СССР. Дружба и братство!» Здесь мы и встретили На Куяте — пятидесятилетнюю женщину, на белой широкой одежде которой ярко выделялся «Крест Независимости».

Куяте повела нас на площадь, где собрались люди города, танцующие, веселые, радостные. Она обвела ее рукой, показывая на удивительные, полные грациозной стремительности африканские танцы. Вся площадь как бы колыхалась, сверкала, переливалась красками. Это был праздник освобожденных людей. Время от времени На Куяте останавливалась, как бы давая запомнить, осмыслить все то, что здесь совершалось. Затем мы шли дальше.

Под навесом открытого здания мы присели. Я попросила На Куяте рассказать, за что она получила орден.

— Я хотела свободы для своего народа, — сказала она. — Мои предки были рабами. Их продавали, как скот, избивали и мучили, им запрещали даже думать о том, что они люди. Я еще в юности почувствовала в себе непримиримый протест. Человек должен быть свободным, равным среди равных, он должен жить по-человечески. Я высказывала эти свои мысли людям нашего селения и всегда находила у них поддержку.

В сорок шестом году я впервые услышала Секу Туре. Он говорил о линии Демократической партии, она целиком совпадала с моими личными убеждениями, с убеждениями наших людей.

На Куяте рассказала, что в сорок шестом году лидеры партий широко высказывали свои взгляды, но большинство гвинейцев пошло за Секу Туре, потому что он говорил о том, о чем думали и мечтали многие поколения угнетенных гвинейцев.

Я представила, каким страстным агитатором была эта женщина, обладающая природным даром оратора.

Эта народная героиня, мать десяти детей, четверо из которых живы, была

живым символом Гвинеи — сильной, мужественной, доброй матерью своих детей, готовой пожертвовать жизнью, защищая их счастье.

Совсем недавно, два десятилетия назад, колонизаторы считали Африку своим надежнейшим форпостом. Более пятисот лет они безнаказанно грабили богатства этой необъятной земли.

Рабство, бесправие, нищета — таков был удел народов черного континента. В Гвинею это рабство установилось позднее, но существовало до самой войны. Еще в 1941 году здесь продавали людей, применяли телесные наказания.

Колонизаторы надеялись, что так будет вечно. Более того, они считали себя «благодетелями» африканских народов. Они увековечивали свои «добродетели» в памятниках, один из них мы видели в Конакри свергнутым с пьедестала и лежащим на свалке во дворе Института информации — Франция, ведущая африканского мальчика к свету.

Отзывая из Гвинеи после провала референдума служащих, учителей, специалистов, прекращая торговлю и финансовые операции, вывозя машины, разрушая здания, склады, колонизаторы рассчитывали парализовать, задуть молодую республику. Они предвещали хаос, анархию, безработицу, голод.

Но мир еще раз увидел, на что способен народ, обретший свободу. Преодолевая огромные трудности и саботаж, сопротивление реакционных сил, Гвинея начала строить новую жизнь.

По сравнению с другими странами Африки, борющимися за независимость, Гвинея сделала более решительные и твердые шаги.

Эта борьба еще продолжается. Колонизаторы тщатся вернуть свое утраченное господство.

...Уже вернувшись в Москву, мы узнали об антигосударственном заговоре, раскрытом в Гвинейской республике. На стендах выставки, проведенной в Конакри, были американская взрывчатка и радиостанции, английские пулеметы и автоматы, чанкайшистские винтовки и револьверы, оружие с маркой западногерманских заводов. Подлые замыслы империалистов были разоблачены. Выступая в Национальном собрании, обсуждавшем вопрос о раскрытом заговоре, Секу Туре сказал:

«Никакие подрывные и провокационные действия, поддерживаемые даже танками и самолетами, не смогут отнять у нашего народа раз и навсегда завоеванную независимость». Эти слова выражали чувства гвинейцев, полных решимости кровью отстаивать свои завоевания в стране, переживающей восхитительную, неповторимую пору юности.

Леонид Соболев

СОВРЕМЕННОСТЬ И МАСТЕРСТВО

Вопрос о соотношении литературы и современности был определен на Первом всероссийском и на Третьем всесоюзном съездах писателей в полную меру ясности. За исключением одиноких молодых снобов и музейных упрямцев все советские писатели согласились между собою в том, что главный предмет литературы — это современность и что дело чести каждого из нас — создание произведений, выражающих дух нашего времени.

За последние полтора года их появилось довольно значительное количество, и сам по себе такой факт очень радостен. Недавно закончившийся Пленум правлений РСФСР и Московской писательской организации, посвященный вопросу «Писатель и время», показал, что тема современности стала для литераторов Российской Федерации органичной и что поворот нашей прозы к явлениям окружающей жизни и могучим ее перспективам уже произошел.

За время становления и развития советской литературы исторические повороты ее совершались не раз. На заре нашего существования произошел поворот от пустопорожных и путаных посленэповских сюжетов, от мелкотемья и подражательства западной литературе к суровой героике гражданской войны. Так вспыхнули ярким немеркнущим пламенем, пылающим и сейчас, «Железный поток», «Разгром», «Чапаев». Когда первая пятилетка поставила литератора перед грандиозным и новым зрелищем гигантских строек социализма — перед временем, когда рождался массовый трудовой подвиг народа, в особенности молодежи, — литература, не без споров и сражений, вновь повернулась к жизни. В последние годы, после XX съезда

КПСС, наша литература совершает новый поворот к великой теме наших дней, теме развернутого и победного строительства коммунизма.

Когда корабль сворачивает на другой курс, все зависит от того, каков корабль. Если это маленький вельбот или шлюпка, то достаточно чуть ли не движения пальца, чтобы этот кораблик, эта шлюпка повернула на новый курс. Но не так легко повернуть громадный, большой корабль. Во времена Станюковича на штурвале больших судов стояли четверо рулевых. И все они держали штурвал грудью, чтобы повернуть корабль. Мы тоже грудью держали свой штурвал. Сейчас мы видим результаты: наша литература действительно повернулась лицом к современности, повернулась лицом к людям, строящим коммунизм.

Мы на новом курсе, давно ушли в архив споры о том, что же главное в нашей работе. И если есть еще на нашем большом корабле пассажиры, то стыдно не нам, команде корабля, а им. Пассажиром можно плавать на туристском теплоходе, а не на рыбацьем траулере или боевом корабле. Мы же на нашем корабле идем в бой. За коммунизм.

Пленум наш показал еще и то, что такой поворот в сознании литераторов Российской Федерации дал немалые конкретные результаты. Сдвиг произошел, инерция покоя нарушена, движение началось. Это уже немало. Однако этого недостаточно. Ведь то, чего жизнь ждет от нас, писателей, «помощников партии», по выражению Н. С. Хрущева, — это не только увеличение количества книг на современную тему. Нет, это главным образом — качество их, степень их художественного совершенства, иначе говоря, сила того волшебного воздействия,

которое оказывает на человека произведение подлинного искусства.

Наше время — время победного напряжения всех сил народа, время рождения коммунистической этики труда, светлое время перехода сотен миллионов людей в новую общественную формацию — в коммунизм. Как же мы должны понимать сегодня соотношение литературы и времени, эпохи?

Важно, конечно, рассказывать о современности, запечатлеть в книгах ее приметы и черты, оставлять потомкам живые портреты людей твоей эпохи. Но гораздо важнее в окружающей тебя современности и в ее людях видеть явления, процессы, черты человеческого поведения, которые идут впереди этой современности. В прогрессивном процессе вытеснения отжившего новым, более совершенным, современность — лишь отдельная волна в необозримом пространстве океана. Подлинно творческое отношение писателя к современности состоит именно в умении различать в ней едва заметные порой, но полные могучей силы ростки, которые пробиваются в будущее.

Именно такое выражение своего времени всегда было в традиции русской литературы. Она не только фиксировала происходящие в обществе и в сознании отдельных людей процессы, но и предугадывала новое, прогрессивное, революционное. Не только анализировала существующее, но и вдохновенно, смело заглядывала вперед, в будущее, в великое Завтра.

Через века видели писатели прекрасное далеко, — так почему же мы, кому уже рукой подать до коммунистического близко, плохо еще видим в своей современности его черты? Или мало их? Или не крепнут на наших глазах бригады коммунистического труда — явление, поразительное тем более, что едва лишь найденная форма труда стала народу тесна, и складываются уже цехи и даже целые заводы коммунистического труда? Разве не распространился по всей нашей стране прекрасный почин Валентины Гагановой, подсказанный будущим? Или не стал привычным в нашей жизни всенародный молодежный подвиг на целине и новостройках Сибири? А на древней рязанской земле не произошло разве удивительного подъема сельского хозяйства? И разве не черты будущего видны в сложном процессе становления юного сознания школьников, прикоснувшихся к жизни и труду?.. Невозможно перечислить все, что характеризует наше время, что отличает его от времени, в котором живет капиталистический мир.

Писатель и время — большая литературно-философская проблема. Она обязывает нас к конкретности. Надо определить: в каких случаях формула «Писатель и время» имеет свое глубокое выражение, а в каких она подменяется формальным откликом на вопросы современности; в каких случаях книга дейст-

вительно насыщена духом времени, то есть его философией, его устремлением в будущее, его великопленной способностью порождать новое, — и в каких она лишь пережевывает давно устаревшие мысли и чувства, тщетно модернизируя их и выдавая за взгляд в будущее. Какие новые черты советского человека показала нам книга? Что такое для наших людей сейчас труд? Как любят наши новые люди? Как решают они традиционный треугольник? Так ли чисто, душевно и по существу благородно, как это случилось в «Орлиной степи», или по законам нового мещанства, выдаваемого иными писателями за советскую интеллигенцию? Что такое веками сложившаяся психология собственничества и как сквозь нее прорывается светлый, очищающий душу взгляд на оплату труда, на слова «мое» и «наше»? Что такое инстинкт накопления и как он отмирает в условиях социалистического государства, которое снимает с человека множество расходов и ликвидирует боязнь будущего?

Вот ведь какие обстоятельства нашей предкоммунистической эпохи формируют новое сознание человека. Писатель не может, не имеет права пройти мимо них и не выразить их в своей книге как приметы времени и, вместе с тем, как ростки будущего.

* * *

Критерий, с каким следует подходить к книге, — один. Это критерий художественности, который устанавливает двуединую сущность искусства: неразрывность идейности и формы ее выражения.

За последнее время все чаще говорят о значении мастерства, о повышении мастерства, об определяющей роли мастерства. Это справедливо. Но следует все же разобраться, что понимать под словом «мастерство».

Одни понимают мастерство главным образом как сумму профессиональных навыков, опыта, умения. Другие — как литературный талант. Третий — как результат мудрой наблюдательности. А есть и такие, кто придает этому понятию смысл, близкий к давно отвергнутому понятию «искусство для искусства» и нелепым образом как бы противопоставляет понятие «мастерство» понятию «идейность». Такое противопоставление — решительнейший вздор, однако им иногда пользуются для ниспровержения книги, пренебрежительно говоря: «Да, идея верная, но, знаете, — мастерства не хватает...» Приговор произнесен, книга выведена за пределы литературы. Между прочим, почему-то так чаще всего обходятся с книгами, посвященными именно генеральной теме — теме современности.

Такое противопоставление приходится слышать и в более мягкой форме, так сказать, в форме «мирного сосуществования»: мол, вопросы идейности, мировоз-

зрения, приятия современности нами, писателями, разрешены; теперь дело в совершенстве мастерства; о чем писать — мы все понимаем, а вот как писать? и т. д.

Как будто бы и верно — а все же неверно.

Конечно, вопрос формы имеет огромное значение в судьбе литературного произведения. На то она и литература, чтобы выражать мысль в образной, волнующей чувства форме. Но *мысль*, а не содержание выведенного яйца, мысль, которая мощью своей способна переустроить мир, чему мы ныне свидетели и участники. И главным, определяющим мерилom ценности литературного произведения, нужности его для искусства, для истории, для движения человечества вперед — всегда была и будет мысль, уровень и глубина идеи произведения.

Понятие «мастерство» предполагает полное, совершенное владение своей специальностью. То, что выпускает из своих рук подлинный мастер, покоряет не только совершенством формы, но прежде всего глубиной чувств, вызываемых творением, значительностью мыслей, им побуждаемых. Как же можно понятие «мастерство» подменять чисто цеховым понятием литературного ремесла, пусть в него включаются такие тайны литературной технологии, как композиция, стиль, сюжет и прочее?

Мастерство советского писателя — это *органический сплав таланта, коммунистического восприятия мира, знания жизни, профессионального высокого умения и острого ощущения времени.*

Такое определение прямо вытекает из понятия «социалистический реализм», который в писателе нового времени предполагает именно эти качества.

Взятое отдельно, ни одно из этих драгоценных свойств художника ни в какой мере не выражает понятия «мастерство». А у нас, к сожалению, случается, когда молодого прозаика или поэта непомерно восхваляют за талант, хотя у него и коммунистическое мировоззрение еще не сложилось, и нет ни достаточного знания жизни, ни ощущения времени, в котором он живет. И тогда рождается страшный грех литературщины, книжности — этого холодного подобия жизни; музей отлично выполненных восковых фигур, «совсем как живых». Этим грехом страдают и немолодые мастера, у которых хотя и весьма силен литературный талант и отлично развито профессиональное умение и есть даже какое-то свое знание жизни, — но либо слабы, либо атрофированы два других свойства: ощущение времени и его коммунистической философии.

И тогда появляются существующие сами для себя великолепные пейзажи и маленький странный мирок ущербных человечков вне времени и географии, и этакое благостное, «добру и злу внимая равнодушно», копанье в их одиноких горестях... И русский язык обращается в

погремушку, никак не способную гудеть, «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных». И ложатся на стол читателя отшлифованные, отливающие перламутром раковины не греющей сердце прозы, в которых уху любителя слышен шумок времени, но не будущего и даже не настоящего. А некоторые критики прикладывают палец к губам и шепчут: «Тсс... не тревожьте... Какой талант... Какое мастерство!»

В Севастопольской обороне я встретился в морской пехоте с одним любопытным снайпером. Оказалось, до войны он работал в цирках каким-то «Джимом-ковбоем»: поражал мишени со скачущего коня, с качающейся трапедии, вися вниз головой. В начале войны предложили ему брönку и гастроли по циркам Сибири. Он отказался, и мы встретились в окопчике у Чоргуня. На его счету было 9/27, что означало девять офицеров и двадцать семь фашистских солдат.

Я глубоко убежден, что 36 попаданий в фашистов много нужнее, чем 3600 попаданий в бумажную мишень, хотя бы и вниз головой. И мне очень жаль тех циркачей от литературы, которые из снобизма ли, из упрямства ли, из жажды ли дешевой популярности, или просто по недоразумению тратят свой несомненный талант на стрельбу по бумажным мишеням. Да, они стяжают некоторый успех. Но он непрочен. И плохую услугу оказывают им те, кто кричит: «Талант! Талант!» вместо того, чтобы мужски убедить их уйти из цирка и пойти в бой. Что до меня — мне искренне хочется, чтобы талант их вошел в химическую связь с остальными качествами передового советского писателя и чтобы новые их вещи были отмечены знаком высокого мастерства, — понимая под этим органический сплав таланта, идейности, знания жизни, умения и острого ощущения времени.

Были на глазах моего поколения два литератора, в которых этот сплав сиял ослепительным сиянием правильно сваренной стали, уходящей в изложницы книг: Горький и Маяковский. Во всю мощь своего мастерства, каждый по-своему, они выразили дух своего времени, — и время отплатило им бессмертием. Вот они стоят в бронзе на одном и том же проспекте Москвы рядом с Пушкиным, вот они стоят рядом в благодарной памяти тех, кто строил коммунизм и кто будет жить при коммунизме...

Так понимаем мы формулу «Писатель и время». Пойми свое время, разгадай его, вызови им в душе и сознании стих, образ, книгу, вложи в нее мысль твоего времени, чувства твоего времени, пейзаж твоего времени, говор твоего времени, мечты и надежды твоего времени. Подслушай, что говорят люди твоего времени, как они любят, как они умирают. Взгляни вперед отсюда — из твоего времени, оглянись назад, в прошлое — из твоего времени, запиши, что ты уви-

дел, и расскажи об этом в книге о твоём времени. Оно быстротечно, и потому тебе трудно. Оно спорит само с собой, твоё время, удивительное саморождающееся и тут же взрослеющее твоё время — как его уловить?

Да, трудно, да, неуловимо. Но сумели же эти два литератора понять, уловить и оставить нам, потомкам, живой дух своего времени. Значит, это можно, а раз так, мы должны это сделать. Все дело в мастерстве, как мы его определяем: в мастерстве понимания жизни и художественного воплощения ее в литературе.

Что еще нас может поддержать на этом трудном пути? Опять-таки — сама жизнь.

Оглянемся. Ведь если есть литературное мастерство, то существует еще и мастерство ученого, агронома, сталевара, доярки, шахтера, верхолаза, железнодорожника — мастерство тысяч профессий, в каждой из которых нужен и талант, и понимание, во имя чего этот талант действует, и умение, и знание жизни, и ощущение времени — времени развернутого строительства коммунизма, где дорога каждая секунда.

Взгляните, как во всех этих областях за последнее время поразительно выросло мастерство — великое мастерство советского человека эпохи предкоммунистической. Оно сказывается решительно во всем, начиная от любого новаторского предложения в маленьком цехе и кончая сложнейшим искусством международных отношений. Мы все ближе подходим к тому времени, когда в благоприятных условиях коммунистического общества все стороны одаренности людей благородно раскроются в соответствии с принципом этого общества — «от каждого по способностям». И подобно тому, как труд станет первой жизненной потребностью человека, так и свободное владение мастерством перестанет быть достоянием отдельных людей, а будет естественной практикой каждого, совершенно так же, как грамотность за время советской власти перестала быть привилегией правящих сословий, а сделалась всенародной.

И разве то, что перевыполнение плана уже определилось во втором году семилетки, — не результат мастерства, мастерства громадного количества советских людей, мастерства в труде, в мышлении, в человеческом поведении? Разве не сказались в этом яркий талант, твердое коммунистическое мировоззрение, высокое профессиональное умение, глубокое знание жизни и острое ощущение времени — качества, воспитанные в наших людях советской властью и Коммунистической партией? Разве не все это обусловило видные всему миру гигантские наши успехи и в сталеварении, и в строительстве Большого Энергетического Кольца от Тихого океана до Невы, и в сельском хозяйстве, догоняющем Америку, и в космических полетах сложнейших

и умнейших носителей человеческой мысли, и в создании нового мира полимеров, и в потрясающих геологических открытиях, которые поставили недра земного шара на верную службу коммунизму? Все это — мастерство, великое мастерство нашего восходящего времени, мастерство мастеров строительства коммунизма.

* * *

Вероятно, многие из нас читали рассказ Виталия Закруткина «Подсолнух». Он был напечатан в «Правде», а потом издан большим тиражом в библиотеке «Огонька». В этом рассказе, написанном ярко, образно, хорошим языком, говорится о том, как старик чабан, которого здесь звали Отцом, случайно нашел в кармане стеганки погибшего на фронте сына семечко подсолнуха. Он тут же посадил его в неласковую землю солончаковой степи. Семечко стало предметом забот. Наконец оно превратилось в могучий подсолнух — одревенел стбель, осыпались лепестки на корзинке, и стоял он крепко, точно железный, одиноко и горделиво красуясь в степи. И вот:

«Тихим, безветренным утром по овечьей тропе... шел нездешний прохожий, одетый в замасленную стеганку, карглазый паренек с тонкой, ребяческой шеей. Еще издали он увидел подсолнух, постоял немного, потом подошел ближе; вынул из кармана складной нож, слегка наклонил жесткую корзинку подсолнуха, срезал ее и, держа в руках и полуживая семечки, зашагал навстречу овечьим отарам, которые медленно приближались к солонцовым западинам...»

Если бы рассказ В. Закруткина закончить этой фразой, получился бы превосходный выделки «многозначительный» философский рассказ, совершенно такой, какие еще появятся у нас и вызывают умиленные вздохи любителей подобного сорта сердцещипательной литературы. Такова, мол, жизнь. Любовно и бережно растим мы высокую мечту, а пройдет прохожий, изломает ее, и мечта твоя полетит слюнявой шелухой. Вероятно, наши бы и критики, которые увидели бы здесь «стояние над жизнью», этакую глубину проникновения в ее тайны и т. д.

Рассказ кончается не так. Далее говорится:

«Донька первый увидел то, что произошло. С перекошенным от ярости лицом кинулся он вперед, ухватил прохожего за грудь, рванул к себе, выдохнул с прерывистым хрипом:

— Ты что ж... гад... ползучий... сгубил такую красу...»

При таком конце рассказа он стал бы представлять другое, более «облегченное» пессимистическое направление, и критики написали бы, что пессимизма здесь нет, потому что автор в лице Доньки осуждает невольного носителя зла

жизни. (Кстати, нечто подобное мне приходилось читать относительно рассказа Ю. Казакова «Странник»).

Но В. Закруткин заканчивает рассказ так:

«— Погоди, Евдоким,— тихо сказал Отец.

Отодвинув Доньку, он молча поднял оброненную прохожим корзинку подсолнуха, медленно провел ладонью по шершавому, заполненному семечками гнезду.

— Разве ж так можно, Евдоким? — сказал Отец.— Разве ж мы не для людей его растили? Для людей. Для тебя, для ее, для него, для них...

Легким движением руки Отец отложил от корзинки краюху и протянул бледному от страха прохожему:

— Возьми, сынок, а это мы себе оставим, тем, кто его растил...

Бадма стиснул руку Отца.

— Правильно. Придет цаган-сара — Белый Месяц весны, — будем сажать твои семечки в землю...»

И в заключение дается музыкальный светлый аккорд:

«Под хмурым небом, махая белыми крыльями, летели на юг лебеди. Их голоса, подобные затихающему звону дальнего колокола, таяли вверх, обещая идущим по степи людям неминуемый приход вечно живой, прекрасной весны.

Не напиши автор такого конца, рассказ лишился бы той философии, которая удивительно освещает своим светом весь образ старика отца и всю историю с семечком подсолнуха. По ходу рассказа забота о ростке воспринимается лишь как дань памяти погибшего сына, и только самые последние строчки внезапно раскрывают перед нами в этом образе дух нашего времени: для людей!

А как глубоко и живо выражен дух нашего великого советского времени, весь героический романтизм нашей эпохи в таких крупных, недавно законченных произведениях прозы и поэзии, как эпопея М. Шолохова «Поднятая целина» и поэма А. Твардовского «За далью — даль!» На этих примерах как нельзя лучше можно показать, насколько объемно понятие «дух нашего времени».

Появились за это время еще некоторые книги, которые именно в таком понимании выражают ощущение времени.

Это прежде всего великолепная работа Л. Леонова, взыскательного мастера, написавшего по существу новый вариант своего давнего философского романа «Вор».

Будет справедливо отметить прекрасную, очень точную по языку и волнующую эмоциональной мыслью небольшую прозаическую книгу Ольги Берггольц «Дневные звезды». Если говорить о духе времени, то эта книга убедительно доказывает: художник может рассказать о давних событиях так, что они начинают органически существовать в современности.

Это, пожалуй, новый жанр прозы — не очень сюжетный, но насыщенный самой жизнью, композиционно не очень стройный, но покоряющий своей интеллектуальной силой, пробуждающий в читателе мысль. В этом смысле проза хорошего поэта Ольги Берггольц весьма новаторская. Особо хочу сказать, что она очень лаконична, очень емка, — свойство, которым могут похвалиться, к сожалению, далеко не все прозаические произведения.

В значительно меньшей мере, но с несомненным успехом доказывает свою способность ощущать время сибирский прозаик Г. Михасенко в своей первой повести «Кандаурские мальчишки».

Дух времени обуславливает появление книг о нашем революционном прошлом. В молодой кабардинской прозе появился роман Алима Кешокова «Чудное мгновение» — о становлении советской власти на Кавказе.

В этом понимании духа времени необходимо отметить последние книги М. Прилежаевой, посвященные историко-революционному прошлому. Это — ее повести «С берегов Медведицы» и «Начало» и большой роман «Под северным небом».

По-прежнему неисчерпаема тема судьбы советской молодежи в годы развернутого строительства коммунизма. Мы долго ждали большого, взволнованного произведения о подвиге советской молодежи на целине. Теперь советский читатель имеет хороший роман М. Бубеннова «Орлиная степь». Самый тон его, тот музыкальный ключ, в котором он написан, дает верное выражение чувств и мыслей советской молодежи, бросившейся на целинный подвиг. В критике были упреки ему как раз в этой романтической приподнятости. Не могу с этим согласиться. Роман «Орлиная степь» захватывает и пленяет именно романтической взволнованностью. Вдобавок, в ласковом свете солнца, освещающего возрожденную землю, удивительно хороша чистая, душевная любовь Леонида Багрянова и Светланы. И право же, насколько она человечнее, современнее и умнее, чем «Любовь инженера Изотова»!

Есть еще одна книга о советской молодежи, на этот раз о работающей на новостройке Сибири. Она написана в другом ключе, но создает такое же светлое и радостное настроение. Это повесть хорошего воронежского писателя Алексея Шубина «Непоседы». Горячо рекомендую прочесть ее в журнале «Подъем».

Очень порадовал своей последней повестью «Капля росы» литератор большой русской души Владимир Солоухин. Как и в книге Ольги Берггольц, здесь со всей силой сказалось плодотворное сочетание в одном лице поэта и прозаика.

Особо интересна судьба молодого писателя Евгения Карпова. В наших разговорах о вреде ранней литературной профессионализации биография Е. Карпова весьма показательна. После Литин-

ститута он пошел работать на строительство ГЭС, начав свой новый жизненный путь арматурщиком. В этом году в журнале «Нева» появилась его повесть «Сдвинутые берега», искренне порадовавшая меня удивительно свежим восприятием жизни, душевным мягким юмором, любовью к людям, вдумчивостью, хорошим русским языком.

Теме превращения ранее угнетенных народов в активных строителей коммунистического общества посвящены роман бурятского писателя Б. Мунгонова «Хилок наш бурливый», книги литераторов Дагестана — Аткая «В кумыкской степи» и рассказы Х. Авшалумова, башкирского писателя А. Бикчентаева и многих других представителей национальных литератур Российской Федерации. Нас особенно радует рост прозы в молодых национальных литературах, свидетельствующий об их подлинной художественной зрелости.

К сожалению, я не имею здесь возможности подробно остановиться на работе наших очеркистов. Мне хочется горячо поддержать последние интересные работы Н. Грибачева, И. Винниченко, Е. Дороша, Л. Иванова, М. Жестева, Г. Радова. Этот боевой оперативный вид литературы заслуживает особого внимания.

Литература о современности набирает силу. Трудно, просто невозможно привести все доказательства этому, и остается лишь назвать еще ряд хороших книг, отвечающих задачам нашего поворота, — книг, в которых явственно живет дух нашего времени. Это только что законченный роман Г. Маркова «Соль земли», повесть В. Кожевникова «Знакомьтесь: Балуев», роман К. Симонова «Живые и мертвые», рассказ С. Антонова «Аленка», повесть А. Андреева «Грачи прилетели», роман А. Абсалямова «Огонь неугасимый», роман «Тропа пешехода» Фатыха Хусни.

* * *

Мы находимся на предполье коммунизма. Этот военный термин я применяю сознательно, потому что в том развернутом наступлении, которое совершает сейчас наше общество, мы должны преодолеть еще некоторые минные поля, заложенные тысячи лет назад. Это так называемые пережитки капитализма в сознании людей.

Один из них — и, вероятно, наиболее живучий и потому опасный — стремление к собственности, унаследованное нами от прошлого. И, может быть, при становлении коммунизма этот пережиток исчезнет последним — настолько он силен, настолько он ввелся в наше сознание. То, что мы существуем в определенных рамках общества с денежной оплатой труда, с несовершенством коммунального

обслуживания, с недостаточным запасом продуктов потребления, еще создает условия для существования этого пережитка.

Нужно помогать людям избавляться от него. К сожалению, у нас очень мало произведений, которые ставили бы перед собой эту боевую задачу. Можно назвать повесть В. Тендрякова «Не ко двору», где превосходно выписана собственническая, стяжательская семья Ряшкиных, или очень сильный роман сибирского писателя Анатолия Иванова «Повитель», в котором примечательна не только его философия, но и очень сибирский колорит, живость и лаконизм диалогов, удивительная емкость повествования, яркий язык и несомненная поэтичность. Не понимаю, почему этот хороший роман до сих пор не переиздан каким-либо большим издательством.

В повести Н. Погодина «Янтарное ожерелье» я с большим удовлетворением увидел весомые и впечатляющие мысли о собственности.

В этом ряду привлекает и новый роман Е. Пермяка «Сказка о сером волке». Основной его интерес — в показе того, как сталкиваются две жизненные системы, два взгляда на мир, две психологии, два кардинально различных понимания собственности.

Очень бы хотелось, чтобы появился роман и о том, как отмирает чувство собственности в таком современном содружестве людей, как бригады коммунистического труда. Громадный простор для писателя представляет собой эта тема.

Собственность, цепко вьезшаяся в наше сознание, оказывает свое эгоистическое, отравляющее душу человека влияние на многие стороны его жизни. И наша задача заниматься большой и малой хирургией, вырезая эти атавистические опухоли.

Хотя дух нашего великого времени, под которым мы понимаем жизнелюбивый дух революции, может приблизить к нашим дням далекое прошлое, — как бы это ни казалось странным, бывают печальные случаи, когда отсутствие острого ощущения времени сильно смещает акценты в некоторых произведениях именно о сегодняшнем дне и приводит к неудачам. Так случилось с последней повестью В. Тендрякова «Тройка, семерка, туз».

Если бы автор осветил светом нашего времени трагический случай, происшедший на лесославе, повесть эта стала бы орудием воздействия на читателя, с ненавистью обличая один из самых страшных пережитков — собственничество. «Чудотворная» крепко бьет по другому пережитку — религиозности, а в последней своей повести В. Тендряков почему-то отступил от законов мастерства.

Атеистическая тема, тема борьбы с религиозными пережитками не нашла еще достаточного выражения в прозе последних лет. Правда, на страницах журналов

и альманахов появились рассказы и повести «Спасите наши души!» С. Львова, рассказ К. Лыжина «Мертвые души» баптиста Беседкина», повесть Н. Асанова «Взятие Громицы» или названный уже роман Алима Кешокова «Чудное мгновение», где философски осмысливается борьба большевизма с религиозными основами шариата, что придает роману особый интерес. Между тем, например, повесть С. Львова не вскрывает природу религиозных заблуждений, ограничиваясь показом более внешних сторон. Таким образом повесть С. Львова скорее антипоповская, чем атеистическая. Главная, очень трудная задача в ней остается неразрешенной.

* * *

Есть еще один важный раздел современной темы, чрезвычайно трудный для литературного выражения, — так называемая военная тема.

Она была кристально ясна в годы Великой Отечественной войны, и, может быть именно благодаря этой ясности, обусловленной бытием сражающегося народа, тогда появился целый ряд очень хороших книг и стихов. Несколько труднее обстояло дело с воплощением этой темы в литературе в последующие годы «холодной войны». И очень трудно обстоит дело сейчас.

В самом деле: с того самого дня, когда в мире впервые прозвучали великие слова здравого смысла: ведь можно же существовать и без войны, можно соревноваться и иными способами — с этого дня военная тема стала необыкновенно трудной для литературы. В диалектическом единстве — борьба за мир и готовность к войне — писатель должен найти чрезвычайно убедительные образы для динамического воплощения этого противоречия в сознании и в практике советских людей, одетых в военную форму.

В этом историческом повороте военная тема приобрела необыкновенный объем, глубокое философское содержание. Эта двуединость удивительным образом пронизывает психику каждого из нас, начиная от того солдата, который Первого мая нажал пусковую кнопку ракетного устройства, и кончая главой государства, который в этом диалектическом противоречии нашел единственно правильный выход.

В послевоенных книгах поиски нового выражения сущности советского военного человека шли разными путями и, как говорится, с переменным успехом. Прошла волна, которую я мог бы охарактеризовать как желание изобразить обратную, непарадную сторону войны, желание показать ее как тяжкий, опасный и порой отталкивающий труд. В этом проявилась другая, вряд ли лучшая односторонность, хотя она и была продиктована искренним стремлением художника к правде, бурным протестом против парад-

ного изображения войны. Так появились книги Эм. Казакевича «Двое в степи» и «Сердце друга», так появилась книга «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.

В последнее время усилились попытки показать войну с точки зрения обыкновенного человека, но в перехлесте пафоса такого подхода к войне авторы, сами того не замечая, отступают порой в грех обиденщины, бытовизма, если такие мирные слова можно приложить к такой страшной вещи, как война. Отступают именно в том, что, глядя на войну двумя крохотными зрачками маленького человека, они теряют тот огромный сектор наблюдения, который должен охватывать взгляд художника.

Для простоты позвольте сослаться лишь на одну книгу этого ряда — повесть Г. Бакланова «Пядь земли». Художественные ее средства несомненно сильны, потому что они во мне, читателе, вызывают определенные чувства, настроения и мысли. Я слежу за несельскими буднями войны, я вижу, как один за другим — не гибнут, нет, это не то слово, — уничтожаются некоей страшной, несправедливой, слепой и жестокой силой люди, к которым я уже привык, которых даже любил. Именно уничтожаются, подобно тому, как моя тяжелая нога давит на прогулке по лесу маленьких глупых муравьев. И, может, помимо желания автора, во мне все больше нагнетается тяжелая, безысходная мысль: да, война страшна, война нелепа, только случай может спасти от неотвратимо вращающегося винта этой мясорубки, которая вытягивает в себя людей.

Но ведь это не так! Я не хочу говорить громких слов, но вспомните фронт. Вспомните ту ярость, которой были пропитаны все действия людей, — ярость сопротивления в начале войны и ярость наступления во втором ее периоде, ярость философски-осмысленных поступков наших не только на фронте, но и в тылу.

Я видел, как гибли с оружием в руках люди во имя крошечной, маленькой идеи: взять высоту 251. Я никогда не забуду это утро 22 февраля 1942 года на Макензиевых горах в Севастополе в расположении Третьего морского полка. Этот эпизод можно было бы положить в основу повести, подобной баклановской, показав «обреченность воинов», «неосмысленность» их гибели. А дело было простое, военное: надо было во что бы то ни стало матросской контратакой отбить у фашистов паршивенькую высоту 251. Сама по себе она ничего не значила, и действия моряков казались мне жестоко-бессмысленными. Шесть контратак в течение полутора часов прошли в великодушном матросском темпе, и из каждой возвращалась в окопы едва половина ушедших. Писатель-гуманист — натура, естественно, нежная — никак не мог понять, почему матросы с такой целеустремленной яростью бросаются на проклятую высоту. Здесь, казалось, был зало-

жен материал для критической и высокомерной повести о том, как жестокое упрямство командира полка гнало и гнало людей на смерть; нащупывались ходы назидательного поучения,— вот где, мол, остальные способы тактики, вот где недалекое мышление командира, вот где сакраментальное «пузом побеждаем».

Но сами эти идущие на смерть матросы, видимо, каким-то шестым чувством патриота и воина угадывали необходимость взять ту проклятую высотку, хотя никакого улушения в судьбе их батальона и даже роты это не создавало. Однако они всё кидались и кидались в атаку, иные все шесть раз. Высотка все-таки была взята.

Писатель понял смысл этого военного эпизода много позже, когда сопоставил его с масштабом всей Севастопольской обороны: в ходе того контрудара, которым осажденный Севастополь должен был расширить кольцо осады и парализовать армейский немцами в День Красной Армии штурм, эта высота играла громадную роль. Писатель этого тогда не понимал, а вот матросы шли на высотку не уничтожаться бессмысленно под тяжелой пятой случайного прохожего, а гибнуть с оружием в руках во имя великой идеи, которая в данном случае воплотилась в «микроидею» — взять высоту 251.

Но вот ведь в чем дело: надо в поступках советских людей в любых обстоятельствах — в бою ли, в труде ли, в любви, или в искусстве — видеть эту самую «микроидею», видеть, как конкретная, пусть маленькая цель соотносится с большими идеями времени. «Микроидеи» могут быть невероятно разными, начиная от крохотной «идеи» получить отдельную комнату и кончая грандиозной идеей проникновения в космос. Рассмотрение этого круга частных, иногда небольших идей, органически связанных в каждом человеке с той большой идеей, которая двигает его поступками,— и есть предмет литературы. Бывает, что «микроидея» так и остается «микроидеей», духовные и умственные интересы человека не поднимаются выше условий элементарного существования. Этим и характеризуется понятие «средний человек».

Речь здесь идет о том понятии «средний человек», которое чрезвычайно близко к забытому в нас понятию «духовный мещанин»,— ведь есть же такие необыкновенно несчастные люди, для которых весь громадный мир, все кипение событий, вся увлекательная история нашего движения вперед,— все это заменяется маленьким мирком растительного существования, крайне ограниченных интересов, едва поднимающихся над интересами животного существования. Именно этих «средних людей» — духовного мещанина, человека, лишенного человеческих свойств, так люто ненавидел Горький. Такой «средний человек» может принять любую форму, и именно в этой амебе необычай-

но крепок и силен проклятый инстинкт собственности, потому что собственность — это есть обеспечение маленького мирка, которому нет никакого дела до большого мира.

Средние люди — это не те простые люди мира, которые сегодня держат в своих руках судьбы планеты. Как раз эти простые люди, эти так называемые «маленькие люди», каждый из которых в потенции герой,— и совершают такие всему миру видные подвиги, какими удивил наш народ в Тихом океане.

Таковы военные люди нашего времени. Вероятно, таковы же и те солдаты ракетной батареи, которые дали нашему правительству возможность всемирно обличить американскую военщину. Сила наших военных людей и заключается в том, что в суровых условиях дисциплины, подчинения старшему, военного распорядка, о котором написано так много книг, утверждающих, что он механизмирует и уничтожает человеческую личность, они сохранили все великолепные качества советского человека.

Литература о наших современных вооруженных силах (к сожалению, очень малочисленная теперь) и должна разрабатывать именно этот интереснейший вопрос воспитания подлинно советского воина. Здесь еще другая трудность. Она заключается в том, что современный воин — это почти что ученый. Н. С. Хрущев сообщил на последней сессии Верховного Совета, что у нас создано Главное командование ракетными войсками. История уничтожения шпионского самолета показывает, какая сложная техника обнаружения, наблюдения и самого ракетного боя имела место в этом случае. Современная Советская Армия может поспорить в научных своих достижениях с любой отраслью индустрии, а порой и науки. Как же это определило сознание советского воина? Конечно же, это — новые люди, и очень хочется, чтобы литература показала нам их.

Эту задачу с немалым успехом решает интересная и умная книга Г. Березко «Сильнее атома». Военные люди в ней уже совсем иного качества. Это — люди современной Советской Армии.

Однако роман этот лишь первая ступень художественного познания современной армии. И мне хочется пожелать, чтобы Г. Березко, писатель, в котором очень развит дар пристального проникновения в душу военного человека (вспомните хотя бы его превосходную повесть «Ночь полководца», написанную довольно давно, но до сих пор остающуюся примером уважительного, честного подхода к военной психике), чтобы этот писатель включил вторую ступень своей ракеты.

В какой-то мере рассматривает новую психику, на этот раз флотского командира, повесть Н. Панова «Колокола громкого боя». Здесь тоже виден новый, современный подход к изображению советских военных моряков. Виден он и в

романтически приподнятой книге рассказов и повестей В. Чукреева «Орудия в чехлах», и в повести В. Монастырева «Человек среди людей».

Но всего этого чрезвычайно мало. Между тем для пытливого мастера литературы разработка образа советского военного человека во всей сложности противоречий, обусловленных историческим ходом вещей, может стать просто находкой.

Тут и скажется то острое ощущение времени, которым должен обладать писатель. Ведь это и есть дух нашего времени: армия во имя мира, армия, существующая не для развязывания, а для обуздания войны. И показать всей силой художественных средств именно эту особенность, именно эту природу наших вооруженных сил, наше понимание войны — разве это не послужит делу мира, разве это не разъяснит человечеству, чем мы живем и чем мы дышим?

* * *

..Вот высится перед нами могучий горный хребет. Вечно кипящая магма сердцевины земли создала эти вершины и склоны, обширные плато и острые пики, мощные массивы и отдельные скалы. В бесконечном разнообразии форм величественные вершины, увенчанные сияющими коронами льда и снега, врезаются в высокую голубизну неба.

Линия вечных снегов определена самой жизнью земного шара. Бывает порой, что какая-то вершина покрывается блестящей мантией снега, — но растопит летом снег, вершина обнажится, и тогда станет понятным, что она все же находится ниже той удивительной линии, которая отмечает границу вечных снегов.

Так и в литературе.

Перед сознанием человечества, владея его воображением и воспитывая его ум и чувства, неотступно, как в толстовских «Казаках», виднеются в далах времен эти волшебные горы. Горы человеческих мыслей и чувств, собранные и сохраненные во времени литературными талантами.

Одни из книг сияют алмазной своей короной в высокой сини бессмертия. Другие, бесконечно разнообразные по форме, высоте и крепости своих скал, сгрудились вокруг на склонах и отрогах могучего хребта. Одни из них видны издалека и всему миру, другие открываются с более близкого расстояния отдельным народам, третьи — еще более узкому кругу людей.

И когда кипящее сердце нашей планеты в который уже раз выбрасывает из множества человеческих душ и умов нового литературного гения, — новая величественная вершина врезается в голубой простор далекого неба торжествующим утверждением мощи человеческого духа.

Пытаться определить, где же нахо-

дится самый высокий уровень литературного мастерства, было бы вульгарной схоластикой, бессмыслицей. Ведь все дело в том, что не теоретическими нормами, не алгебраическими уравнениями, не мнением знатоков устанавливается эта линия отбора. Ее устанавливает сама жизнь.

Ниже этой границы существует множество полезных, читаемых, интересных книг, которые в данное время, на данном этапе, для данного общества представляют ценность. Так у подножия могучего хребта раскинуто множество красивых и полезных гор, покрытых лесами и виноградниками.

В бою побеждают не только герои и богатыри. Победа в бою добывается всеобщим отважным трудом всего воинства. И дивная прелесть природы заключена не только в могучих снеговых вершинах, но и в предгорьях и увалах.

Подобно этому, громадные задачи литературы не могут быть осуществлены только гениальными и высокоталантливыми произведениями. Нет, наш великий долг перед человечеством исполняется нами всеми. Счастливы те, кто высится в этом хребте гигантскими вершинами, но не менее счастливы и те, чья маленькая вершина укрепила хоть одно сердце, разбудила хоть одну человеческую мысль.

Сочтемся славою, —
ведь мы свои же люди, —

люди общества, которое вот-вот будет создано, люди коммунистического мышления, коллективисты в самой своей сущности.

Великое и благородное братство советских литераторов имеет перед собой нынче, в 1960 году, втором году семилетнего плана развернутого строительства коммунизма, одну, конкретную задачу: повысить свое литературное мастерство, всеми способами поднять наши книги, поэмы, стихи, пьесы на ту удивительную линию сияющего бессмертия, которой определяется понятие литературы.

Совершенствовать свое мастерство — это значит укреплять все входящие в него качества литературного работника. Это значит — упорно развивать отпущенный тебе природой талант. Это значит — укреплять коммунистическое восприятие мира. Это значит — как можно глубже узнавать живую жизнь, следить за ее неожиданными поворотами. Это значит — по завету Горького — совершенствовать свое благородное литературное ремесло, неустанно, трудолюбиво, пристрастно к самому себе постигая все тайны композиции, стиля, языка. И, наконец, это значит — развивать в себе то острое ощущение времени, которым так сильно коммунистическое сознание, владеющее законами движения истории и потому победо ведущее нас к построению нового общества. Учиться этому искусству полного ощущения времени надо у Коммунистической партии.

ПУТИ И ПОИСКИ

Разговор с читателем

...К глухой алтайской деревне с выразительным названием «Волчиха» мы подъезжали, когда начал разыгрываться обычный, затянувшийся потом на неделю, сибирский буран. Деревня, горы, высившиеся вдалеке, дорога, хвост лошади — все постепенно тонуло в сплошной пелене стремительно несущегося снега. И вдруг сквозь эту пелену я неожиданно увидел какое-то движение, неясные тени людей и среди них фигуру женщины, стоявшей на возвышении, по-видимому на сугробе снега. В одной руке ее была лопата, а другую она протянула вперед и, очевидно, кому-то что-то кричала. Голоса ее я не слышал, лица ее не видел и вообще потом не встречал, я просто проехал мимо и спросил возницу — что здесь делается?

— Сложку перетягивают на другой участок, — ответил он. — Впрочем-то не обмолотили, под снег хлеб ушел, вот теперь нагонять приходится.

Колхоз, отдавший почти всех мужчин фронту, не справился с уборкой, и хлеб ушел под снег. Но фронт требовал... И вот сложную молотилку, «сложку», отработавшую на одном участке, нужно перевезти на другой: тянет ее трактор, а женщины расчищают ему дорогу.

Это было восемнадцать лет назад, в самый разгар сталинградского сражения — как немилосердно летит время! — но женщина с лопатой в руке, ее обвязанная платками голова и треплущееся на ветру платье до сих пор стоят у меня перед глазами. Из этого видения родилась «Марья». Я знал колхозную работу и до того видал женщин в этой работе, но то были будни. Теперь в этой фигуре я сразу почувствовал все то бремя, которое легло на советскую женщину в годы войны, весь ее невыразимый никакими словами подвиг, всю ее незаметную, но неотразимую нравственную красоту. И я уже не мог не писать об этом. Мне хотелось воспеть именно ее — нашу рус-

скую женщину, верную жену, мать, труженицу и гражданку, которой в труднейшие минуты жизни нашей Родины приходилось решать сложнейшие общественные и нравственные вопросы.

И именно потому, что мне хотелось воспеть ее, я «не разрешил» ей, например, полюбить Дубкова. Драматургически это было так заманчиво: жена получила «похоронную», вышла за другого, а потом вернулся муж. Конфликт! Но он так снижал весь образ, настолько лишил его народной нравственной силы, что я не смог разрешить себе принять его. И читатели, кстати сказать, это поняли и оценили.

Над «Марьей» я работал семь лет. Изъездил и исходил пешком десятки колхозов. Приходилось встречаться, разговаривать, обсуждать различные проблемы с сотнями людей, но на все — и на людей, и на проблемы — я смотрел глазами, озаренными видением, мелькнувшим предо мною когда-то сквозь пелену сибирского бурана.

Жизнь, однако, не давала возможности замкнуться в этом восхищении. Она ставила перед писателем проблемы, которыми болели люди, беседовавшие со мной на полевых станах под звездами, в санях при переезде из колхоза в колхоз, за самоваром или махоткой молока. Эти проблемы заставляли болеть и меня, но на пути их стояло, с одной стороны, восхищение, а с другой — решающий для писателя вопрос: можно ли? нужно ли? В решении этого вопроса и заключается, на мой взгляд, судьба писателя.

Здесь — проблема объективного значения писательского слова и его большой общественной силы. Писатель — человек, и ничто человеческое ему не чуждо, в том числе и разные отлеты мысли, ее подъемы и падения. Но в то же время это высокообщественный и, следовательно, высокоответственный человек, каждое слово которого приобретает в силу своей

специфики необычайно большое общественное звучание. Поэтому он прежде всего самому себе должен ставить этот вопрос: можно ли? Это значит — нужно ли? своевременно ли? и вообще, так ли на самом деле выглядит то, что он хочет сказать? А если так, если на все эти вопросы он для себя, для своей собственной совести ответит утвердительно, тогда должен писать, всеми средствами доказывать правильность своего решения вопроса и на том стоять.

Поясню эту мысль примером. Из всего комплекса проблем, связанных с сельским хозяйством, я взял тогда одну: проблему руководства и человеческого отношения к общественному долгу, воплотив ее в образах Марьи и председателя, пьяницы Порхачева. И когда один из редакторов занес свой карандаш на образ Порхачева, пришлось дать ему решительный бой.

— Когда я писал, — заявил я ему, — то больше всего боялся редактора-труса. Как хотите, ставлю под вопрос всю книгу, но Порхачева не отдам.

С другими проблемами дело обстояло иначе. Например, вопрос об МТС и их хозяйственной необходимости возник у меня еще летом 1945 года, когда я, собирая материал для «Марьи», шел с одним чудесным стариком, послужившим для меня прообразом Фомича, по полям колхоза им. Буденного Рязанской области.

— Вот смотрите, — сказал он, показывая на хлеба, стоящие по обе стороны полевой дороги. — Поле одно, а хлеб разный, направо мы сеяли, а налево — МТС.

И действительно, направо от дороги хлеб был высокий, чистый, а налево — значительно хуже.

— А почему? — задал вопрос Михаил Семенович. — Земля эта оторвана от того, кто на ней хозяйствует...

Можно ли было тогда говорить о ликвидации МТС, своевременно ли? Нет, несвоевременно. А в то же время почему же нельзя было в порядке разведки поставить этот вопрос, бросить мысль, которая зародилась в недрах жизни? Может быть, я этим помог бы раньше поставить этот вопрос и раньше его разрешить.

И вообще, после 1953 года, когда началась решительная перестройка колхозной жизни и обнаружилось громадное количество связанных с этим проблем, я не мог не сказать своей совести, что все или почти все из этих процессов и проблем я видел. Видел, но не отразил. А я должен был это сделать, чтобы выполнить свой долг писателя. Значит, нужно было глубоко продумать вот эти самые «можно ли? нужно ли?», — продумать и решить.

Широта мысли, активность мысли вернее, должна быть не только правом, но и обязанностью писателя, ибо в том и заключается основная задача искусства: видение и осмысливание жизни во всем ее разливе и бурлении, во всей ее сложности и богатстве, в движении и борении. Видеть жизнь не в смотровую щель, но

открытыми глазами советского писателя, чтобы лучше познать ее, понять и воздействовать на нее, чтобы в полную меру выполнять свою роль помощника партии.

А что значит быть помощником партии? Как понимать это в практическом, живом выражении? Помощники могут быть разные, степень и характер помощи — тоже разные. Ученый, осмысливающий какой-то большой вопрос, проблему, — помощник. Инженер, разрабатывающий конкретный проект, — помощник. Мастер, выполняющий работу, — тоже помощник. Нужно и то, и другое, и третье, но характер помощи и, следовательно, размах ее — разный.

В такой же степени разной, мне кажется, должна быть и роль писателя в многообразной и многогранной работе партии по строительству коммунизма. Да, он и исполнитель, и проводник, и пропагандист — и обязательно творческий проводник и пропагандист! — но в то же время это и разведчик, исследователь и мыслитель. Он не повторяет, он добывает знания, исследует правду жизни и этим обогащает читателя. Быть помощником партии в деле исследования и осмысливания жизни, инженерии человеческих душ, в деле формирования идеалов и характеров, чтобы литература была не пассивным отражением, но в какой-то мере и двигателем жизни, — вот, по-моему, в чем заключается высшее назначение писателя.

А для этого нужна и смелость, и самостоятельность, и какой-то риск. Без риска не может быть исследования, не может быть его и без творческой самостоятельности.

Самостоятельность... Это не есть «независимость» и «самостийность». Это вовсе не пресловутая буржуазная свобода творчества, не «свобода» от законов общества, его жизни и целей. Наоборот, это очень строгая, крепкая и сознательная увязка своих предвзвешенных, целей и творческих поисков с законами и задачами общества, с общей политикой партии, это умение и способность разграничивать общее и частное, мелкое и большое, оживляющее и нарождающееся, это самостоятельность бойца, осуществляющего замысел командования и принимающего на себя вытекающую из этого ответственность. Это — личный творческий вклад в общее дело. А с другой стороны, это — доверие, партийное доверие к партийному художнику, доверие к солдату, ведущему бой.

Идет эскадра по бурным водам жизненного моря. Ведет ее могучий флагман, определяющий курс, и все остальные суда, большие и малые, идут тем же курсом, к одной цели. Но идти одним курсом можно по-разному. Можно идти в кильватере и высоко, чуть ли не выше самого флагмана, взлетать на мощной кильватерной волне. А можно идти тут же, в строю, тем же курсом и к той же цели, но на каком-то своем месте, рядом или

немного впереди или немного в стороне, но обязательно заново вспарывая неизведанную гладь моря.

Это труднее, ответственнее, опаснее, — можно ошибиться и наскочить на рифы, нарваться на мину, зато обнаружить и рифы, и мину, и флагман поймет все это, в чем нужно — поправит, а за что следует — поблагодарит и, определяя курс, учтет твои поиски. Нужно только, чтобы поиски эти были поисками бойца, а не легкомысленным порханием по гребням волн.

Так рисовалась мне роль писателя в нашем историческом походе из прошлого в будущее, так определилась тогда для меня его творческая позиция, и в свете таких выводов я работал над следующей своей книгой «Повесть о юности». Книга эта широкого плана — о школе, учителях, родителях, учениках, о воспитании и самовоспитании, о формировании советского молодого человека, его личности, мировоззрения, характера. Но среди этих больших вопросов был один, более мелкий, но очень острый и спорный для того времени, — вопрос о совместном и раздельном обучении. Пусть это частная и теперь уже забытая проблема, но в 1950—1952 годах она волновала многих. Припомним горячую дискуссию на эту тему на страницах «Литературной газеты», дискуссию, вызвавшую еще более горячий отклик среди учителей, родителей и учащейся молодежи. Я помню, как девушки, ученицы девярых — десятых классов, возмущались статьей директора школы из г. Ростова, выступившей в защиту раздельного обучения, и как писали об этом коллективные письма в редакцию газеты.

Основное и непреложное в отношении школы и народного образования для всей передовой педагогической мысли, и прежде всего для В. И. Ленина и Н. К. Крупской, всегда связывалось с принципом совместного обучения. А в наши дни с этим же связывались и назревшие задачи перестройки школы. Вот почему я решительно отводил все советы и требования — иной раз и очень авторитетные, — касающиеся неизбежности принципа раздельного обучения.

— Министр Каиров заявил, что этот вопрос «не подлежит обсуждению», — сказал, например, один член редсовета при обсуждении книги.

— В литературе все подлежит обсуждению, — возразил я ему. — Все дело в том, как решаются вопросы, поставленные на обсуждение.

В итоге было решено, одоблив в основном рукопись, спорный вопрос дополнительно выяснить и еще раз вернуться к нему.

Это был март 1954 года. А пока выясняли и решали, жизнь практически решила проблему: раздельное обучение уступило место совместному. Там, где я шел на бой, к моменту выхода книги в декабре 1954 года оказалось, что я ломлюсь в от-

крытые ворота, и во втором издании мне пришлось уже смягчать и даже снимать наиболее полемические в этом отношении абзацы.

Но я не мог опять не задуматься: а что бы произошло, если бы я послушался тех, кто предлагал мне обратное? Книга, еще не выйдя в свет, сразу же не только отстала бы от жизни, но была бы направлена против нее.

Мне могут сказать, что это слишком частная и узкая тема, за которую не следовало браться романисту. Здесь есть доля истины. Но романист в данном случае не мог обойти эту важную жизненную тему, которая занимала умы на протяжении достаточно длительного периода и за которой, несомненно, стояли другие, более общие проблемы. Отсюда, между прочим, возникает вопрос, имеющий очень важное значение для литературы, посвященной темам современности. Нужна ли актуальность? Возможно ли одно без другого и где граница, отделяющая одно от другого? Здесь заложены громадные трудности и опасности как для романиста, так и для критика, оценивающего его работу.

Вот в атмосфере всех этих вопросов я и начал работу над повестью «Честь». Конкретная история ее возникновения с большой, но, конечно, не стопроцентной степенью приближения описана в самой повести в истории писателя Шанского.

Кстати, о Шанском. Этот образ вызывает большое, но далеко не единодушное возражение у читателей. Одни утверждают, что он «болтается», много говорит и только мешает развитию действия. Другие говорят: ну, и пусть «болтается» и пусть притормаживает ход действия, зато заставляет кое над чем задуматься и кое-что осмыслить. Я думаю, что правы и те и другие.

Образ Шанского — конечно, недостаток повести. Но недостатки бывают разные: одни — от неумения, непонимания, другие — от сознательного применения того или иного приема.

Я достаточно ясно представляю себе значение сюжета, композиции, чтобы не понимать, что введение такого размышляющего, но отнюдь не разъясняющего, как утверждают некоторые критики, персонажа нарушает стройность сюжета. Может ли существовать история Антона без Шанского? Конечно, может. Она будет стройнее, но «тоньше», беднее. Именно Шанский с его поисками и размышлениями обогащает эту историю различными социальными и жизненными параллелями и ассоциациями, которые расширяют ее до масштабов проблемы. И именно к этому я совершенно сознательно и преднамеренно стремился.

Шанский никак не входил в предварительный план моей работы. Он выскочил из-под пера совершенно нечаянно, как один из штрихов нового дня вечера в колонии, и первоначально даже не имел фамилии. А потом, по мере осмысливания

и расширения темы, я стал нагружать его смысловым значением. Мне стали говорить, что он не нужен, но чем больше мне это говорили, тем больше я убеждался в обратном и расширял этот образ — дал ему фамилию, перенес из второй части в первую и возложил на него задачу, недоступную никому из действующих героев повести: осмысливать вещи и явления, выходящие за пределы истории Антона. Шанский — это публицистическое и полемическое начало в повести, это — прием.

Вправе ли я был употребить этот прием? Со всеми оговорками и скидками на масштабы явлений я не могу не сослаться на наших великих предков и учителей. Если бы Пушкин свел свой знаменитый роман в стихах к взаимоотношениям Татьяны и Онегина, если бы он не расширил их многочисленными отступлениями, описаниями и размышлениями, разве Белинский мог бы назвать этот роман энциклопедией русской жизни? Разве так была бы понятна сцена, в которой Кутузов ест курицу во время Бородинского сражения, если бы не было философских глав «Войны и мира», которые очень и очень тормозят развитие действия, но зато дают глубокую, хотя и не во всем правильную, концепцию философии истории? Ведь недаром Толстой в одном издании попробовал изъять эти главы, а потом восстановил. Разве так уж необходима история битвы под Ватерлоо для сюжетной линии Жана Вальжана и Козетты в «Отверженных» Виктора Гюго? Но разве мыслимо и то, и другое, и третье произведение без всех этих размышлений и отступлений?

Вот почему я сознательно и преднамеренно пошел на нарушение элементарных канонов сюжетного и композиционного строения.

И еще одно было для этого соображение — что, кстати сказать, заставляет меня взяться и за эту статью: показать работу писателя. К сожалению, представление о писателе у нас в значительной степени загрязнено. Люди почему-то с большей легкостью ловят разного рода слухи, но не видят труда писателя, его тяжести — и моральной и физической, — его ответственности и сложности. Меня, например, потрясает энергия и самоотверженность Н. Н. Михайлова, нашего ведущего представителя жанра художественной географии, побывавшего при очень слабом здоровье в Арктике, в водах Антарктики, в Америке, в Китае, совершившего кругосветное путешествие. И почему на него, очень скромного, очень культурного и порядочного во всех отношениях человека, должна ложиться тень какого-нибудь забулдыги, который десятком посредственных стихов купил себе право называться поэтом и вести по сему случаю полупьяную-полугрезвую богемную жизнь?

Вот почему не смущают меня упреки в ненужности Шанского. Вот почему при

подготовке книги к отдельному изданию я не ослабил, а наоборот, усилил его «смысловую нагрузку» и расширил, например, рассмотрение вопроса о причинах преступности в нашей стране.

Когда я работал еще над книгой «Повесть о юности», на страницах газеты «Комсомольская правда» прошла большая дискуссия о том, как стать хорошим человеком. Дискуссия эта вызвала не одну тысячу читательских писем, из которых я прочитал не одну сотню.

Среди этих писем мне попалось одно, в котором бывший заключенный описывал свой жизненный путь: лишившись в войну отца, он сбился с пути, наделал глупостей и попал на склямо подсудимых, а затем в Воркуту. Там он все осознал, понял, прочувствовал и, обратившись в правительство, был амнистирован, но остался в Воркуте как вольнонаемный рабочий, чтобы трудом загладить свою вину перед Родиной. И вот человек пишет большое, на многих страницах, письмо-исповедь, в котором рассказывает о своих ошибках и обращается к молодежи с предупреждением: берегитесь этого!

Теперь я имею подобные исповеди от десятков людей, с некоторыми из них веду переписку, длящуюся по два, по три года; мне приходится выступать здесь и как исследователю и как помощнику в решении и устройстве трудных человеческих судеб. Но то письмо меня потрясло, как электрический ток. Сын героя, отдавшего свою жизнь за народ, пошел против народа, совершил преступление, потом осознал это свое преступление и выступил против него.

Так в недрах одной книги зародился замысел другой — это было, по-моему, осенью 1952 года, — зародился и тут же испугал меня. Справлюсь ли я с этой темой? Да и нужно ли, вообще говоря, об этом писать?

Шли годы. Я настойчиво старался загасить в себе вспыхнувшую искру, но она так же настойчиво не хотела меркнуть. Окончив «Повесть о юности», я думал написать еще книгу о школе, о начавшихся тогда попытках связать обучение с трудом. Это было очень важно и нужно, но это не порождало во мне творческой искры, из которой могло бы родиться произведение. И это было бы повторением самого себя, так как первые шаги этого процесса нашли свое отражение и в «Повести о юности». Но мое знакомство со школами, встречи с молодежью, с учителями и, наконец, многочисленные письма читателей о книге «Повесть о юности» все больше и больше выдвигали в моем сознании тему юности неблагоприятной.

Это была другая сторона жизни. Если до этого я работал над темой благополучной, даже светлой юности, утверждающей себя и свое будущее в труде, в учебе, в стремлении воплотить в себе все лучшее и чистое, что дает ей наша жизнь, то теперь, несмотря на все стара-

ния, не мог отвести свой мысленный взор от той, другой стороны жизни...

Но, может быть, это превратное, искаженное, извращенное видение? — спрашивал я себя. — Разве в этом наша жизнь? Нет, не в этом. Но это — в нашей жизни, зло в добре, мрак во свете. Так что же делать? Пройти мимо? Но это значит примириться со злом. А разве это можно? Какой же я буду писатель, гражданин и просто человек, если примирюсь с обнаруженным мною злом и пройду мимо? Не могу я этого!

Неоценимой моральной и политической поддержкой для меня были слова Н. С. Хрущева на приеме творческой интеллигенции в Кремле: «Книги советских писателей помогают укрепиться всему лучшему, честному, сознательному, передовому, они учат ненавидеть все злобное, низкое, бесчеловечное — ненавидеть и активно бороться с ним».

А как же средствами искусства бороться со злом, если не делать его предметом художественного изображения? Великое искусство прошлого никогда не избегало темы зла, потому что избегать ее значит оставлять зло в неприкосновенности. А мы? Разве можем мы оставлять зло в неприкосновенности? Ведь в этом заключается весь пафос революции и в этом заключается вся моральная сила коммунистического идеала — в преодолении зла и в торжестве «всего лучшего, честного, сознательного и передового». И в чем же иначе может заключаться светлое будущее человечества?

Так утверждалась случайно возникшая тема.

И чем больше она утверждалась, тем больше увлекала меня. За частными случаями стала просматриваться общественная проблема.

После опубликования «Чести» я получил очень интересное и, при всей доброжелательности, довольно критическое письмо читателя Чепиго: «Наш, советский, честный писатель должен не только отображать жизнь страны, думы трудового народа, но и поглубже входить в существо своей темы, разбирать и анализировать среду и общественные условия, в которых происходят события. Нельзя ограничиваться поверхностью, наружной видимостью и заниматься простым фотографированием. Следует образно доводить читателя до причин, породивших отмеченные писателем явления, и помочь читателю побольше размышлять над этим и искать пути общественного воздействия».

Именно этим путем анализа, размышления и поисков путей общественного воздействия я шел в решении вставшей передо мной проблемы. В чем дело? Как же так получается, что ребята, родители которых выросли при советской власти, которые учились в наших школах, слушали наше радио, читали нашу литературу, ведут себя совсем не соответственно принципам нашего общества?

Прав ли я был в постановке этой проблемы? Теперь жизнь показывает, что прав, но тогда на это нужно было решиться. Но как же не решиться, когда жизнь, сама всемогущая жизнь берет тебя своей властной рукой и ведет к этому? Вот на территории отделения милиции, с которым я был связан, обнаруживается преступная группа. Во главе — ученик десятого класса, сдающий экзамен на аттестат зрелости. Разве это не проблема? И разве можно было пройти мимо нее? Нет!

И я с головой бросаюсь в эту пучину. Делаю попытку проникнуть в процесс следствия, но, встретив формальные препятствия, решаю не добиваться этого, а параллельно юридическому следствию начинаю свое, писательское. Хожу по семьям, школам, изучаю обстановку, окружение провинившихся ребят, беседую с прокурорами, адвокатами, присутствую на суде. Потом получаю доступ в тюрьмы, встречаюсь там со своими «клиентами», а попутно и с другими представителями преступного мира, затем еду в детскую трудовую колонию и проникаю, насколько возможно, в этот мир, изучаю постановку дела в колонии, весь педагогический процесс и его результаты — в подавляющем большинстве своем бывшие преступники выходят из колонии людьми, твердо вставшими на правильную дорогу в жизни. После этого устанавливаю связи с людьми, прошедшими через колонию, и прослеживаю их дальнейший путь, их трудности, радости и цели.

Можно ли требовать от писателя конкретного рецепта, как бороться с преступностью, или как организовать школьное обучение, или наладить колхоз, или укрепить советскую семью? Нет, решает вопросы жизнь, а писатель дает художественное решение проблемы в ее общем, принципиальном, этическом и эстетическом выражении. Его задача — привлечь внимание общества к тому или иному вопросу и растревожить его — порадовать или огорчить, вызвать чувство восхищения, гордости, бодрости или, наоборот, тревоги и раздумья и пробудить, таким образом, в обществе новые мысли, настроения и силы.

«Учить — не значит давать рецепт, а помочь сделать правильный вывод из фактов с помощью основных положений и подтвердить его примером», — как пишет в своем умном отклике на «Честь» младший сержант Гришин.

Вот так нужно было решать мне и свою трудную проблему. Нельзя было скрывать от читателя грязь. Как можно привить чистоплотность ребенку и приучить его, например, мыть руки перед едой, если смиряться перед его утверждением, что они чистые? Мне хотелось заставить читателя увидеть эту грязь и вызвать в нем потребность очиститься от нее. Показать зло зла, грязь грязи и ужас

ужаса,— так я сформулировал для себя свою художественную задачу.

Главной проблемой была, конечно, фигура первого плана. Прежде всего, нужно ли и можно ли давать преступника первым планом? Все очень мрачно и беспросветно,— говорили мне читатели уже по первым главам, а потом и по всей первой части. Нужно первым планом или хотя бы параллельно дать какую-то другую, положительную фигуру, которая уравновешивала бы общее ощущение жизни. Люди предлагали то, над чем и сам я уже без конца ломал голову. Уравновешивать? — спрашивал я себя.— А что это даст? Картина жизни будет ближе к действительности, но и спокойней: первым, определяющим планом идет, как и во всей нашей жизни, положительный герой, а на втором болтается заблудившийся Антон... Ну так что ж, что болтается, но ведь он где-то там, на задворках,— решит тогда читатель,— это не страшно. Во всяком случае это не проблема!

Что же получится? Вместо настороженности — успокоение, вместо воздействия — показ. Я почувствовал здесь опасность какой-то новой сомнительной концепции, своего рода теории равновесия, дальней родственницы печальной памяти теории бесконфликтности. Если задача писателя просто изображать, тогда это правильно. Если его задача — двигать жизнь, тогда это опасно: картина нарисована, а результатов нет. На читателя нужно произвести впечатление, встряхнуть его и заставить задуматься. «Уравновешенная» картина этого не сделает, она пройдет по касательной.

Следовательно, фигуру преступника нужно давать первым, крупным планом, решил я тогда. Пусть он пройдет через грязь и ужас и пусть преодолеет это, как тот, кто когда-то писал из Воркуты в «Комсомольскую правду». Свет и мрак пусть не идут параллельно, стирая и поглощая друг друга и превращаясь в сероватую мглу, пусть свет прорвется из мрака и брызнет во всю свою силу! Тогда будет виден мрак и будет виден свет, и каждый сыграет свою, присущую ему, роль.

Но тут возник следующий вопрос: кто же он, мой будущий Антон? Это, очевидно, должен быть характер сильный, сопротивляющийся до конца, и только где-то там, на последних кульминациях борьбы и сюжетного развития, он должен «сломаться», уступив действию непреложных жизненных и общественных сил. Тогда до каких-то последних кульминационных вершин продолжается борьба и поддерживается сюжетное напряжение. Так теоретически рисовался мне ход вещей.

Но это значило, что почти до конца сохранялся бы мрак, который должен был нести с собой такого рода герой, ибо основную тональность произведения создает, конечно, центральный образ. На это я пойти не мог ни по объективным,

ни по субъективным причинам — без света нет и искусства. Я бесконечно много думал об этом, советовался с работниками колонии, даже иногда с самими заключенными, воспитанниками колонии. В результате этот вариант был отвергнут. Главным героем был выбран подказанный самой жизнью человек, осознавший зло зла уже в момент совершения его (сцена на озере). Соответственно были построены и условия его семейного и школьного бытия — все стало выглядеть тоньше и от этого, по-моему, гораздо действительней — ведь пьянство отца или открытый разврат матери куда легче разглядеть и расценить, чем влияние внутренней фальши внешне благополучных отношений.

Так сложился Антон. Это несло в себе большие трудности для будущего решения сюжета: на чем будет строиться развитие характера Антона дальше, в колонии? Я видел эти трудности и по мере сил старался преодолеть их, но до конца не преодолел: вторая часть оказалась менее напряженной, чем первая,— ослабевает волнение читателя за судьбу Антона. В чем дело?

Кроме причин, заложенных в самом характере героя, я откровенно хочу назвать еще одну. Мне поскорее хотелось перекрыть светом мрак, который есть в первой части, и в этом стремлении я местами погрешил против чувства меры и логики. Поэтому Антон слишком легко и быстро не то что перевоспитывается, а начинает чувствовать себя в колонии очень легко и радостно. В отдельном издании книги я эту ошибку, в меру возможностей, постарался выправить.

В этих поисках для меня открылась, казалось бы, хорошая возможность сюжетного обострения: чистосердечное признание на суде порождает у Антона протест против приговора, против содержания в тюрьме наравне с такими, как Яшка Клиш; этот протест поддерживает потом и усиливает Мишка Шевчук, и Антон более определенно идет вслед за Мишкой во всех его «художествах». И только позднее он понимает ошибочность своего поведения. Напряжение усиливается, но поведение Антона вступает в конфликт с его характером и с тем образом, который уже сложился в сознании читателя. Ломать же этот образ я считал для себя невозможным, так как это повело бы к подрыву читательского доверия к автору. А доверие читателя — основной капитал писателя. Вот почему я от нового варианта отказался, и думаю, что читатель меня поймет.

Теперь хочу сказать несколько слов о Мишке Шевчуке.

Прежде всего, почему он появился. Некоторые упрекают меня в том, что я во второй части «забросил», упустил из виду судьбы старых друзей Антона — Витьки Бузунова, Вадика и других. Эти упреки основаны на явном недоразумении. Повествование во второй части

должно было идти за главным героем — Антоном Шелестовым, а «подельники», люди, осужденные по одному делу, не могут отбивать заключение в одном месте. Следовательно, волей обстоятельств Вадик и другие во второй части отделяются от Антона. Конечно, это далеко не все читатели знают, можно было в угоду сюжетным требованиям допустить литературную вольность и старых друзей не разделять. Но зачем допускать эту вольность и навлекать упреки сведущих в этих делах людей? Ведь такой упрек подрывал бы веру в автора, в книгу и во все, что в ней написано. А если писатель теряет веру читателя, то пропадает весь смысл его работы.

Поэтому-то Антон поехал в колонию один, без своих старых друзей. Но этих друзей должен был заменить кто-то, выражающий те же силы, что Вадик и Витька-Крыса. Эти силы и олицетворяет Мишка Шевчук.

У некоторых вызывает сомнение заштыглый рот и другие выходки Мишки — настолько они кажутся невероятными. Но и здесь я не отступал от правды: в этом превратном, изуверском мире творятся, действительно, иной раз изуверские вещи.

Есть и еще вопрос, по которому разгораются иногда споры читателей — почему Мишка не перевоспитался? В жизни я видел «Мишек» разных — и перевоспитавшихся, и оставшихся верными своим бредовым преступным «идеям». Знал я, например, одного, который, придя в колонию в феврале, до мая, как он потом выражался, «мутила воду», потом «завязал», стал юннатом, разбил новый сквер для своего отделения и в августе уже был командиром отделения. С него я и писал первый вариант Мишки. Но потом мы задумались — мы — это я, начальник колонии Д. Ф. Шашило, образованный, умелый педагог и твердый политический руководитель; это П. В. Моренов, работник Министерства внутренних дел, человек большой души и ясного ума, и другие практические работники в этой области, мои лучшие друзья и консультанты. Что же получается? Мишка точит ножи, Мишка готовит дела, которые могут закончиться очень и очень печально. Правильно ли будет, если это зло окажется ненаказанным? Правильно ли это будет и юридически, и педагогически, и этически? И как это будет воспринято читателем? Поэтому мы выбрали другой вариант Мишкиной судьбы — вариант тоже жизненный, правдивый, но иного звучания.

И, наконец, еще один вопрос в связи с Мишкой. Когда он собирает сходку, чтобы подготовить беспорядки в колонии, эта сходка в журнальном варианте слишком легко и просто ликвидируется нарядом надзирателей. В жизни тоже бывает и так, а бывает и куда серьезнее. В данном случае я выбрал облегченный вариант. В отдельном издании книги все это выглядит значительно сложнее.

Положительное начало в повести для меня воплощалось в образе Марины.

Зародыш его — там же, в тех же письмах, которые я когда-то читал в «Комсомольской правде». Среди них было одно, где заблудившийся и, очевидно, махнувший было на себя человек рассказал о том, какое влияние на него произвела любовь девушки, любовь, в которой она сама ему призналась. «Это меня потрясло,— писал этот человек.— Мне еще никто никогда не говорил таких слов. Я знал женщин, но знал просто и гадко, и никто мне не говорил о любви. И когда я услышал эти слова, я не мог заснуть всю ночь».

Это — намек, почти предчувствие того, как нужно решать эту проблему, предчувствие, которое сейчас, когда «Честь» опубликована, нашло удивительное подтверждение в письме, полученном мною из Харькова.

«Мне двадцать лет и до сих пор все люди казались мне хорошими, честными, смелыми, а вот теперь я поняла, что все это далеко не так. Его имя — Сергей. До него я никого никогда не любила, с ним я как-то по-новому взглянула на мир, увидела, как распускаются почки, как ярко светит солнышко.

И вот я узнаю, что мой друг, человек, которого я люблю,— вор. Наверно, я должна его презирать, ненавидеть, а я люблю его, люблю и не могу забыть! Я хочу как-то помочь ему, увести с этой пагубной дороги, но как? Если б нашелся на свете человек, который помог бы мне, посоветовал как быть? Ведь полюбить кристально чистого человека легко, а вот такого, у которого есть отрицательные стороны, даже пороки? Как Вы поступили бы на моем месте? Бросили, оставили, да? Но ведь так он пропадет совсем!

Да и вообще, мне кажется, что не обязательно искать хороших людей,— надо их делать хорошими! И уж ежели любить, то любить человека такого, каков он есть!

Это говорит сердце... А рассудок? Рассудок говорит совсем иное... Он не желает и мысли допустить, что в человеке, который тебе дорог, уживается что-то темное, что-то такое, о чем нельзя говорить вслух.

Так как же быть? Зажать сердце в кулак и ждать... незапятнанного героя? Или же заглушить голос разума?

Иногда бывает в жизни очень трудно. Счастье в том, что есть на свете хорошие друзья,— иначе не стоило бы, наверно, жить вообще».

В жизни все очень сложно, куда сложнее, чем мы видим и изображаем. В любви, оказывается,— то же самое.

С особенной силой это пришлось мне постигнуть, работая над образом Марины. Я думал: «Ну, хорошо! С Антоном я как-нибудь справлюсь. А с Мариной, вообще с «любовной линией»? Кто может полюбить преступника?»

Но вот я поехал в колонию и увидел:

всюду жизнь и всюду любовь, всюду большие, не укладывающиеся ни в какие рамки человеческие отношения и чувства. Ребята меня завалили письмами, которые они получают от девушек. Среди них были всякие — глуповатые и мелкие, сентиментальные и серьезные, доверительные и поучающие, — но одно из них было особенное, даже непонятное. Она — отличница, комсорг школы, он — обыкновенный мелкий хулиганишка, любитель побаловаться и выпить. Они подружились в драмкружке. Потом он совершил преступление и попал в колонию, а она кончила школу с золотой медалью, поступила в институт и вот пишет ему совершенно исключительные по своей теплоте письма: «Ты самый хороший, ты самый добрый человек на свете». Я два раза ездил к ней в Рязань, чтобы разгадать эту психологическую загадку, и увидел умную, волевою и сердечную девушку, которая, как взрослая, как мать, разбиралась в слабостях и ошибках своего незадачливого друга. «Он еще мальчишка. Повзрослеет — поумнеет». А ей самой восемнадцать лет.

Вот другая девушка. Ее друга осудили на пятнадцать лет за бандитские дела. Она ходила к нему на свидание в тюрьму, и там он ей сказал, что рад своему аресту — порвались его связи с преступным миром, которые сам он не имел сил порвать. «И вы понимаете? У него были такие чистые глаза! — говорила она мне. — Раньше он был всегда такой сумрачный, я только не знала, отчего это. А теперь просветлел!»

И она решила дожидаться его.

А вот чудесная девушка, Галя Мазуренко, которая кончила 29-ю московскую школу и, вопреки всем настояниям матери, уехала добровольцем на большую сибирскую стройку. Она погибла при несчастном случае. В папке ее личных бумаг, той самой папке с серебряным тиснением, которая по наследству перешла от нее к Марине, я нашел и то самое стихотворение:

Помнишь, как Саша Матросов
Грудью свой полк защитил?
Помнишь, как немец в морозы
Зою босую водил?..

Только фамилия человека, к которому в конце обращалось это стихотворение, была, конечно, другая.

Так из разных источников сформировалась Марина. Читатели по-разному относятся к ней — одним она очень нравится, другие, наоборот, в нее не верят. Не знаю, для меня она живой человек. На читательской конференции в г. Калинин я получил такую записку: «Честное слово, это очень правдивый образ. Очень хорошо, что вы показали веру Марины в честность, в хорошее, веру в близкий коммунизм, в настоящую дружбу. Это нам очень близко, отвечает и нашим мыслям». Подпись: «Учащиеся техникума».

Одним словом, все как будто укладывалось и становилось на свои места.

Но за одними проблемами возникали другие, они стояли за каждой страницей. Показывать или не показывать тюрьму? Как показывать преступный мир? Как быть с жаргоном? Правомерно ли отстаивать идею перевоспитания наперекор имеющимся очень жестким настроениям, или поддаться им? Теперь, после выступления Н. С. Хрущева на III съезде советских писателей, все это прояснилось, а тогда все выглядело совсем иначе.

«На ключ, на хлеб и воду, чтобы другой раз неповидно было», — сформулировал свое позицию один из ярких представителей «жестких» настроений. Обо всем этом нужно было думать и думать: нужно ли все это? правильно ли все это? так ли все это?

— А зачем вы взялись за такую тему? — говорили мне одни. — Неужели больше не о чем писать? Посмотрите, что делается вокруг!..

— Эта тема — не предмет искусства! — вторили другие. — Она вне прекрасного. Вдохновлять может только величайшее!

— Воспитывать нужно на положительном, — поучали третьи, — а у вас..

Но как же быть с нашим педагогическим и общественным браком, в котором по тем или иным причинам затянулся процесс формирования личности, характера, мировоззрения и из которого при стечении каких-то обстоятельств получаются то бездельники-стиляги, то фанфароны-отрицатели, то хулиганы, а то и преступники, горе наше?

Ведь как бы ни был противен «нравонарушитель» — довелось мне слышать такое слово, — он наш! Он родился у нас, он учился у нас, он читал нашу литературу, слушал наше радио — почему же он стал таким? Биология? Предопределение? Обреченность? Судьба? Папа с мамой не досмотрели? Сам виноват? Конечно, мы не можем снимать вину ни с папы, ни с мамы, ни с самого преступника, но если мы серьезные общественные деятели, марксисты, то мы не можем не видеть и не искать за всем этим целый комплекс разнообразных причин и условий, в которых нужно разбираться, чтобы устранить их. А проходить мимо этого, насвистывая и помахивая веткой черемухи, недостойно подлинных хозяев жизни и не свойственно им.

Мы идем в грядущее, как сказал бы поэт. Да, мы идем в грядущее! Кто идет? Мы, чистые, светлые, сильные, в красных галстуках идем, а эти самые, разные там Антоны, это что, пыль дорожная?

Нет! Мы все идем, всем народом, и всем народом должны прийти — без этого не может быть коммунизма. Ведь это говорил еще Ленин — мы строим социализм с тем человеческим материалом, который дан нам историей. Как же можем мы махать рукой на наших ребят, не нашедших себя? Как мы можем не «возиться» с ними, не искать путей воспитания и там, где они затруднены?

Нет, наше советское общество смотрит иначе. Партия требует, чтобы мы занимались не только производственными планами и техникой безопасности, но и подрастающим поколением, и чтобы все мы уделяли этому куда больше настоящего, глубокого внимания.

Да, вдохновлять может только величественное, — вспоминаю я опять наставления своих друзей. Несомненно! И меня, например, вдохновляет величественное — чистота и моральная высота человека, который должен войти во дворец, который мы строим. Но что значит «вдохновлять», «вдохновляться»? Пассивное это или активное состояние? Вдохновляться — это хотеть, стремиться и бороться за предмет своего вдохновения. А бороться — это прежде всего устранять те камни, которые лежат на пути к цели. А как же иначе? Обходить? Чтобы идущие за тобою ноги переломали?

Вот я стою на гористом берегу Оки. Передо мной обширная, на много километров, заливная пойма реки. Там кукуруза, конопля, комбайн убирает колхозную пшеницу — богатство! А рядом — оставшиеся от старицы озера, поросшие осокой болота, какие-то рвы, кустарники, кочки. У меня за спиной, на взгорье — усадьба только что организованной луго-мелиоративной станции. Пройдет год, и люди этой станции возьмутся за приведение в порядок поймы Оки: осушат болота, засыпят рвы, выкорчуют кустарник, срежут кочки — и зацветет раскинувшаяся передо мной земля еще краше.

Так я представляю себе борьбу за грядущее! Устройство жизни. Организация ее. Стремление и умение сделать ее все более и более разумной и красивой. И все — во благо человека. Так оно и строится, наше грядущее, на наших глазах и нашими руками: никогда мы не видели такого размаха живой и конкретной организаторской работы, которую ведет сейчас наш народ, движимый поистине вечным, неутомимым двигателем — волей и мудростью Коммунистической партии.

Или говорят еще: нужно мечтать! А что такое мечта? Это — порыв, устремление от настоящего к будущему. Преодоление несовершенств жизни и стремление подняться к лучшему — в этом ведь и сказывается сущность человеческого естества. Голодный человек мечтал о скатерти-самобранке, о «благорастворении воздуха и изобилии плодов земных», человек, прикованный к земле, думал о сапогах-скороходах, о ковре-самолете и полетах к звездам, ужасы войны порождали моление о мире, рабство — мысль о свободе, гнет и мрак жизни — мечту о городе Солнца.

Так же, очевидно, обстоит дело и с нашей мечтой о будущем, о новом, совершенном человеке. Реально эта мечта должна складываться и осуществляться из того, что есть в жизни — из того, что нужно оставить в ней и что преодолеть, и из того, что нужно развить и сделать

господствующим. Новое рождается в борьбе со старым, это всегда было и всегда будет, ибо в этом — динамика жизни и, следовательно, — динамика искусства. Речь может идти только о преобладании, об акцентах, о том, что видимо и что не видимо, но сущность жизни — именно в движении, развитии, преодолении старого и достижении нового.

И воспитание человека именно в том и заключается — в преодолении одних качеств и черт характера, старых, вредных, ненужных, и в выработке других, ведущих человека к тому идеалу, который ставит перед ним народ и время. Но процесс этот сложный, многосторонний и упрощенного отношения к себе тоже не терпит.

Можно ли отрицать, например, первостепенное значение положительного примера? Даже самый вопрос этот не может вызвать ничего, кроме недоумения. Положительный пример, образец, цель, идеал — это то, что движет человеком в его скрытой внутренней работе, в его саморазвитии. Я не боюсь этого, немного старомодного слова — старые моды, на поверку, не всегда оказываются хуже новых, — а наоборот, подчеркиваю его: оно выражает активный момент в очень сложном процессе воспитания. Разве можно представлять воспитание как пассивное подражание? Вот тебе образец — будь таким. Воспитание нельзя сводить ни к обучению, ни к внушению, граничащему с гипнозом. Христианство две тысячи лет, не меняя основ жизни, всеми средствами вдавливало в душу человека идеал блаженного и смиренного страстолюбца, оно применяло при этом и метод кнута и метод пряника, и земной огонь, и небесное царство божие, и царскую власть, и искусство, а идеал оказался мертвым — человечество не пошло за ним, а избрало себе другую цель — изменить жизнь человеческую и, в соответствии с этим, перестроить человеческую душу.

Так получается и с отдельным человеком: живет-то, в конце концов, он; развивается, в конце концов, тоже он сам: выбирает, из бесчисленного ряда внешних влияний то, что ему нужно, то, что соответствует его природе, характеру, каким-то далеко не выявленным биологическим основам его личности, его предшествующему жизненному и общественному опыту: выбирает и делает из этого свои выводы.

Во избежание кривотолков скажу, что это вовсе не означает какой-то изоляции, отрыва личности от общественных влияний. Наоборот, положение Маркса, что человек есть продукт общественных отношений, навсегда останется краеугольным камнем в этом вопросе, но это никак не означает отрицания того, что каждый человек — это человек, личность, живущая и по закону общества, и по закону своим, внутренним, далеко не во всем еще исследованным.



Утро

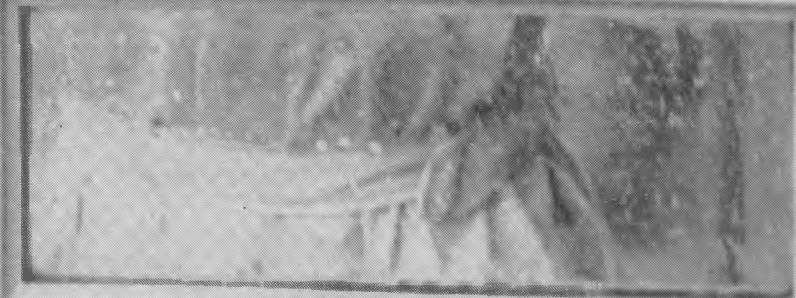
МОЛОДОСТЬ

Фото Б. Бояринского



День

Вечер





А. Куприн среди своих друзей — итальянских артистов

(Рассказ об этой неизвестной фотографии читайте на 216 стр.)

Итак, я не только не отрицаю, но и не имею ни малейшего намерения снижать роль положительного примера и положительного влияния. Это — самоочевидно. Но разве критика, которой Н. С. Хрущев на декабрьском пленум ЦК 1959 года подверг отрицательный опыт работы Казахстана, не имела громадного воспитательного значения для всех нас и каждого? Разве критика многих других явлений или ошибок людей, заключающаяся в выступлениях нашего главы правительства, не имеет такого значения? Отрицать это — значит отрицать самоочевидное.

Дело ведь не в самом факте отрицательного примера, дело в том, как осмыслить его, дело в позиции писателя и в его эстетическом вкусе и такте. Ведь нельзя отрицать, — и положительный пример можно испортить, превратить его в такую сусальность, что он начнет играть совсем другую, обратную роль. Нельзя отрицать и того, что даже простое злоупотребление ссылками на положительные примеры способно в значительной степени подорвать в глазах молодежи их воспитательное влияние.

Одним словом, воспитание — очень сложный процесс, осуществляемый целой системой воздействий — внешних и внутренних — и экономических, бытовых, общественных, и идейных, эмоциональных, психологических. Тяга к положительному и отталкивание от отрицательного могут быть одинаково важными сторонами этого процесса. В одном случае достаточно хорошего примера, призыва, похвалы, доброго, подбадривающего слова, в другом случае нужен упрек, попрек, может быть, окрик и принуждение, в третьем — рассудительный разговор и вдумчивый анализ жизни. И именно так многосторонне должна действовать литература.

Отрицание этого насилует и искажает самую природу писателя, ведет к штампу, вульгаризаторству и приспособленчеству. Литература может и должна «делать» людей, исследуя все пути формирования характеров, которые так же сложны и многообразны, как сами люди.

В разрешении всех этих вопросов и заключалась моя работа над «Честью».

Но вот работа кончена, повесть напечатана, и с ней произошло то же, что когда-то с «Повестью о юности»: шел как будто бы против течения, а попал в течение, в самую его стремнину, и даже

в чем-то уже отстал от него. Многие вопросы, над которыми я так мучительно думал когда-то — можно ли? — оказались снятыми жизнью.

Да, можно и нужно! Нужно было говорить о большем: о недостатках в деятельности судов, о порой чрезмерном административном восторге милиции, о постановке дела в местах заключения. Глубже нужно говорить и о причинах преступности в нашей стране, нужно изучить этот вопрос. Ведь никакие прежние исследования и понятия сюда не подходят.

Приведу аналогию: может ли быть в нашем обществе перепроизводство? Да, может. Можно наделать бессчетное количество каких-нибудь ведер, кастрюль или никому не нужных маек сорок четвертого размера и недоделать тех же маек ходового пятидесятого размера, и на первый взгляд получится — да, перепроизводство! Но разве природа этого перепроизводства будет та же, что в старом обществе, обществе хаоса и анархии? Там — отрицание плана, здесь — неумение построить план, там — закономерность, здесь — ошибка, нарушение, искажение правильных, но не утвердившихся еще закономерностей.

Преступление вовсе не порождается у нас самими законами жизни, как это было в царской России. Там было одно: голод, холод, есть нечего — закономерность! У нас все другое, другие закономерности, другие принципы жизни, и преступление вырастает у нас как раз из нарушения этих закономерностей: из недостатков, ошибок, равнодушия, бездушия и разной неустроенности — семейной, бытовой, а иногда и общественной. Все это нужно изучить и исследовать. Ведь ничего нельзя делать вслепую, и если мы всерьез ставим задачу искоренения преступности — а мы не можем не ставить этой задачи всерьез! — то мы так же всерьез должны заняться и изучением этих вопросов.

Обо всем этом пишут мне теперь читатели. Об этом же говорит и сама жизнь. Значит, верно, значит, нужно идти дальше и глубже, ибо для писателя — помощника партии не может быть белых пятен. Нужно только суметь разобраться во всем и все как следует, по-партийному, осмыслить.

Читатели о повести

Григория Медынского «Честь»

Начиная печатать в апрельской книжке журнала за прошлый год новую повесть Григория Медынского «Честь», редакция «Москвы» пригласила читателей высказаться о затронутых в повести проблемах. Теперь, когда повесть опубликована (1 часть — в № 4 и 5; 2 часть — в № 10 и 11 журнала за 1959 год), когда ее прочли многие и многие, когда прошел не один десяток читательских конференций, на которых она заинтересованно и внимательно обсуждалась, стало ясно, что специальное приглашение было, пожалуй, излишним. Произведение Г. Медынского вызвало громадный поток читательских откликов. Они свидетельствуют о бесспорной актуальности повести, о верной авторской позиции, определившей в целом правильную, своевременную и острую постановку волнующих проблем коммунистического воспитания молодежи. Повесть задела читателей за живое, определила искреннее желание поделиться своими личными наблюдениями и мыслями, взволновала и заставила еще раз задуматься над жизнью. Может ли быть большая награда литератору, чем этот поток писем, отражающий мысли и чувства нашего современника!

Чтобы дать хотя бы некоторое представление о характере откликов, полученных редакцией в связи с опубликованием повести Г. Медынского, печатаем некоторые из них. Редакция журнала «Москва» приносит глубокую благодарность всем читателям, приславшим свои письма о повести Григория Медынского «Честь».

* * *

Прошу извинить меня за беспокойство. Я никогда бы не написал, если бы не прочел случайно в журнале «Москва» повесть Григория Медынского «Честь», которая меня очень взволновала.

Разве можно смириться с тем, что какие-то подлецы мешают спокойно жить, трудиться и отдыхать! С ними нужно вести борьбу, борьбу за человека социалистического общества.

Надо вмешиваться в судьбу человека еще тогда, когда он только начал сбиваться с правильного пути, когда ему еще могут протянуть руку товарищи,

друзья, родители. Но особенно велика в воспитании молодежи роль комсомола, товарищеских судов. Разве нельзя справиться с нарушителями порядка без прокуратуры, милиции, суда? Мне кажется, можно! Надо только вести борьбу не одиночками, а всем вместе.

Не все еще понимают, что разлад семьи часто ведет к плохим последствиям для детей. Возможно, не случилось бы такое с Антоном, если бы его мать им интересовалась.

И еще я хочу сказать: надо верить человеку. Я в детстве дружил с одним парнем, за которым ползла дурная слава

вора. Однажды мы с ним продали платье моей сестренки, а деньги растратили. Потом Витька заставил меня украсть дома одеяло. От родителей я за то, что с ним встречался, получал взбучку, за это я их невзлюбил и назло им ходил с Витькой. Как-то он украл у нас дома часы. Встретив его на улице, я поссорился с ним, а он пригрозил, что расскажет про платье и одеяло. Вскоре Витька куда-то уехал, и я больше его не видел, но дурная слава укрепилась и за мной. Я заперся весь в себе, ни с кем не стал дружить, — да и кто стал бы дружить с вором! А на меня все смотрели, как на вора. Даже мать в пылу гнева, когда я ее расстраивал, называла меня вором и жуликом.

Не встретить я одного человека на речке, я тоже, возможно, пошел бы по дороге Антона. Был он лет тридцати, звали его Сергеем, он приехал отдыхать из Татарии, к родственникам. Мне было с ним хорошо, и я рассказал ему свою биографию и почему я такой всегда угрюмый. Сергей посоветовал мне ехать учиться в техническую школу. Я послушался и уехал от родителей. Попал в здоровый, дружный коллектив, с которым можно было горы свернуть...

Но вот у одного товарища пропали часы. Со мной учился мой земляк с одной улицы. И стали подозревать меня. Не знаю, что бы со мной было, если бы не наш руководитель, которому я все высказал. Через некоторое время все как будто забыли про кражу, стали ко мне хорошо относиться. А потом часы нашлись. Там я подружился с одной девушкой, Линой. Но я не мог забыть свою былую славу вора, не мог поэтому с ней встречаться. Но эта девушка была не такая, чтобы сразу опустить руки и не узнать, почему я бросил с ней дружить. И мы снова стали встречаться. На прощанье, когда я уезжал, она сказала: «Я знаю, что ты будешь честно жить и трудиться»...

Так я был спасен от преступности, от которой меня отделил всего один шаг. Меня взрастили родители, а воспитали люди, коллектив.

Ю. Паничкин

* * *

Повесть автору в целом безусловно удалась. Написана она смело, убедительно и правдиво. Раздумывая о причинах преступности среди молодежи, я хочу подчеркнуть, что не только отрицательные качества родных уродуют ребенка. Излишняя забота, доброта, сюсюкающая любовь также калечат сознание детей, формируют черты эгоизма и безответственности. Не только ошибочно, но и вредно требование некоторых родителей, чтобы их избалованных, испорченных детей исправляла школа и молодежные органи-

зации. Родные должны нести полную меру ответственности за воспитание.

Когда в поле появляется сорняк, его вырывают с корнем. Необходимо главную борьбу вести с корнями, питающими все аморальное и преступное.

И. Маликов,
пенсионер

г. Николаев

* * *

За 10 лет пребывания в местах заключения я убедился, что у каждого, даже закоренелого, преступника есть своя сокровенная цель. У одних эта цель бессмысленная и вредная, результат невежества и озлобления на всех и вся. В большинстве своем это опасные, но трусливые звери; однако чаще всего, сблизившись с ними, все же удается доказать им, что «король голый». Передо мной фотография здоровогоного парня с баяном, — это «Барон», король воров. Теперь «Барон» «отошел», навсегда покочил с позорным прошлым. Работает, имеет семью и живет, не прячась по крысиным норам, встреча с милиционером его уже не беспокоит. На обороте фотографии, предназначенной мне, надпись: «Учителю от ученика. Желаю и тебе большой дороги». А лет пять назад он бы показал мне дорогу!..

В результате воспитательной работы, собственных наблюдений, критического анализа своего преступного прошлого, сопоставления своей жизни с жизнью миллионов трудовых людей преступник может увидеть и понять быстрый рост нашей страны и невольно ощутить свою мизерность перед миллионами «остальных» людей. Хоть и говорят, что за битого двух небитых дают, но потерянного времени не вернуть, и хочется волком выть, видя, как жизнь неумолимо шагает вперед, оставляя тебя за бортом... Хочется крикнуть на весь мир: «Люди, я с вами!» А люди прекрасно обходятся и без тебя, создавая мир и счастье на земле, создавая нового человека, способного стать полноправным членом нового, коммунистического общества...

На моей памяти сотни случаев, когда люди в силу сложных и трудных обстоятельств попадали в различные ловушки, становясь преступниками против своей воли и желания. Они боролись здесь за право быть человеком, спотыкались, падали и снова вставали. Многие в местах заключения даже кончили десятилетку и приобретали ценные специальности — ведь здесь есть и общеобразовательные и технические школы, курсы трактористов, шоферов, киномехаников и др.

И так — не только с теми, кто попал сюда случайно. Многие и из числа «голых королей» приобрели себе специальность на будущее, добросовестно работают и испытывают радость труда. С большим

восторгом были встречены статьи, призывающие помогать бывшим заключенным встать на ноги. Речь Н. С. Хрущева, где он говорил об этом, многие вырезали и хранят как важный документ. На подлинной вере в человека основано замечательное постановление партии и правительства об условно-досрочном освобождении из мест заключения лиц, положительно показавших себя в труде и в быту. Скоро и я буду на свободе! Сейчас у нас столько дающих отличные результаты перемен и нововведений, направленных на воспитание и восстановление человека силами своего коллектива, что просто душа радуется! Воров «в законе» нет и в помине, сама обстановка заставила большинство из них отказаться от сумасбродных идей, единицы сопротивляющихся содержатся в других, более строгих местах.

Влияние литературы на тему преступности должно распространяться в значительной степени и на людей, отбывающих наказания за разного рода преступления. А это не так-то просто. Рассказы и повести о жизни и судьбах преступников здесь всегда читаются с огромным интересом. Незнание жизни и быта никогда автору не прощается; неудачное произведение характеризуется одним словом: «вранье». Г. Мединскому нечего бояться такой характеристики. О его повести отзываются хорошо; пожелание автору странное, но, пожалуй, верное: побыть в нашей среде хотя бы полгода, но не в качестве писателя, а под видом заключенного, тогда новая книга совершила бы чудеса в зачерствевших душах многих из нашего брата.

Гр. Будкин

* * *

Мне сейчас 18 лет, я еще мало жил, мало знаю. Но я решил вам написать, потому что повесть глубоко взволновала меня, как, думаю, и очень многих ребят моего возраста.

Я был во многом схож с Антоном: и учился так себе и вел себя плохо. Рано потерял отца. Мама не баловала меня, но я всегда был сыт, обут, одет — в общем, жил, забот и горя не зная. В школе был я заводилой всех проказ, какие мы с ребятами вытворяли. Меня выгоняли с уроков, исключали... Словом, потрепад я нервов учителям, а особенно маме. Но вот однажды, когда я учился в 7 классе, было у нас собрание, чтобы перевести меня в соседний класс. Тут меня и задело, я не смог сдержать слез... А ребята, которым я больше всего мешал учиться, девочки, которых я особенно обижал, — они за меня поручились. И я остался в своем классе.

Самая большая радость была у меня в ноябре 1957 года, когда меня приняли в комсомол. Теперь, окончив школу, работаю токарем, уже второй год меня вы-

бирают секретарем комсомольской организации цеха, недавно вступил в народную дружину. Со школьными товарищами дружба у нас день ото дня становится все крепче, и думаю, что мы останемся друзьями на всю жизнь.

Я уверен: выйдя из заключения, Антон станет настоящим человеком. Марина протянет ему руку дружбы, поможет ему во всем. И Антон во весь голос скажет: спасибо!

Вл. Иванов

г. Белгород

* * *

В моей жизни было много схожего с Антоном Шелестовым. Все мне казалось легким и простым. Я часто удирал из дома, искал «свободы», «самостоятельности». Однажды, проголодавшись в странствиях, я потянулся рукой за сыром, который лежал на прилавке. К счастью, — нет, к несчастью, продавщица ничего не заметила. За первой «удачей» последовала другая, и я, сам не замечая этого, стал вором. Затем столкнулся с преступным миром, где, не трудясь, живут за счет других...

Нас поймали на краже, мы сняли часы и одежду у пьяного. Тут-то, сидя в тюрьме под следствием, я понял, к чему меня привела моя «самостоятельность»...

Но комсомольская организация школы, где я учился в 10 классе, товарищи взяли меня на поруки. Меня освободили. Только благодаря помощи коллектива я смог восстановить свою честь и стать человеком. Сейчас я служу в военно-морском флоте, уже давно разъехались в разные стороны мои товарищи, но я никогда не забуду, как они были внимательны ко мне, помогали мне догнать непройденный материал, никогда не напоминали о прошлом...

Я считаю, что Антона все же неправильно наказали. Его нужно было отдать на поруки коллективу, чтоб коллектив воспитал его. Главное — нужно воспитать человека, а бросить его на произвол судьбы легче всего. Главное — верно направить юношу или девушку на жизненный путь, чтобы они знали, во имя чего живут и трудятся. Только в борьбе крепнет и мужает характер человека.

Думаю, что повесть Г. Мединского окажет большое влияние на молодежь и родителей, чтобы каждый отец и мать знали, как воспитывать своего ребенка.

*В. Сергеев,
матрос*

* * *

Можно с уверенностью сказать, что тема, поднятая в повести, очень важна. Ведь преступность — общественное зло, и с нею надо бороться всем обществом.

В повести цепко схвачены душевные переживания Антона, его борьба с совестью, когда он стал на путь преступно-

сти. Нечто подобное испытывал и я в детстве, когда ребята затевали налеты на сады. К счастью, дальше дело не пошло, и я очень благодарен маме и родителям-коммунистам, которые сумели воспитать меня честным человеком.

Произошло, однако, так, что я попал в «преступники»: летом как комсорг поехал во главе группы комсомольцев в целинный подшефный колхоз; машина, которую я вел в последний день командировки, опрокинулась... Словом, вопреки мнению общественности, я в 1958 году был осужден сроком на 5 лет.

Когда я выйду на свободу, полностью посвящу свою жизнь проблемам преступности и ее предотвращения. Моя мечта — окончить юридический институт. И приложу все силы, чтобы она сбылась.

А. Жигалов

* * *

Мне раньше никогда не приходилось писать в редакции, но тема, которую затронул на страницах вашего журнала писатель Г. Медынский, невольно заставила поделиться своими впечатлениями. Думаю, к проблеме воспитания нового человека никто не может остаться равнодушным.

В борьбе за построение нового и прекрасного еще встречается на нашем пути старое, отжившее свой век, но упорно мешающее нашему движению вперед. Основная масса советской молодежи — это прекрасное поколение строителей коммунизма, достойные продолжатели дела своих отцов. Но есть и такие, кто сбился с пути.

Как могло получиться, что Антон попал на скамью подсудимых? Я считаю, что основная тяжесть вины лежит, конечно, на нем самом. Но не менее тяжкая ответственность лежит на родителях и на школьном коллективе. Случается, родители ограждают детей от трудностей повседневной жизни, лишают их инициативы и веры в собственные силы, не прививают любви к труду, не видят интересов сына или дочери, проходят мимо отдельных проступков, например, прощают мелкий обман (хотя ложь вообще нельзя делить на «мелкую» и «большую», ибо ложь есть ложь), своевременно не прислушиваются к голосу учителей, соседей. Все это «малое» подчас ведет в дальнейшем к нехорошим последствиям. Мне кажется, что и школьный коллектив, в котором учился Антон, не использовал полностью свои силы в борьбе за его судьбу. Сейчас, в связи с реорганизацией системы народного образования и политехнизацией школ, создаются для нашей молодежи более благоприятные условия для подготовки к самостоятельной трудовой жизни. И еще: повесть показывает, что охрана общественного порядка — дело не

только милиции и суда, но прежде всего дело чести всех граждан.

По-моему, мало инициативы по отношению к судьбе Антона проявила Марина. Она могла сделать значительно больше, тем более что Антон ей нравился. Мне вспоминается такой случай. Был у нас в школе Игорь Д., похожий на Антона. Все ему сходило с рук, и с каждым днем он катился все ниже. В дальнейшем судьба разлучила нас, т. к. я перешел в другую школу. И только недавно, уже в армии, мы случайно встретились. В ответ на мои вопросы он сказал:

— Не знаю, что бы со мной стало, если бы не Нина!..

Я попросил рассказать подробнее.

— Ну, ты же меня знаешь, — ответил он. — Плохо учился, никого не признавал, ходил по вечерам с «друзьями», выпивал, бывал в милиции... Но однажды в парке Горького на танцах подошел я к одной девушке, взял за руку и хотел танцевать, а она не пошла. Тогда я сказал ей гадость и получил пощечину... С этого и началось. Мне почему-то впервые стало стыдно. Наверно потому, что она мне понравилась, а я ее обидел... Целый вечер я ходил за ней, но она не обращала на меня внимания. Потом все же я извинился и попросил выслушать меня. Мы много и долго говорили обо всем... Так я с ней познакомился. Мы стали часто встречаться. Дела мои пошли лучше: окончил семилетку, поступил в техникум!.. Сейчас с ней переписываюсь...

Меня поразила даже не столько эта история, сколько то, что я увидел собственными глазами. Игорь достал записную книжку, чтобы показать мне фотографию Нины, и я невольно обратил внимание на листок блокнота, в котором почерком Игоря была откуда-то выписана цитата: «Прекрасно то, в чем проявляется созидательный творческий гений человека». Я крепко пожал ему руку. Он не понял и спросил, показав на фотографию:

— Понравилась?

— Да! — ответил я.

**О. Ларичкин,
рядовой**

* * *

Каждый, прочитавший эту повесть, невольно вспомнит свою юность, родных и близких людей... Когда я окончил 7 классов, решил закончить со школой, горел желанием как можно раньше начать самостоятельную жизнь. Но в мою жизнь вмешался коллектив школы. И лишь благодаря чуткому, внимательному отношению я окончил 10 классов. Сколько живет в нашем обществе хороших, отзывчивых людей, которые помогают свихнувшимся с пути встать в строй!

Н. Левин

* * *

Что меня заставило написать письмо? До этого — прочитаешь книгу, подумаешь немного, сдашь в библиотеку и... забудешь. А тут захотелось откликнуться на призыв редакции и вкратце рассказать о себе, коротко продолжить повесть. Первая часть мало чем отличается от моей жизни. Правда, у меня не было отца, Антон ушел из 9 класса, а я из 10, есть и другие расхождения, но все это мелочи.

...Получил срок. Трудно было. Это понятно. Думалось много. Тоже понятно. Срок большой, возраст переломный. Я был, пожалуй, самый молодой среди всех. Окружающие — самые различные. Попадешь под влияние такого вот «Крысы», и лет через 5, если позволит срок, станешь «шакалом». Попадешь под влияние какого-нибудь «идеолога» — будешь просто подлецом. Сумеешь выстоять, сумеешь взять себя в руки, поймешь, что свобода — это то, за что деды и отцы гибли, поймешь, чего лишился добровольно, вот тогда из тебя выйдет человек. Если будешь думать, что теперь, мол, не сяду по пустякам, — тогда считай, что пропал. Если будешь думать, что лучше солону есть честно заработанную, чем попасть в заключение, — тогда и человек получится из тебя...

Три с половиной года ушло. Вычеркнул их из жизни. Амнистия сократила срок пополам. Зачеты придвинули день освобождения. Приехал домой. Поступил работать слесарем по монтажу. Вечерами кончал десятый класс. Вот когда я и понял до конца, как хороша свобода, как много кругом замечательных людей, честных, добрых, горящих желанием помочь тебе встать на истинный путь. Работал от души, учился, не пропускал ни одного урока, было трудно, но радостно. Именно радостно. Кончил десятилетку. На производстве посоветовали учиться дальше. Поступил в институт. Учусь на 4 курсе.

Вот коротко и все.

Хочется думать, у Антона все кончилось благополучно, он нашел свое место в жизни, понял, что хорошо, что плохо.

Л. Филиппов

г. Йошкар-Ола

* * *

В повести я увидела подтверждение своих давнишних мыслей, что плохое супружество может отрицательно повлиять на воспитание детей. Об этом должны подумать не только родители, но и будущие папы и мамы, и хорошенько подумывать, как нужно создавать крепкую и дружную семью.

А почему Елагин сделался преступником? Ведь мать его была честная труженица и примера в доме не было пло-

хого. Она не сумела привить ему хорошие качества, любовь к труду, а самое главное — он был без присмотра, матери некогда было основательно заняться воспитанием сына. Вот и правильно правительство решило создать школы-интернаты. Дети будут в них под присмотром воспитателей. Но только таких, которые любят свое дело, сознательных!

Нужно, чтобы в педагогические институты принимались только любящие свое дело. Потому что, если бы учительница математики и директор обратили должное внимание на Антона, школа могла бы благотворно повлиять на него.

А вот Витька-Крыса — это ответный преступник, и наши судебные органы либеральничают уж с такими слишком. Если б одного-другого наказали бы крепко, так и другие присмирели бы и вынуждены были бы пойти честным путем.

А. Попикова

г. Кировоград

* * *

«Честь» я читал на пароходе. Журнал переходил из рук в руки: всех затронула эта насущная тема. В один из вечеров мы собрались в салоне, и как-то сам собой зашел разговор о повести. Капитан рассказал между прочим, что общественность Западного порта Москвы очень хорошо поставила воспитательную работу с детьми. Приехав в Москву, я побывал в Филях и сам убедился в этом.

Еще не так давно в поселке портовиков было немало хулиганских проступков. Дело дошло до того, что девятиклассник Юрий Антонов в драке нанес товарищу тяжелое ранение стамеской. Этот случай научил многому. В поселке проживает несколько сот школьников, а вблизи нет ни Дворца пионеров, ни клуба. Чем же ребятам заниматься по вечерам?

Комиссия содействия вместе с начальником жилищного отдела К. А. Константиновой решила открыть детскую комнату. На общем собрании жильцов многие родители взялись руководить кружками. Ребята организуют в портовом клубе выставки своих изделий. В детской комнате регулярно выпускается стенгазета; открыта здесь и детская библиотека. А сколько труда вкладывают школьники в благоустройство поселка!

Что касается Юры, то и здесь не обошлось без вмешательства общественности. Сам он осознал, что совершил тяжкое преступление, и комиссия решила взять его на поруки. Немало пришлось похлопотать, но удалось добиться условного приговора суда. Юношу определили работать в порту, он поступил учиться в вечернюю школу. На производстве и в учении он многим теперь показывает

пример дисциплинированности и трудолюбия.

Большие у комиссии планы на будущее. В Западном порту заканчивается строительство новых двух домов. В одном из них намечают открыть детский клуб. Растет и крепнет замечательная дружба взрослых с детьми...

В. Голоскер,
подполковник запаса

Москва

* * *

Так жаль тех ребят, которые, не зная жизни, попадают в лапы негодяев!.. Вопросы, которые поднимает Г. Медынский в своей повести, имеют огромное значение для воспитания не только молодежи, но и взрослых — всех тех, кто призван участвовать в росте нашей молодежи. Редакция журнала «Москва» была совершенно права, когда писала в своем обращении к читателям: «...Вряд ли под силу одному писателю решить этот самый сложный вопрос». Но важно, что Г. Медынский заставляет думать о воспитании, о взаимоотношениях родителей и детей, о быте, о чуткости советского педагога, о роли милиции и суда в борьбе против вредного влияния на нашу молодежь и т. д. Автор удачно вводит в повесть Шанского, который честно, глубоко душевно, как и подобает советскому писателю, пытается разобраться в причинах, приведших Шелестова и некоторых других ребят к преступлению.

В природе нашего государства нет социально-экономических условий, толкающих на преступления. Наш народ, наша молодежь обладают крепкими, устойчивыми качествами советской морали, у нас созданы все условия для материального благополучия, учения, творческой работы. И когда узнаешь об отдельных еще не изжитых уродливых явлениях, задумываешься: почему же это происходит? Не способствует ли их сохранению недостаточная профилактика и недостаточная настойчивость, методич-

ность в борьбе с вредными влияниями на молодежь?

В повести Г. Медынского все — и капитан милиции Панченко, и учительница Прасковья Петровна, и мать Шелестова, — борясь за Антона, действовали каждый своим путем, не сумели объединить свои усилия. Каждый в отдельности и все вместе остановились на полпути...

Перестройка школы безусловно приведет к заметному улучшению коммунистического воспитания. Но не надо забывать, что значительное время ребята проводят вне школы. Партийные и общественные организации жилищных контор должны по-настоящему взяться за воспитание детей и юношества. Красные уголки жилищных контор должны быть открыты ежедневно, не только по вечерам, но и днем. И работа там должна быть поставлена интересно, увлекательно, чтобы тянуло туда ребят. Домовым общественным организациям нужно знать каждого школьника, их родителей, бытовые условия, иметь тесную постоянную связь со школами. Необходимо интересоваться и родителями, вплоть до постановки вопроса о лишении родительских прав. Может быть, тогда и Виктор Бузунов не превратился бы в «Крысу»...

Люди для такой работы найдутся. Только на одном участке жилконторы № 2 Ждановского района Ленинграда проживает около 300 пенсионеров. Они то и должны взяться за организацию внешкольного досуга.

Важно, чтобы мероприятия, дополняющие работу школы и комсомола, проводились с душой, вдумчиво, как Г. Медынский написал свою повесть.

Особенность нашего, советского общества состоит в том, что даже если человек сбился с пути, оно продолжает бороться за возвращение его в жизнь. Но легче не допустить до преступления, чем исправлять преступника!

Со своей стороны я обязуюсь всячески улучшить работу красного уголка и библиотеки жилконторы № 2 Ждановского района, где я работаю по поручению нашей партийной организации.

Л. Чернов,
пенсионер

Ленинград

В. Перцов

О ТАЛАНТЕ И ЧУВСТВЕ ИСТОРИИ

Бывают воспоминания неизгладимые, которые повторяются, возвращаются, как припев к песне. Одним из таких я хочу поделиться, потому что для меня оно было как бы аккомпанементом к прошедшей не так давно большой встрече писателей на дискуссии «Писатель и время».

В доме на Малой Никитской, 6, где жил А. М. Горький, собрались однажды весной 1934 года советские литераторы, привлеченные задачей, поставленной перед ними Горьким: создать цикл произведений о современности «Люди двух пятилеток». Нельзя забыть чудесного ощущения, источником которого был Алексей Максимович, — страстного желания стать в строй разведчиков истории, дать себе клятву не щадить себя в работе под девизом: «Основным героем наших книг мы должны избрать труд... Мы должны научиться понимать труд как творчество...»

Я помню, Алексей Максимович говорил в тот день о письмах, которые он получает от людей нашей страны. Он просто вслух высказывал то, что занимало его глубоко и что он, по-видимому, повторял каждому новому человеку, встречавшемуся с ним. В особенности нельзя забыть выражения восхищения в его глухом голосе, когда он рассказывал о человеке, который предлагал использовать энергию вращения Земли: если она вертится, зачем она вертится зря, нельзя ли ее заставить вертеть что-нибудь на пользу социализма!

Понятно, что это припомнилось в наши дни, когда советский человек все более дерзновенно и деловито прорывается в космос... и когда все более неот-

ступно встает перед художником задача найти ключ к образу человека, к душе человека, которому по плечу это и еще многое такое, перед чем старый мир с его воображением частного собственника стоит, «поджавши хвост».

Горьковская тема охватывает не только завод, но и все общество, не только отношение к своему делу, но и отношение к людям, не только неутолимую потребность в труде, но и потребность в личном счастье. Одним словом, это тема целостного человека, который не может жить без коммунизма, — «потому что нет мне без него любви», как сказал поэт.

Вновь и по-новому мы ставим вопрос о мастерстве, о критерии художественности, который основан на «двуединой сущности искусства: неразрывности идейности и формы ее выражения». Для опыта нашего искусства, о котором говорил Леонид Соболев на дискуссии, эта мысль очень важна. Талант, конечно, подразумевается как нечто такое, без чего в храм искусства «вход воспрещен». Но что такое талант, может ли быть право «частной собственности» на талант? Ведь нельзя забывать, что тот, кто переступил однажды и на законном основании порог храма искусства, тот вошел, по существу, в мастерскую истории. Талант милостью божией — говорили в старину, и мы не станем спорить с таким сказочным определением стихийности таланта. Все дело, однако, в том, что талант — стихия не только биологическая, но и социальная, талант не каприз биографии художника, не «дар случайный», а поручение истории. Художник — доверенное лицо народа, носитель националь-

ной культуры. Талант формируется историей, участвуя в творчестве истории. Вне истории талант гложет или перерождается в чудачество. История — это его воздух, необходимость и свобода.

Нужно бережно и любовно работать с каждым талантом, помня, что бессмертные произведения создаются ведь не только гениями. Иные поэты, например, остаются в литературе и в благодарной памяти потомства какой-нибудь сотней — другой строк. И это еще много! Сочувственно волнуясь, мы повторяем «Из искры возгорится пламя» Александра Одоевского или «Портретов Ленина не видно» Николая Полегаева. Подлинно поэтическое произведение обладает запасом прочности. Рожденное потребностями жизни, с точным адресом в современности, оно находит своих читателей и во многих поколениях. Понятно, что мы окружаем особым вниманием каждого автора, стремящегося дать ответ на неотложные вопросы жизни. Мы горячо встречаем даже частичную художественную удачу на этом пути, потому что это путь в будущее, которого не могут или не хотят разглядеть снобы. Но мы не такие простаки, чтобы не понимать разницу между тем, что радует нас как обещание, как веха на нехоженом пути, и художественным совершенством бессмертного творения. Мы меряем «по коммуне стихов сорта», и именно поэтому мы не можем терпеть серости и посредственности. Нужно делать все, чтобы талант рос, прошибал свой «потолок», чтобы в произведении была перспектива эпохи.

Чувство перспективы привлекает меня в «Аленке» Сергея Антонова. Это чувство исторической перспективы сообщает всей повести С. Антонова и многим ее героям некое динамическое начало, и вовсе не потому, что в ней действие происходит на грузовике, перебрасывающем группу людей из целинного совхоза до железнодорожной станции по безводной казахстанской степи. Повесть С. Антонова встретила дружную похвалу в критике, несмотря на те или иные претензии к автору. В числе последних почти всегда было соболезнующее указание на то, что он взял себе за образец знаменитую чеховскую «Степь», тоже представляющую, как помнит читатель, «историю одной поездки»; что в повести С. Антонова, как и у Чехова, в центре переживания ребенка; что, наконец, — и тут уж никуда не денешься! — в обоих произведениях — «степь да степь кругом...» Известно, что последнее обстоятельство в свое время смущало самого Чехова по отношению к Гоголю: «Я знаю, Гоголь на том свете на меня рассердится, — писал Чехов Д. В. Григоровичу. — В нашей литературе он степной царь. Я залез в его владения с добрыми намерениями, но наерундил немало...» И молодой советский писатель ныне «залез» во «владения» Чехова, но едва ли по-

следний на «том свете» станет на него сердиться за это. И, может быть, заметив какие-то отдельные знакомые черты в постановке художественной задачи, автор «Степи» удивился бы тому, как решительно изменился «этот свет» и его обитатели, как отличается от Егорюшки его ровесница, девятилетняя Аленка.

Конечно, читатель, знающий чеховский шедевр, не может не почувствовать в «Аленке» доброй традиции, но, сказавши себе об этом, он тут же об этом забудет, потому что его увлекут живые люди с их неповторимыми судьбами, едущие по своим, понятным и близким каждому из нас делам, степью, с ее вечной и современной красотой, в безмерных владениях которой не потерялся и советский художник со своим глазом и слухом. Новое содержание властно отменяет литературные «прецеденты», перебивает традиционное в повествовании новой, современной интонацией. Во всяком случае Сергей Антонов ищет решения художественной задачи на этом пути и добивается известного успеха.

Интерес к повествованию разгорается по мере того, как люди начинают доверительно рассказывать о себе, что бывает только с самыми близкими людьми или же со случайными попутчиками. Они не составляют коллектива — разные обстоятельства свели их в кузове грузовика, — но с тем большей силой выступает их принадлежность к тому великому историческому коллективу, для которого героический труд стал всем в жизни, стал самой жизнью, «потому что нет мне без него любви». Каждый из тех, с кем мы знакомимся в новой повести С. Антонова, этим пронизан, хотя мы их видим в невольном бездействии путешествия, а не на работе. Решительно во всем видна, а еще больше чувствуется в повести С. Антонова та высокая трудовая озабоченность общим, которая окрашивает речь персонажей.

Стоит только тихой Эльзе Калнынь открыть рот и заговорить, как в этой книжно правильной русской речи раскрывается чистая комсомольская душа, не устающая себя воспитывать: «Идти было весьма тяжело, но я сказала себе: «Подумай, Эльза, что сделал бы на твоём месте Павка Корчагин!» Василиса Петровна — коренная волжанка — по-былинному ведёт свой трагический рассказ о гибели дочки с трогательными традиционными присловиями, и тем выразительнее в ее простодушии предстает современная героиня.

За каждым поступком, за каждой деталью отношений в пути, за каждым словом, самым пустяковым, как будто случайно оброненным людьми в этой далекой целинной степи, стоит неповторимое наше время. И нельзя не почувствовать уверенной перспективы в том, как автор связал образ Большой Истории с милым детским образом Аленки-наследницы.

И рядом — повесть В. Тендрякова с

таким заманивающим названием «Тройка, семерка, туз». Где и когда это происходит? В необжитом диком краю, где полноводная река, у порогов которой разместился крохотный поселок сплавщиков леса. Отрывистые «порожистые» фразы, чем-то напоминающие Всеволода Иванова 20-х годов с его картинами партизанского края. Размашистыми, точными мазками обрисована у Тендрякова глушь и дичь страшная, где в жестокой борьбе с неумолимой природой живут три десятка советских людей. Врезаются в память скупое и резко вылепленные образы-лики отчаянных умельцев, безупречных мастеров сплава у порогов грозной реки, артистов своего труда, но в то же время людей дремучих, как тот лес, который их окружает, уберегшихся как-то на своем крошечном островке от океанского шторма идей и событий, которыми вот уже скоро полвека живет наша страна. Едва ли не единственная примета времени в этой картине — «гитара, которая висела в красном уголке, — ее купили потому, что на культурно-массовое обслуживание были отпущены деньги...»

Здесь нет иронии. В этой повести об «островитянах» вообще нет иронии, здесь все слишком серьезно и даже пугающе. Если автор «Аленки» берет своих героев в перспективе развития нового общества и умеет показать в них то лучшее, что связывает их с будущим, то своих «островитян» В. Тендряков рисует как людей, хорошо исполняющих свою работу — и только. Во всем остальном они отделены от традиции нашего общества в силу случайностей или обстоятельств личной судьбы, помноженных на условия географические. Неудивительно, что в этой среде выживают типы, вроде Егора Петухова, обезумевшего от жадности и накопительства.

Если автор повести хочет сказать: не увлекайтесь, не обольщайтесь раньше времени, пережитки прошлого уродуют души сограждан, живущих на нашей земле, будьте бдительны! — то его тревогу можно понять. Есть ли такие «островитяне» в нашем обществе, идущем к коммунизму? Да, есть, и, к сожалению, еще в достаточном количестве. Для того, чтобы их обнаружить, нет необходимости создавать им исключительные условия и разыскивать в местах столь географически удаленных. Все это гораздо ближе и гораздо сложнее в действительной жизни. Дело, однако, в том, что реальные противоречия в людях можно понять только как противоречия исторические. Если художник столь симпатичного таланта, как В. Тендряков, хочет вести борьбу с пережитками прошлого своими художественными средствами, то едва ли он может позволить себе упрощать явление, которое хочет беспощадно осудить. Нельзя не испытать огорчения, когда к ярким краскам картины, нарисованной В. Тендряковым, примешивается фальшь, изображение блекнет, «обездушивается»

на ваших глазах, превращается в надуманную схему.

«Удар ножа... Древняя, как сама жизнь, история — человек не поладил с человеком. И сто, и двести, и много тысяч лет назад такие вот Бушуевы подымали нож и топор на других, заставляли и на них подымать нож. Неужели это проклятие вечно, неужели от него нельзя избавиться?»

Это лирический комментарий автора к развязке повести: глава сплава участка мастер Саша Дубинин, хороший, добрый человек, «законодатель этого края», защищаясь от Бушуева, шедшего на него с топором, убил его ножом. И, конечно, хорошо то, что Саша Дубинин одолел шулера, вытнувшего трудовые деньги у сплавщиков леса, потому что «если б не убил, то сам валялся бы возле крыльца...» К чему же эти патетические восклицания о «вечном проклятии», и разве не ложной значительностью, не дешевой декламацией звучат рассуждения о Бушуевых, которые «и сто, и двести, и много тысяч лет назад подымали нож и топор» и т. д. и т. п. Ведь Бушуев, хотя он и подонок, но это — фигура реальная, историческая, так же, как конкретно историческая фигура — Саша Дубинин, мастер сплава участка, которого автор постарался всячески спрятать от конкретной истории: «Был сплавщиком, стал мастером; не богато событиями, не омрачено трагедиями, даже на фронт не попал — скромно прожил жизнь Александр Дубинин. Книг не приучился читать, не зажигался от них благородными порывами, не открывал для себя высоких идей...» Между тем он человек благородный, настоящий хозяин участка, гордится успехами своего трудового коллектива — да, коллектива! Дубинина «нет-нет да охватывает смутная гордость за своих ребят: «Трудовой народ, ничего не скажешь. Не зря хлеб едят...» — «См у т н а я гордость» — извиняется автор за своего героя, в образе которого человек выступает все-таки как частица советской истории.

Ну, а Бушуев? Автор говорит, что он тоже хочет своего простого земного счастья. Скольких людей, нечаянно оступившихся и как будто закосневших в своей враждебности, передельвало наше общество, растущее в подлинную историю человечества — коммунизм! И я вновь не могу не вспомнить Горького — как он был увлечен замыслом создания «Истории Беломорско-Балтийского канала», идеей «перековки», как восхищался главой, написанной Михаилом Зощенко о бывшем одесском воре, ставшем в передовые ряды людей труда! Но ведь были и другие — враги, которым нет и не может быть пощады. Если Бушуев — как тот питекантроп или как его там звали, того первобытного человека, еще не до конца очеловеченного, который впервые превратил орудие труда в орудие убийства, — если Бушуев, подымая свой топор над головой Саши Дубинина, ничем не отли-

чается от своего далекого предшественника за «много тысяч лет назад» до негФ, тогда Бушуев не виноват, и мы не можем выбирать между ним и Сашей Дубинным, между подонком и справедливым человеком, желающим людям добра. Так невольно получается в повести В. Тендрякова. Но ведь это неправда, глубокая неправда, оскорбляющая наше чувство гуманизма. Откуда идет эта неправда? От стремления изобразить людей вне истории, от попытки поставить своих героев в условия «эксперимента», по меткому выражению одного из критиков. Эксперимент, а во имя чего? Во имя того, чтобы отдать всю силу таланта, всю яркость палитры художника изображению сцен пробуждения в человеке низменных чувств под влиянием азарта, ожидания легкой жизни за счет других людей? Но ведь в подобных «экспериментах» не было недостатка в литературе прошлого, в произведениях, посвященных худшему в предыстории человеческого общества. Что нового может принести эксперимент В. Тендрякова после рассказов Брет-Гарта, о которых в связи с ним вспоминали на дискуссии, после замечательного цикла золотоискательских рассказов Джека Лондона, где вдали от капиталистической цивилизации блуждают в диком золотоносном Клондайке люди и волки, или волки и волки, потому что в морали этих людей, обуреваемых жадной наживы, человек человеку волк...

Только на переднем краю жизни, только как разведчик истории молодой талант может раскрыть и утвердить всю свою самобытность.

В повести В. Тендрякова есть одна фигура — Лешка Малинкина, деревенского парня, которому едва минуло двадцать лет, он спас от смерти Бушуева, «человека с черной душой», напуган им и теперь мучается и казнится, оказавшись невольным сообщником в его черном деле. Этот с любовью написанный образ притягивал к себе автора:

«Лешка лежал, плотно закрыв глаза, и чувствовал себя бесконечно маленьким, беспомощным, глупым перед той жизнью, которая, как океан, окружает знакомый ему островок — крохотный поселок, притиснутый лесами к реке. Первое разочарование, первое смятение, первый страх, первое наивное прозрение затянувшегося детства».

Но разве Лешка — «островитянин», разве океан Большой Истории не сделает его умной, сильной своей частицей? Чем он хуже своих четырех сверстников призывного возраста, которые не растерялись перед жизнью, оказавшись лицом к лицу с океанской стихией? И разве процесс естественного быстрого созревания нового человека в маленькой героине из повести С. Антонова не говорит о том, что «затянувшееся детство» героев повести В. Тендрякова затянулось неестественно?

Случай, подобный тому, который дал

основу повести В. Тендрякова, возможен в жизни, но художественное решение его... Впрочем, не наше дело подсказывать решение художнику. Можно лишь сказать, что оно было бы гораздо более высоким, если бы он избежал упрощения, если бы чувство истории не изменило ему и открыло борьбу нового и старого в душах людей. Тогда и частное поражение в этой борьбе могло стать уроком истории. Ведь история работает на нас, работает неуклонно и сложно, и нам следует терпеливо, с верой в победу человека изучать все ее зигзаги.

* * *

Люди делают историю прежде всего своим трудом. Но ведь они не только трудятся, но и просто живут, едят, отдыхают, веселятся, любят, рожают детей, страдают от неразделенной любви, переживают утраты близких... Едва ли не два с лишним десятилетия тому назад молодой, только начинавший Ярослав Смеляков назвал свою первую книжку — «Работа и любовь». В открывавшем ее разделе «Линия» (!) он ставил перед художником программную задачу:

И должен все-таки герой уметь согласовать весну расчерченных работ с дыханьем ветерка, любовью у сырых ворот, и смертью кулака, и лесом в золотом огне...

Хотя слово «согласовать» никогда не употреблялось в столь антибюрократическом смысле, выражая поэтический призыв к изображению целостного человека, но все же здесь предлагалось несколько механически соединить в поэзии тему новую и тему традиционную. В поэме «Строгая любовь», одном из лучших поэтических произведений последних лет, поэт пришел к решению традиционной темы в свете истории, в органическом единстве с историей, с новым стилем труда и быта советских людей. И выбор эпитета «строгая» по отношению к любви говорил о многом, прежде всего о желании найти что-то свое, особенное, в новом качестве чувства новых людей, чувства, древнего как мир.

В этом же направлении в свое время искал Маяковский: «Битвы революций посерьезнее «Полтавы», и любовь пограндиознее онегинской любви».

Тема любви человека нового общества неотделима от его образа как творца истории. Одно из произведений последнего времени, в котором сделана попытка найти решение этой задачи, — известный роман Галины Николаевой «Битва в пути». И хотя главное внимание автора отдано решению производственного конфликта, можно с уверенностью сказать, что без темы любви роман не привлек бы к себе внимания столь широких кругов читающей публики. Едва ли можно назвать другое произведение, где с таким

охватом разных сторон нашей жизни на новом ее этапе были бы показаны завод и колхоз, город и деревня, рабочие и представители технической интеллигенции, партийные работники и руководители разных рангов. В особенности хороши в романе деревенские сцены и некоторые женские образы. Оживает на страницах романа колхозница Анна Лужкова, с ее болью за родной колхоз, с ее недоверием к иным руководителям-летунам, с ее страданным оптимизмом. Все, что она говорит, и в особенности как к говорит эта крестьянка, как старое в ее языке повернуто для выражения нового, делает художественно достоверным этот образ новой русской женщины. И другая колхозница — немолодая красивая доярка Лизавета, с каким вкусом учит она Анну своим «звучным, катящимся говорком», учит «работе с выменем», как делится с ней своими любовными печальми! Удался и милый девичий образ Даши с ее первыми шагами на заводе, в работе и в любви.

Немало хорошего можно было бы сказать о «Битве в пути», как о произведении, которое дает возможность читателю войти в мир человеческих тревог и радостей, конфликтов и трагедий, которые составляют реальное содержание «перестройки производственного процесса», то есть того, чем живет и волнуется множество людей быстро идущей вперед великой индустриальной державы. И ради этого, ради познания всего этого можно простить многие недостатки в этой широкой картине, свидетельствующей о незаурядной «хватке» автора по отношению к новому материалу.

На первом плане романа образ «Тинки-льдинки-холодинки» и ее отношения с главным его героем инженером Бахиревым. Автор стремился показать здесь и бытовые противоречия нашей жизни, и большую любовь... Некоторые критики считают, что «любовная тема» не участвует в развитии сюжета «Битвы в пути» и служит лишь своего рода «оживлению» производственной темы. Но это не так. Тина работает на заводе и даже делает открытие, которое помогает Бахиреву устранить некоторые производственные неполадки. Она живет его смелым новаторским планом перестройки завода и всей душой участвует в его борьбе, во всех его злоключениях как истинный товарищ и друг. Битва идет не только за перестройку производства, но и за нового человека. Если перед нами настоящая любовь, то бытовая изнанка жизни не может стать препятствием для создания поэтического образа и, так сказать, подорвать престиж положительного героя. Здесь важна дистанция между автором и его натурой или угол зрения автора на его натуру. Образ Давыдова в «Поднятой целине» был бы неполон без истории его отношений с «демонической» Лужкой, которую безупречно справившийся со всеми хозяйственно-политическими кампаниями председатель Гремяченского кол-

хоза наивно задумал перевоспитать, «явно переоценивая свои и Лужкины возможности», как иронически замечает автор. Шолохову не нужно извиняться за своих героев, они у него сами двигаются, сами совершают поступки, хотя автору трудно иногда сдержать восхищение перед образом своей героини, перед ее «бесовской красотой». Но он вовсе и не собирается «осудить» образ Лужки или «защитить» образ Давыдова. Это жизнь, — говорит себе читатель, и сама жизнь сводит Давыдова с другой женщиной в полюбившемся всем обаятельным, трогательным и гордом образе Варюхи-Горюхи. Достоинно внимания все же, что этот образ «чистой красоты» хотя и преодолевает, но не зачеркивает замечательно написанную «бесовскую» Лужку. И только в конце романа мешанский финал судьбы Лужки Нагульновой, очень выгодно вышедшей замуж за горного инженера, разоблачает ее мелкую сущность.

«Любовная тема» в романе «Битва в пути» не доведет к роману о производстве, но, к сожалению, тема любви здесь снижена своей трактовкой, в которой одновременно есть и робость и аффектация. В художественном произведении, как известно, имя героя или героини очень органично входит в состав образа. Аффектация в отношении героини «Битвы в пути» начинается с самого ее имени, вернее прозвища, которое ей шутиво дали в детстве: «Тинка-льдинка-холодинка». В заводской обстановке это прозвище звучит крайне претенциозно. Аффектация, то есть некий неестественный, показной, напряженный тон, сказывается и в самих образах, в стиле тех эпизодов, где автор стремится «согласовать» работу и любовь.

«Семь часов — мой роковой час, — шутя говорил он (Бахирев) Тине. — Семь утра — час свидания с конструкцией, семь вечера — час свидания с тобой». К обеим он спешил нетерпеливо. По утрам он осторожно, почти ласково прикасался к тяжелым, темно-красным металлическим скобам, к их скользким, холодным поверхностям... А вечерами он стискивал хрупкие плечи Тины. Любовь становится весомой и сверкающей, как ступок обработанного металла, когда жизнь на полном ходу вонзает в нее свои резцы».

Едва ли эти метафорические «металлические» излишества способствуют выражению человеческого чувства.

А в то же время в изображении этой любви есть робость. Автор хочет защитить или оправдать свою героиню, которая полюбила женатого человека и стала с ним близкой. Жажда материнства должна как бы снять с нее вину тайной любви. Она «думала о будущем сыне. Это маленькое будущее существо уже стало ее защитой, опорой и оправданием... Лишь бы он появился на свет...»

Странная наивность Тины — замужней женщины — делает еще более искус-

ственным ее образ — энциклопедическое соединение «угрожающей красоты» со всеми вообще возможными и всеми мыслимыми человеческими талантами и достоинствами, которыми неумеренно щедро наделил автор свою героиню.

Неорганичность этого образа в особенности выступила в отдельном издании романа, где он подвергся изменениям и доработке. В журнальном варианте у Тины был первый муж — старый друг ее отца, убитого на фронте. В отдельном издании отец, по воле автора, воскрес и заменил мужа журнального варианта. На отца перенесена теперь вся любовь, которая раньше была адресована мужу. Получилось что-то вроде «эдипова комплекса».

На дискуссии «Писатель и время» в связи с этим в некоторых выступлениях возник принципиальный вопрос: защищали право автора на доработку своего произведения, ссылаясь на примеры из истории литературы. Кто-то для сравнения упомянул «Молодую гвардию» А. Фадеева. Но разве можно сомневаться в праве автора на доработку своего произведения, если оно выстрадано, как это было у Фадеева, осознанием ответственности художника перед историей за верность действительности? Говорили также, что автор «Битвы в пути» послушался советов читателей. Эти советы часто бывают драгоценными. Критика читателей может дать художнику то, что он не всегда получает от профессиональной литературной критики. Однако есть советы и советы, критика и критика. Горький, помнится, говаривал своим друзьям-писателям: «Слушайте, но не слушайтесь!» Не всем известно, что в период, когда М. Шолохов работал над четвертой книгой «Тихого Дона», он получал не мало писем от читателей, полюбивших Григория Мелехова, с советами и даже требованиями «перевести» Григория на сторону красных. Однако писатель не мог последовать этим советам, ибо он, как волшебник, вызвавший духа, был уже не властен над своим созданием, которое в своем развитии диктовало ему решение, единственно соответствующее индивидуальности героя и объективным законам истории.

Конечно, переделка образа героини в «Битве в пути» ничего не изменила, в сущности говоря, и лишь обнаружила более резко художественную неорганичность образа. Речь идет о другом, о том, что автор оказался в плену натурализма в своем изображении любви. Перед ним открывалась другая возможность, другая, более высокая точка зрения, с которой те же факты и обстоятельства могли получить иное освещение. Но для этого нужно было преодолеть «бытовизм», раскрывая историческую суть любви нового человека «пограндиознее онегинской любви». В «этой теме и личной и мелкой» могла и должна была отразиться Большая История.

Почему же мы не видим этого в романе? Ведь автор «Битвы в пути» стремится свой талант слить с историей. Мне кажется, потому, что Галина Николаева не идет в глубь темы, не вынашивает, как художник, своих образов, желая ответить на неотложные вопросы дня. Это задача святая, но в решении ее искусство всегда будет спорить с беллетристикой.

«Где же, в чем же та резкая черта, которая отделяет искусство от беллетристики?» — спрашивал Белинский. И отвечал: «Резкой черты нет и быть не может... потому что между всеми этими крайностями есть посредствующие звенья, переходы и оттенки незаметные и невидимые. Резкой черты нет, но черта есть. Истинно художественное произведение бессмертно... из этого еще не следует, чтоб беллетристические эфемериды были ничтожными явлениями и не заслуживали внимания и уважения людей дельных...» Заслуживает внимания и «Битва в пути», хотя следует сказать, что беллетристика оттесняет в ней нередко поэзию, автор идет за читателем, а не ведет его вперед.

* * *

Наши люди — творцы новой истории человечества на ее высочайшем взлете — хотя через искусство понять самих себя. У художника бывают минуты откровения, когда его голосом говорит сама история. Это те минуты, когда рождается истинная поэзия. При встрече с ней нельзя пережить гордости за художника, счастья соавторства по эпохе, которое дано только современнику. Такое переживание не оставляет читателя книги Ольги Берггольц «Дневные звезды», книги записей автора о своем жизненном пути — с детских лет и до дней ленинградской блокады, одной из тех книг, которые принято называть автобиографическими и даже документальными, но главное в них — поэтическая дума «о времени и о себе». Как бы одним дыханием написана «Поездка в город детства», где прошлое — детство героини и страны — удивительным образом совместились с настоящим и будущим обеих героинь в строительстве коммунизма. Удивительный образ состоит в том, что, вполне конкретно представляя себе ту десятилетнюю девочку, которую вместе с ее сестрой мама увезла в 1918 году из Петрограда в Углич, пока отец далеко на юге воевал с белыми, а потом — по годам восстанавливая всю ее жизнь после конца гражданской войны до конца ленинградской блокады и уже в наши дни — видишь все это сразу, как бы в одно мгновение, и в то же время в стремительном, бешеном темпе развития. В этом и состояло задание художника, который хо-

тел передать ощущение того, как можно жить «прошлым, настоящим и будущим сразу», жить «всей жизнью». Это доступно только художнику, который живет будущим, который в прошлом открывает предвосхищение будущего. И вот это «сразу» сообщает самому стилю «Дневных звезд» волнующее очарование, соединяя в нем ясность с порывистостью, предметность со страстной поспешностью выражения сокровенного. Нужно точное и смелое мастерство, чтобы позволить себе так легко «тасовать» и «перетасовывать» в повествовании разные времена, как бы переворачивая бинокль и устанавливая его на разные дистанции по отношению к Большой Истории. Этот прием позволяет автору свободно управлять временем действия и в психологии девочки-подростка, впервые услышавшей в вагоне «сказку о свете», и в художественном мышлении писательницы, встретившейся с «рыцарем света» — Глебом Максимилиановичем Кржижановским в те дни, когда перенец электрификации отмечал свое двадцатипятилетие.

Обе эти сцены очень хороши. В вагоне девочка лежит на верхней полке и слышит только голоса собеседников. Один, принадлежащий пожилому, с ликованием поучает другого, недоверчивого:

«Эх... дура ты, мальй. «Для ча?» Да ведь там же водопад будет! Преогромнейший, пойми, водопад. И такой неистойвой силы, что от этого водопада появится сам свет. Как от бога. Оно Волховстрой называется, дружба, ты запомни это — Волховстрой...

— ...Голодаем и холодаем, пусть хоть светло будет,— грустно, устало сказал молодой голос.— При свете легче, чем в темноте, правда, дед?

— Может, правда,— равнодушно согласился тот и снова вдохновенно пророкотал: «Оно как брызнет с Волховстроя, как засияет на всю Расаю, как заплещется! Это Ленин так велел».

Тонко выражено здесь угадываемое второе значение «света» как «сознательности», переход в голосе проповедника, уставшего убеждать, к новому взрыву восторга перед открывшимся ему будущим.

И другая сцена, в кабинете у Кржижановского, где не раз бывал В. И. Ленин.

«...Тут все с ним у меня связано... Он был мечтатель... иногда... озорниковатый — по-русски! Он, знаете ли, не только как государственный деятель понимал, что такое электрификация, но еще как-то по-юношески был влюблен в нее, в свой Волховстрой...»

Когда Герберт Уэллс был в России и встретился с Лениным, героиня книги была еще девочкой и ничего об этом не знала. Но автор умеет видеть сразу «всей жизнью», когда прошае присутст-

вует в настоящем как живая история. И вот поэтому в ее повествовании и Герберт Уэллс, не поверивший в то, что план ГОЭЛРО осуществится, и рассказ Г. М. Кржижановского о том, как засверкала перед взорами делегатов VIII съезда Советов карта электрификации России, словно по волшебству становятся лично пережитым воспоминанием юности.

В книге Ольги Берггольц воспоминания о прошлом и наблюдения над жизнью свободно переходят в размышления о духе времени, в лирические рассуждения о сущности поэзии и о том, как вознагражден человек, который научился любить ее. Читатель встретит в книге и бытовые сцены, и портреты людей, написанные художником, знающим цену чувства юмора. «Дневные звезды», по выражению самой писательницы, это приближение к той Главной книге, которую каждый художник пишет непрерывно, всю жизнь. В ней есть замечательный образ старого русского врача — отца поэтессы, участника двух войн, продолжавшего без усталости трудиться во время ленинградской блокады в фабричной больнице на берегу Невы. И хотя не так много страниц посвящено ему в книге, но образ этот заключает, как бы завершает ее. Это очень конкретный, немного смешной и трогательный характер мудреца-философа, посвятившего себя людям. Он рассказывает дочери услышанную им на заводе историю о том, как старик формовщик, прятая секрет своего мастерства, чувствуя приближение смерти, стал обучать свою старуху «секрету земли», заставляя ее съедать половину своего голодного блокадного пайка. Он хотел, чтобы старуха выжила и смогла, когда завод заработает, «секрет земли всем формовщикам открыть». Рассказывая об этом, отец добавил, что, может быть, этот секрет и не понадобится, изобретут что-то более научное, точное.

«А может, и не изобретут. Выше любви человеческой — разной... к родной земле, к человеку, к женщине или женщины к мужчине,— выше этого ничего, Лялька, изобрести нельзя... Нет, не изобретут».

И вот в повествовании Ольги Берггольц возникает тема любви. Еще в первую мировую войну во фронтовом санитарном поезде доктор стал работать вместе с сестрой милосердия, некой «княжной Варварой», которая действительно происходила из очень знатного и древнего рода. После Октябрьского переворота «княжна Варвара» последовала за доктором и была с ним рядом в санпоезде «Красные орлы», подвергаясь всем опасностям белогвардейского окружения и ожесточенных боев, четырежды вытаскивая его из смерти, из четырех тифов всех видов. Отец уходил от семьи...

В русской литературе есть знаменитые сцены прощания перед смертью. Когда доктор, которого блокада доконала,

умирал, «княжна Варвара» приехала к нему.

«Он повернулся, увидел Варвару Николаевну, и лицо его преобразилось, точно осветилось изнутри и помолодело в самозабвенной, счастливой улыбке.

— Варюша,— протянул он с нежностью неизъяснимой,— родная. Ты со мной?

— С вами, докторёныш, дорогой мой,— ответила она, склоняясь над ним и целуя его руки, в то время как он прижимал к губам ее ладони,— конечно, с вами, где же мне еще быть?

— Что ж... как в поезде «Красные орлы», товарищ княжна... смотрим вместе в глаза смерти...

— Как в поезде «Красные орлы», товарищ начальник,— ответила она и вдруг негромко, счастливо, коротко засмеялась,— как в поезде «Красные орлы» — ничего не боимся...

И мы с радостью узнаем, что «сестра милосердия» стала на пост возле своего доктора, что он не испугался приезда жены и дочери, «а даже шутил с ними...» Это жизнь, это правда,— говорим мы.

Славу новому человеку поет Ольга Берггольц в своих «Дневных звездах» — книге, названной так потому, что в ней сделана попытка рассказать о том, что не всем видно, о сокровенном. Эта звездная книга героики и патриотизма — одно из творческих свершений на пути к той Главной книге, которую создает вся советская литература.

Талант Ольги Берггольц в прекрасной русской прозе поднялся даже выше ее стихов, которые мы ценим и любим. Может быть, он и поднялся так потому, что ее вдохновляла задача рассказать о всей жизни «сразу», о нашем непреодолимом будущем, о коммунизме.

Н. Маслин

ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА

Хотя роман «Янтарное ожерелье», по выражению Н. Погодина, — «первая проба» в новой для него области и обладает свойствами, «присущими начинающему автору», мы отчетливо чувствуем в нем мастерство художника, искушенного в театральном искусстве.

Опытom этого сложного и трудного вида художественного творчества в первую очередь руководствуется Н. Погодин, работая в области прозы.

Как известно, сценическое искусство по самой природе своей синтетично: усилиями литераторов, артистов, музыкантов, художников и представителей пластического искусства оно воздействует на зрителя многосторонне.

Стремление найти средства многостороннего воздействия на читателя — вот принцип, которым руководствуется и Погодин-романист, ставящий и решающий в «Янтарном ожерелье» важную идейную проблему, подсказанную ему современным развитием советского общества. Писателя интересует процесс формирования социалистической личности в условиях повседневной жизни, духовный рост и обогащение человека в творческом труде. «Янтарное ожерелье» представляет собой как бы размышление вслух о новой социалистической морали, о ее истоках и о ее развитии в нашей действительности, в людских отношениях, построенных на труде.

Воспитание в человеке коммунистической нравственности происходит, по словам Ленина, «в борьбе против... той психологии и тех привычек, которые говорят: я добиваюсь своей прибыли, а до остального мне нет никакого дела». Н. Погодин стремится показать, как и в большом и в малом проявляется социалистическое поведение людей, которым чужда и враждебна психология эгоизма и корысти. Мораль таких людей, как Иван Егорович и Нина Петровна, Володька и Ирочка, — это мораль тех, кто хочет есть хлеб, заработанный своими руками, чей труд наполнен духовным

содержанием. Она противостоит морали Ростика и его матери Елены Васильевны, бригадира дяди Демы — «мусорного человека», по выражению Володьки, Дульки-Светланы, Емельяна Пряникова. У этих людей труд лишен духовного содержания, он в лучшем случае лишь средство существования, неизбежная и обременительная служба «от и до». Их мысли и чувства — в конечном итоге плоские мысли и убогие чувства откормленного самодовольного мещанства.

Н. Погодину не свойственно рисовать человеческий характер только одной краской. У положительных героев «Янтарного ожерелья» чувства движутся не только по орбите добродетели, а у некоторых отрицательных героев — не только по орбите порока. Но такой способ раскрытия характера у Погодина ничего общего не имеет с притязаниями некоторых писателей на «приземленного» положительного героя и на «утепленного» героя отрицательного, потому что автор романа в положительном и отрицательном видит не полюсы духовного мира людей, а моменты развития их характера. В центре внимания романиста судьба человека в ее связи с определенной общественной средой, с основными проблемами современности.

Мы видим, как у Ирочки и Володьки, молодых людей с нераскрывшимися возможностями, еще перекрещиваются и смешиваются разные, порой противоположные душевные движения. Лишившись родителей в годы войны, Ирочка выросла в семье своей тети, сестры матери — Нины Петровны, простой честной женщины, порой смешной и несносной в своей безапелляционности и наивности, но всегда трогательной в отношениях к людям и своим служебным обязанностям. Ее муж Иван Егорович старый коммунист, милый человек, мягкий и уступчивый и вместе с тем пронзительный и принципиальный. В его представлении коммунизм не нечто далекое и отвлеченное, а живое дело людей, миллионов советских тружеников. «Это слово во всем его объеме казалось Ивану Егоровичу огромной и в то же время простой мерой всех вещей». Этот мудрый, знающий жизнь человек оказал большое влияние на свою племянницу. Атмосферой трудовой семьи, в которой воспитывалась Ирочка, ее работой в комсомоле определены хорошие задатки этой девушки: честность, влечение к труду. Но Ирочка вся в исканиях, более того — в метаниях. Дважды она ошибается в выборе профес-

Николай Погодин. Янтарное ожерелье, роман. «Юность», 1960, № 1—3.

сии. Первыми неудачами и путаницей отмечена и ее личная жизнь. Что будет с Ирочкой на целине, куда отправил ее автор в конце романа? Найдет ли, наконец, она там свое настоящее призвание? Эти вопросы невольно возникают у читателя, прочитавшего «Янтарное ожерелье».

Володька, как и Ирочка, в сущности делает первые шаги в жизни. И ему предстоит освободиться от многого в своем характере: от грубости, на которую он нередко сбивается в обращении с людьми, от терпимости к отрицательным явлениям жизни своего коллектива и других недостатков. «Ему были дороги нормы жизни советского общества, и он мучительно мирился с искажением этих норм в том маленьком мире, который его окружал», — говорит о нем автор. Но с такими людьми, как Иван Егорович, Володьку объединяет трудовая народная закуска характера. Какое поприще ожидает Володьку в будущем? Суждено ли ему встретиться с Ирочкой, вручить оставленное ею дома ожерелье — подарок Ивана Егоровича — и вместе с ней завоевать счастливую жизнь?

Как видно, финал романа окутан некоей тайной, которая должна быть разгадана. Но кем? В данном случае автор, по видимому, придерживается старинного правила: тайны, которые должны разъясняться сами, не стоят того, чтобы терять время на их разгадку. Поэтому раскрыть эту тайну он перепоручает читателю.

«Я обращаюсь со своими героями, — говорил Н. Погодин, — как обращается человек, которому они очень близки. Не говорю им комплиментов, не глажу их по головке, а веду себя с ними, как с равными. И не боюсь быть дидактичным, не боюсь вторгаться в их мир и, может быть, по-старомодному договариваю свои мысли до конца. Я пишу свое повествование о молодежи с единственной целью — показать, где она хороша, где дурна, где неотразимо прекрасна».

Этой задаче подчиняется в романе четко выраженное стремление охватить единым взглядом весь «объем изображаемого», дать живую и законченную сцену всякий раз, когда надо показать героев в действии, развернуть неожиданную сюжетную ситуацию, построить динамичный диалог. Отсюда же интонационная перебивка стиля: чередование объективного повествования и нравоучительных сентенций, лирических пассажей и язвительных шаржей.

Вот молодые герои на Красной площади. «Ирочка сказала, что больше всего в Москве любит Кремль. Володька... вспомнил свое первое впечатление от Красной площади, но не стал рассказывать о нем. После долгого молчания он сказал:

— Кремль... Смотришь и думаешь: вот так и должно быть.

Тут-то Ирочка и подумала, что Во-

лодька умеет не только хвастаться и пить четвертинки...

— Мне хочется, Володя, очень хочется, чтоб я могла сказать о тебе так, как ты сейчас про Кремль сказал».

Или вспомним эпизод, в котором раскрываются иные характеры — «тех людей, — по словам автора, — которые в свое время выводили из себя великого Грибоедова»:

«Мать и сын переговаривались изредка.

— Расскажи, как там?

Там — значило за границей вообще...

— А что там... Ничего. Нормально...

Затем мать и сын долго разговаривали о тряпье. Они говорили очень тихо, как заговорщики, боящиеся, что их подслушают и разоблачат».

Что характерно для этих отрывков? Почти полное слияние видимого и слышимого, пластичности и разговорной стихии, слияние, в котором очень хорошо виден человек, как бы освещенный со всех сторон.

Читателя волнуют не только эти, но и многие другие сцены. Это бесспорно. Но к нашему волнению примешивается в то же время и нечто другое, что мешает восприятию романа.

«Янтарное ожерелье» заставляет вспомнить традиции, казалось бы, давным-давно забытого жанра романа-фельетона с его поэтикой внезапностей и неожиданностей. Автор охотно пользуется ситуациями, построенными по принципу «вдруг», явно рассчитывает на эффект неожиданности. Но у Погодина неожиданность порой оборачивается случайностью. Такова, к примеру, встреча Ивана Егоровича со своей дочной соседкой Иллирией Сергеевной. Случайный факт здесь претендует на нечто большее, чем то, что он есть. На самом деле вся эта сцена художественно неоправдана и на редкость невыразительна. И не случайно автор, не доверяя пронизательности читателя, спешит разъяснить ему ее сокровенный смысл лирической сентенцией о вечной «теме Фауста».

Все это несомненно расшатывает композицию романа, делает ее разброшенной и спутанной. Его отдельные главы оказываются построенными на отрывках и эпизодах.

Тем самым читатель нередко оказывается в трудном положении человека, вынужденного через неизвестное находить известное, а не наоборот. И ему не легко ответить на те естественно возникающие вопросы, касающиеся судьбы молодых героев романа, о которых говорилось выше. Вторжение случайности существенно мешает последовательному и всестороннему художественному обоснованию того гуманистического пафоса, той веры в нового человека, которыми проникнут роман «Янтарное ожерелье».

ОСКОЛКИ ВРЕМЕНИ

Стоит ли напоминать, что К. Паустовский — писатель, щедро одаренный природой, замечательный художник? На мой взгляд, лучшее из того, что написано К. Паустовским, — «Кара-Бугаз» и «Колхида». Эти маленькие романтические повести, посвященные смелым покорителям природы, овеяны каким-то удивительно светлым жизнеутверждающим чувством и привлекают своей устремленностью в коммунистическое далеко. Написанные много лет назад, они нисколько не потеряли ни былой свежести, ни увлекательности.

Не так давно К. Паустовский отмечал в послесловии к новому изданию «Кара-Бугаза»: «Эта книга написана около двадцати лет назад. На протяжении всей истории человечества люди привыкли думать, что двадцать лет — совершенно ничтожный срок для жизни народов. Но в нашей стране воля людей, открыенных великими планами социалистического строительства, привела к тому, что за эти двадцать лет в корне изменился весь облик страны, всего Советского Союза. Так изменился и облик бесплодных пустынь, облик Кара-Бугаза. Сейчас Кара-Бугаз — уже мощный индустриальный район, и потому эта книга в значительной мере является данью нашему героическому прошлому, данью замечательным советским людям — победителям пустыни».

«Кара-Бугаз» потому и стал «данью замечательным советским людям», что эта книга писалась с передовых позиций своего времени. Жизнь изображалась в ней как героическое деяние, творимое тружениками и мечтателями, людьми необычайного воображения, способными раздвинуть горизонты обидности и увидеть за ними свою прекрасную крылатую мечту.

Совершенно другом говорит предисловие автора к повести «Время больших ожиданий». «Эта повесть — не история, — подчеркивает К. Паустовский. — Автобиографию свою я пишу, твердо следуя принципу — писать только то, чему я сам был свидетелем. Поэтому в повести нет и не может быть описания всех событий, относящихся к месту и времени этой книги, то есть к Одессе 1920 и 1921 годов.

С детства я был связан с теми слоями неревOLUTIONционной интеллигенции, которая, хотя и была настроена прогрессивно, но, по существу, стояла в стороне от борьбы народа за лучшее будущее.

Константин Паустовский. *Время больших ожиданий*. «Советский писатель», 1960 г.

Это и определило круг моих связей и встреч в описываемые здесь годы. Поэтому я не пытаюсь широко касаться тех людей, которых тогда еще глубоко не знал. Только по мере накопления житейского опыта я стал сознавать решающее значение этих людей в исторической революционной жизни моей Родины, начал понимать, что, несмотря на все трудности, сердце советского народа не повреждено и народ этот не может быть уничтожен ни физически, ни морально. И я понял, что горести этих лет лишь умножают величие народного подвига того времени — времени больших ожиданий».

Итак, прошлое раскрывается в книге не с той точки зрения, к которой писатель пришел в годы своей художественной зрелости, а с другой, давно преодоленной, которая была свойственна интеллигенции, далекой от революционной борьбы эпохи. Это обстоятельство не могло не сказаться на художественной ткани произведения и роковым образом ограничило не только широту, но и глубину авторского видения мира, хотя и на сей раз К. Паустовский предстал перед нами искусным мастером слова.

«Время больших ожиданий» рисует Одессу 1920—1921 гг. Жизнь тех лет показана в повести глазами стороннего наблюдателя, который никак не связан с общественной борьбой. В поле его зрения попадают только внешние приметы, всякого рода замечательные и акцентричные факты и явления.

Старый мир рухнул. От него остались лишь развалины. Новое же едва различимо. И герой повести прячется от жизни на пустынных и туманных берегах пустынного и туманного моря.

Море! Оно овеяно в книге К. Паустовского ароматом старинной романтики. Этому как бы способствует блокада Одесского порта: и в самом деле, сколько поэзии в бескрайней морской пустыне, в погасших маяках, в клотиках затопленного транспорта у входа в порт, в эскадрах причудливых кораблей на горизонте, надменно плывущих под белыми тугими парусами, чтобы превратиться через минуту в обыкновенные тучи, швыряющие в потемневшую воду молнии и раскаты грома... Сюда, на морские ржавые берега, герой книги приходит слушать нежный шелест трав, любоваться туманными очертаниями мысов, вбирать в себя запахи и краски бескрайних просторов. Целыми часами он смотрит на свитки легучих облаков, наслаждается особым морским одиночеством и пребывает в счастливом состоянии беззаботности.

Читателя, вероятно, не должно смущать, что вся эта идиллия выглядит несколько странно в дни, когда жизнь требовала от людей гражданской деятельности и целеустремленности. Ведь автор предупреждал нас, что подходит к действительности с позиций далеких лет, не испытывая никакой необходимости под-

няться над своим героем и оценить его истинное место в событиях тех лет...

«Я невольно поддвечивал и подсвечивал жизнь,— признается в повести К. Паустовский.— Мне это нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной прелестью». Поддвечены и подсвечены здесь и морские пейзажи, и картины города, и исторические фигуры литераторов и журналистов. Романтическая живописность, умение создать у читателя особенное настроение таинственности — во всем этом сила и одновременно слабость изобразительной манеры К. Паустовского.

Сила там, где эта художественная манера диктуется содержанием. И слабость в тех случаях, когда она приобретает самодовлеющее значение, подменяя реалистически-точное изображение людей и событий зыбкими, романтическими красками, импрессионистскими мазками.

Морские пейзажи перемежаются в книге с яркими, чуточкой ироническими зарисовками гримас одесского быта. Здесь сполна проявились и способность К. Паустовского к пластическому воспроизведению жизни, и свойственные ему тонкий юмор, меткая наблюдательность, виртуозное владение деталью. В этой обстановке — в мире фантазмагорий, порожденном голодом и разрухой, в самой гуще обывательских страстей и действуют основные персонажи повести, журналисты — люди без ясных политических симпатий и четких жизненных целей, симпатичные ловкачи, остроумные приспособленцы — все эти Головчинеры, Лившицы, Торелли...

В повести немало лаконичных, но выразительных портретов одесских литературных деятелей. Редактор «Моряка» Иванов, похожий на портового жлоба, изысканно вежливый Мозер, автор знаменитых одесских песенок Ядов... Всех их сближает некоторая чужаковатость. За эксцентричностью персонажей книги утрачивается глубинное, типическое в характерах, тем более что герои повести — как бы на периферии описываемой эпохи и не связаны с ее главными конфликтами и ведущими тенденциями. Этот внешний, поверхностный подход к человеку становится особенно наглядным, когда речь заходит о литераторах, чьи имена позже станут известными далеко за пределами Одессы.

Наиболее детально показан в повести И. Бабель. Но, знакомясь с тем, как пишет этот интересный человек, влюбленный в слово, мы, к сожалению, не получаем никакого представления, зачем и для кого он пишет. Творческие искания писателя сведены к работе над виртуозной отделкой формы. Мир же идейных и этических поисков Бабеля остается для

читателя совершенно закрытым. Больше того, возникает впечатление, что идейные вопросы вообще не волнуют писателя, что перед нами эстет, творящий легенду из грубого куска действительности.

Черты эстетства и оторванности от жизни народа преобладают и в облике основного героя повести. Он также одержим творчеством, живет в особом литературном мире, стремясь отразить действительность в особо раскрашенных картинах, где фантазия ценится больше реальности. Такую эстетизацию жизненного материала К. Паустовский пытается объяснить тем, что время, мол, уносит все горькое, оставляя в памяти только редкие радости и великие надежды. Однако, думается, причины этого явления глубже — в романтическом тяготении к диковинному, необычному, к поддвеченному и подсвеченному.

В тех случаях, когда писатель обращается к общественно-значимому материалу, его романтика приобретает революционную окраску. Но когда он, вопреки исторической правде, сосредоточивает все внимание на мелочном, субъективном, второстепенном — на чувствах и впечатлениях человека, далекого от революционной деятельности, — такая художественная манера только усугубляет и подчеркивает несоответствие темы и стиля.

В том, как К. Паустовский назвал свою повесть — «Время больших ожиданий», — сказалось его понимание эпохи. В годы, описанные в книге, советская власть делала свои самые первые шаги. По отношению к будущему трудное, мучительное это время действительно было временем больших ожиданий. Но ожидание ведь бывает разным. Историческое «ожидание» тех лет вопреки картине, нарисованной в повести, было революционным действием.

Для того чтобы раскрыть созидательную энергию времени, писателю необходимо было взглянуть на жизнь другими глазами. Отказ от революционного взгляда на действительность поставил художника в трудное положение: отдельные яркие и колоритные картинки жизни не дают повести перерасти в исторически правдивое и глубокое осознание действительности.

Время «лопнуло вдребезги». И лишь его причудливые осколки К. Паустовский подобрал и сделал предметом своего тщательного анализа. Реализм оказался ослабленным узкой и архаической жизненной позицией. Повествование, в конечном счете, предстало разрозненным собранием ярких частных и деталей, лишний раз свидетельствующих о том, как мельчает большой талант, когда он сам на себя надевает шоры.

Наука и техника наших дней

Леонид Шароль

ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

«Ни один художник не бывает художником изо дня в день, все 24 часа в сутки; все истинное, непреходящее, что ему удается создать, он создает лишь в немногие и редкие минуты вдохновения. Так и история, в которой мы чтим величайшего поэта и творца всех времен, отнюдь не творит непрерывно. И в этой «таинственной мастерской» господ бога, как назвал историю Гёте, происходит очень много незначительного и заурядного. И здесь, как повсюду, в искусстве и в жизни, великие и незабываемые мгновения редки. Чаще всего история с бесстрастием летописца отмечает факт за фактом, прибавляя по звену к гигантской цепи, которая тянется сквозь тысячелетия, ибо каждый шаг эпохи требует подготовки, каждое подлинное событие созревает исподволь... из миллионов впуску протекших часов только один становится подлинно историческим З В Е З Д Н Ы М Ч А С О М человечества...».

Так писал Стефан Цвейг в предисловии к «Историческим миниатюрам».

* * *

В 1953 году после многочисленных попыток люди, наконец, покорили высочайшую горную вершину земного шара — Джомолунгму.

В 1955 году была обнаружена и исследована одна из глубочайших на земном шаре пещер — пещера Берже.

В 1958 году вездеходы советской антарктической экспедиции прошли над самой недоступной точкой земного шара — Полюсом Недоступности.

Тем самым в книгу Великих Географических Открытий были вписаны новые замечательные страницы.

4 октября 1957 года за пределы земной атмосферы было выведено первое искусственно созданное людьми тело. Оно было создано в Советском Союзе.

В 1958 году советская космическая ракета стала спутником Солнца.

В 1959 году советская ракета вознесла на Луну вымпел «СССР», а советская

межпланетная автоматическая станция сфотографировала невидимую сторону Луны и передала это изображение на Землю.

В 1960 году советские суперракеты, пролетев тысячи километров, со снайперской точностью «вонзились» в заранее вычисленные квадраты акватории Тихого океана, а новый советский спутник Земли — космический корабль, настоящий институт космонавтики, прообраз космического корабля, который поведет Человечество, — пробороздил бесконечные пространства небесного океана.

Тем самым в книгу Великих Космических Открытий были вписаны первые замечательные страницы.

Советский спутник. Советский «лунник». Советская межпланетная автоматическая станция. Советские ракеты. Советский космический корабль-спутник... Советский — именно советский — космоплан.

Да, начало эры Великих Космических Завоеваний навсегда связано со словом *советский*. Это советские люди первыми на Земле уверенно и твердо шагнули в алмазно-звездное небо. Первыми вспахали космическую «целину». Первыми прикоснулись своими приборами к девственной тверди Луны. Шаг... Еще шаг... Еще... Штурм космоса продолжается. Штурм ведут советские люди.

«Боевые действия» Советского Союза по овладению космосом идут столь успешно и стремительно, что телетайпы международных линий буквально захлебываются, спеша передать во все уголки земного шара сообщения о «сенсационных победах Москвы»:

— Запуск советской сверхтяжелой ракеты в район Тихого океана доказывает бесполезность затраты Соединенными Штатами Америки пятисот миллионов долларов на создание новой сети радиолокационных станций предупреждения ракет.

— У советской ракеты чертовски хорошая система наведения.

— Вывод Советским Союзом первым на орбиту Земли искусственного спутни-

ка вызвал такую интенсивную реакцию во всем мире, с которой трудно сравнить последствия какого-либо другого отдельного открытия или изобретения.

— Сейчас преобладает мнение, что первый человек, который проникнет в космос, будет из Советского Союза.

Да, у советских ракет «чертовски хорошие системы наведения». И эти системы с каждым днем становятся все лучше и лучше. Поэтому рыбакам Тихого океана, как, впрочем, и всем миролюбивым людям, не приходится бояться, что с ними повторится трагический случай, происшедший с экипажем японского рыболовного судна «Счастливы дракон», которое несколько лет назад попало у атолла Бикини в зону испытаний американской водородной бомбы. Испытательные полеты наших ракет завершаются точно в намеченных безлюдных квадратах океана и не рожают смертоносную радиоактивность. Зато любителям горячих войн, мечтающим использовать космическое пространство для военных авантюр на Земле, а также некоторым торговцам национальным престижем и государственным достоинством своих стран стоит помнить, что эти ракеты в случае необходимости могут нести и боевой заряд и при этом с такой же точностью завершать свой полет в заранее намеченных квадратах, скажем, в тех, где расположены базы новых претендентов на «мировое господство».

Об этом, например, следует помнить теперешним хозяевам Вернера фон Брауна, того самого Брауна, который в годы войны руками узников Бухенвальда, в архисекретном туннеле «Дора», создавал для Гитлера «абсолютное оружие» — баллистические ракеты «фау-2», а ныне, став лакеем империалистов США, усиленно продолжает поиски нового «сверхабсолютного» оружия.

Им следует помнить и урок советских ракетчиков, данный шпиону Пауэрсу, о значении которого французский писатель и публицист Луи Арагон в своей статье «Войне нанесен удар» писал: «...Попадание советской ракеты в самолет важнее запуска другой ракеты на Луну, осуществленного восемь месяцев тому назад. То первое достижение было лишь мягким увещанием, обращенным к разуму людей. На этот раз предостережение уже не относится к людям вообще — оно непосредственно адресовано тем, кто, судя по всему, не понимает невозможности для них новой мировой войны, сколько бы ни печалил их этот факт».

* * *

Невольно возникает вопрос: почему люди Земли, в многотысячелетней титанической борьбе обжившие свою планету, поставившие себе на службу многие могучие силы природы, накопившие громадные культурные и материальные бо-

гатства, стремятся вырваться из зоны земного притяжения и унести в неведомые космические дали? Что это? Следствие нехватки воды, пищи, земли?

Нет, отвечает наука, всего этого с излишком хватит даже тогда, когда население Земли увеличится в несколько раз.

Быть может, это стремление вызвано желанием человека сбросить надоевшие ему оковы цивилизации?

Нет.

Тогда, быть может, прав известный немецкий физик Макс Борн, который недавно писал, что в космических полетах он видит лишь выражение человеческой страсти к приключениям, стремления человека к крайностям и к нарушению всех признанных границ?

Нет, тысячу раз нет! Ведь если бы Борн был прав, то всю гигантскую непрерывную цепь побед и поражений человека в его борьбе с природой следовало бы признать захватывающим дух, но бесполезным спортивным состязанием.

Это стремление людей, говорим мы, вызвано невиданными возможностями, которые открылись перед человечеством на пороге эры космоса.

Известно, что уже первые результаты научных исследований Земли, Солнца и других планет, полученные с помощью автоматических устройств — спутников и ракет, — обогатили советских ученых, позволили им раскрыть многие тайны природы.

Если, например, раньше считалось, что наибольшую опасность для будущих космонавтов представляют космические лучи и метеориты, то теперь есть точные данные для оценки степени этой опасности. В то же время выяснилось, что вокруг Земли имеется мощный пояс электрически заряженных частиц, захваченных магнитным полем Земли. Наибольшую напряженность этот пояс имеет над геомагнитным экватором, наименьшую — над магнитными полюсами Земли. (При спокойном состоянии Солнца).

Радиостанции космических автоматов передали на Землю и много новых сведений о земной атмосфере. Новые данные о высоте атмосферы свидетельствуют, что Земля окружена газовой оболочкой до высоты 2-3 тысячи километров, а не до 800 — как это считалось раньше.

Было время, когда даже среди ученых находились скептики, сомневавшиеся в возможности бесперебойной связи с космическими кораблями. Блестящие опыты советских связистов, обеспечивших надежную связь со спутниками, рассеяли и эти сомнения. Теперь автоматика, будучи поставленной на службу человеку, позволяет не только обеспечить связь и контроль за полетом космического корабля, но и направлять этот полет.

Все это и многое другое в познании космоса, включая и экспериментальные полеты в космос живых организмов, уже дали нам автоматические устройства се-

годня. А что принесут они нам завтра? Какие новые тайны природы откроют людям новые запуски спутников, космических кораблей?

Спутники-лаборатории помогут разгадать секрет происхождения таинственных космических лучей, идущих из мировых глубин. Ведь несмотря на то, что эти лучи обладают поистине фантастической энергией, изучение их в земных условиях очень затруднено из-за искажающего влияния атмосферы. Раскрытие же этой волнующей тайны природы несомненно позволит людям сделать еще один шаг по пути к познанию недр вещества.

С помощью этих же идеальных лабораторий будет раскрыта и тайна сил земного тяготения. Сейчас трудно даже предположить, что получили бы люди в результате этого открытия. Достаточно упомянуть хотя бы возможность появления в этом случае разнообразных «невесомых» летательных аппаратов.

Спутники можно будет использовать и в качестве заатмосферных астрономических станций наблюдения. За свою многовековую историю астрономия невероятно расширила кругозор людей. Она дала возможность людям увидеть вселенную в радиусе 2 миллиардов световых лет и довела совершенство своих инструментов до того, что сегодня мы можем уловить тепло спички на расстоянии в 300 километров и увидеть на Луне предмет величиной в 45 метров. Астрономы сделали почти невозможное. Но несомненно, что они сделают гораздо больше, если им не будет мешать пелена земной атмосферы.

С помощью спутников будут уточнены размер и форма земного шара, организована надежная служба погоды.

С помощью спутников, вероятно, можно будет производить поиски полезных ископаемых на Земле.

В космических лабораториях, расположенных на спутниках, можно будет почти без затраты усилий и средств получить идеальные условия для сложнейших экспериментов: почти абсолютный вакуум, температуры, близкие к абсолютному нулю, сверхвысокие температуры.

Всего три искусственных спутника понадобится для того, чтобы из одной точки земного шара осуществлять телевидение по всей Земле.

И, наконец, космические корабли-спутники могут стать своеобразной стартовой площадкой для предстоящего прыжка человека в космос — на Луну.

* * *

Луна для людей, пожалуй, самое «близкое», самое «родное» небесное тело.

Теперь, когда чарующая волшебница «сняла свою чадру» перед объективом советского фотоаппарата и показала

свою извечно скрытую половину «лица», особенно понятен интерес, который проявляют люди к попыткам ученых поближе познакомиться с нашей соседкой по «мировому океану».

Имеются ли, однако, и практические надобности к прыжку длиной почти в 400 тысяч километров?

— Несомненно, — говорят ученые.

Ведь Луна по одной из космогонических теорий в очень далекие времена отделилась от Земли. За это время на Земле произошли гигантские изменения: ветры, реки, моря, дожди совершенно преобразовали ее лик. В то же время на Луне, которая тотчас после отделения от Земли потеряла свою атмосферу, все осталось по-старому (силы тяготения на Луне из-за малого ее веса в шесть раз меньше, чем на Земле, поэтому Луне и не удалось «удержать» свою атмосферу). Рек, морей, ветров, дождей там не было. А раз так, то Луна представляет собой сегодня идеальный «музей древностей» нашей Земли. Посещение этого «музея» несомненно даст чрезвычайно много земным геологам.

* * *

Марс с древнейших времен гораздо больше, чем все остальные планеты солнечной системы, привлекал внимание жителей Земли. Объясняется это очень просто: на Марсе возможна жизнь, напоминающая нашу. Об этом говорят астрономы, об этом говорят астроботаники. Больше того, некоторые ученые утверждают, что жизнь на Марсе не только возможна, но и существует или существовала.

— Взгляните, — говорят они, — на правильные геометрические линии знаменитых марсианских каналов. Кто, кроме разумных существ, мог создать такие сооружения?

А таинственные спутники Марса — Фобос и Деймос?

Да, много еще тайн скрыто под красным плащом «Звезды войны».

* * *

Кроме Марса, в хороводе вокруг Солнца кружится еще семь больших планет: Венера, Меркурий, Плутон, Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и около полутора тысяч малых — так называемых астероидов.

Привлекут ли они внимание будущих астронавигаторов?

— Несомненно, — отвечают ученые. — Например, Венера, которую астрономы называют сестрой Земли (ее размеры, вес, сила тяжести почти такие же, как и у Земли), является объектом самого тщательного изучения. Кстати, эта «Утренняя Аврора» расположена к нам даже ближе, чем Марс. И если до настоящего времени нам о ней известно очень и очень мало, то объясняется это лишь ее

«скромностью» — белоснежное покрывало ее атмосферы надежно скрывает от земных наблюдателей тайны Венеры. В то же время само наличие этой атмосферы говорит о возможности существования там каких-то форм жизни.

Каких? Об этом расскажут первые ракетоплыватели, которые ступят на ее поверхность.

Интересно будет побывать исследователям и на других планетах, и на астероидах. Ведь астероиды, «летающие» в нашей солнечной системе по самым различным орбитам, могут быть использованы как средства передвижения по бесконечным дорогам космоса.

* * *

Итак, спутники-корабли... Луна — Марс — Венера... А дальше? Удовлетворится ли человек «завоеванием» планет нашей солнечной системы, или его корабли появятся в необъятных просторах других Галактик?

Сегодня, когда человечество делает лишь самые первые шаги по дороге в космос, очень трудно предугадать, куда приведет эта дорога. И все же мы твердо говорим: Человек полетит к звездам!

Его повлечет туда стремление к познанию Природы, к разгадке ее тайн — и прежде всего к разгадке ее самой волнующей тайны — тайны жизни.

Ведь во вселенной носится пыль жизни. И невероятно, чтобы одна яблоня в бесконечном саду Мироздания, — как писал Циолковский, — была покрыта яблоками, а все бесконечное множество других — одной зеленью.

Мечты! В самом деле, возможно ли все это?

«Мечты! — изрекают космические оракулы на Западе. Над человеком висит проклятие Икара. Ему никогда не удастся достигнуть Солнца. Что же касается полетов в другие Галактики, то они не только практически, но даже теоретически немислимы. Ведь ближайшая к нам звезда Проксима Центавра находится в

270 тысяч раз дальше от Земли, чем Солнце! Поэтому, если даже людям когда-нибудь удастся создать фантастические фотонные ракеты, летающие со скоростью света; если им удастся поднять эти ракеты в воздух и при этом избежать трагических последствий от воздействия на человеческий организм чудовищных ускорений; если окажется, что в природе действительно существует «парадокс Эйнштейна», который состоит в том, что для пассажиров ракеты, летящей со скоростью света, время течет гораздо медленнее, чем для людей, оставшихся на Земле, — даже если все эти условия будут выполнены, ни один человек не сможет перенести тяжести многолетних мук полета: он или сойдет с ума, или повернет ракету к Земле!»

— Нет! — говорим мы. — Это не мечты!

Мы знаем: в великой семье советских народов найдутся люди, которые смело отправятся в космический рейс. И поэтому мы верим: придет время, и прекрасные Миры Неизведанного радостно встретят первых посланцев нашей планеты, нашей страны.

* * *

Время как перспектива, сокращает историю, уходящую в даль прошлого.

Вероятно, поэтому плотность великих событий, разбросанных по дорогам веков, кажется нам сейчас большей, чем их современникам.

Вероятно, эта же перспектива времени нередко мешает людям уловить величие происходящего на их глазах.

Но бывают события, о которых тотчас по их свершении можно сказать: это начало очередного ЗВЕЗДНОГО ЧАСА человечества.

В звездные часы октября 1917 года на Земле родилась первая Социалистическая держава.

В звездные часы октября 1957 года эта держава создала первый искусственный спутник Земли.

Ал. Лесс

ГЕРОИ РАССКАЗА «СОЛОВЕЙ»

«На днях я рылся в бумажном мусоре, отыскивая какой-то неважный документ, и вот — нашел эту фотографическую группу, которая лет уже девять как не попадалась мне на глаза, и о ней я забыл окончательно.

Почему-то теперь, глядя на нее, я вздохнул так глубоко, так нежно и так грустно».

Этими словами начинает А. И. Куприн рассказ «Соловей».

...В мае 1914 года Куприн со своим другом — клоуном Жакомино — жил в Северной Италии, в маленьком курортном городке Сальцо-Маджоре. Курорт этот славился йодистыми источниками, оказывавшими благотворное влияние при лечении горловых заболеваний. Сальцо-Маджоре, пишет Куприн, было местом, «куда на летнее время стекались все хоть мало-мальски известные певцы и певицы... Мы жили в нашей «Надежде» очень дешево, дружно, беззаботно-весело... Промелькнул метеором, по дороге в Америку, необыкновенно толстый, но очаровательный Карузо... А потом как-то особенно прочно и надолго прижилась у нас прекрасная четверка: Ада Сари, Пинтуччио, Тито Руффо и кавалер Нанни — все первоклассные певцы с громкими именами, такие великолепные и недостижимые на сцене, в атласных и бархатных костюмах, с лагами, коронами, перьями, брильянтами и жемчужными ожерельями; такие простые, наивные, добродушные ребята в обыкновенной будничной жизни».

О своем пребывании в Сальцо-Маджоре, о дружбе с замечательными итальянскими певцами, о том, как однажды Куприн вместе с ними пел запрещенную революционную песню, заканчиваю-

щуюся словами: «E viva Italia e la Libertà!»¹, и повествует рассказ.

В Советском Союзе этот рассказ был впервые опубликован в «Литературной газете» года три назад, а затем вошел в шеститомное собрание сочинений Куприна, выпущенное Гослитиздатом.

* * *

Просматривая недавно литературный архив известного журналиста В. А. Рeginина, много лет дружившего с Куприным, я обнаружил среди рукописей и снимков маленькую фотографическую карточку. Возможно, я и не обратил бы на нее внимания, если бы в глаза не бросился своеобразный «почерк» фотографа и особая фактура бумаги. Чем больше я вглядывался в снимок, тем сильнее он привлекал меня. С огромным интересом я рассматривал запечатленный на фотографии групповой портрет. Узнать Куприна было нетрудно, тем более что рядом с изображением писателя стояла его подпись. А остальные? Кто они, эти люди? Как оказалось, то были Тито Руффо, Ада Сари, Пинтуччио, Энрико Нанни... Сомнений не оставалось: у меня в руках была та самая «фотографическая группа», о которой упоминает Куприн. И каждый из знаменитой четверки, впоследствии ставший героем рассказа «Соловей», скрепил своей подписью дружбу с большим русским писателем: Тито Руффо, Ада Сари, Пинтуччио, Энрико Нанни подарили Куприну свои автографы, расписавшись на фотографии. Таким образом он приобретает двойную ценность,

¹ «Да здравствует Италия и Свобода!» (итал.).

этот маленький снимок, сделанный почти полвека назад в Сальцо-Маджиоре.

При каких же обстоятельствах В. А. Регинин стал обладателем этой уникальной фотографии, которая хранится в его архиве вот уже 46 лет?

Как свидетельствует приложенная к фотографии «объяснительная записка», написанная Регининым, этот снимок Куприн подарил ему по возвращении из Италии. Куприн «с гордостью рассказывал мне, — сообщает Регинин, — о своей дружбе с лучшими певцами Италии». Писателя познакомил с ними клоун Жакомино. Он — в центре группы; рядом с Жакомино — прославленный баритон Тито Руффо, справа от Куприна — знаменитая певица Ада Сари.

* * *

На этом, собственно, можно было бы поставить точку. Но когда читаешь рассказ, написанный о реальных, к тому же известных людях, почти всегда возникает желание раздвинуть рамки произведения и заглянуть в действительность, лежащую за его границами. Меня заинтересовала дальнейшая судьба героев рассказа «Соловей». Как сложился их жизненный путь? Может быть, удастся узнать нечто новое о судьбе артистов, воспетых Куприным? Признаюсь, я не был уверен в успехе: ведь события, описанные в рассказе, отдалены от нас пятью десятилетиями! Тем не менее я принялся разыскивать интересующие меня материалы.

Сведения, полученные из Италии, были неутешительными: в 1940 году скончался Энрико Нанни. В 1953 году, в возрасте 76 лет, умер Тито Руффо; интересно отметить, что до последних дней своей жизни он вел самую важную для человечества работу — был членом Всемирного Совета Мира.

Дальнейшие поиски представлялись бесполезными. Однако совсем недавно

директор оперного театра в Варшаве Ежи Семков в ответ на мой запрос сообщил, что из героев рассказа Куприна «жива, здорова и работает в варшавском оперном театре в качестве педагога Ада Сари».

Я тут же написал ей письмо и послал в подарок фотографию.

И вот у меня в руках долгожданное ответное письмо, старательно написанное по-русски крупным, четким почерком Адой Сари.

...В 1913 году Ада Сари — молодая польская оперная певица — совершила большое турне по России. С огромным успехом она пела в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе. В ее репертуаре были партии в операх «Риголетто», «Таис», «Паяцы», «Демон», «Искатели жемчуга». Партнерами Ады Сари были великий итальянский певец Маттиа Баттистини и великий русский певец Леонид Собинов. А несколько месяцев спустя артистка приехала в Сальцо-Маджиоре.

«Там я и увидела А. И. Куприна, — сообщает в письме Ада Сари. — Выяснилось, что он слышал меня в Петербурге, и здесь, в Италии, мы встретились как добрые знакомые, хотя лично и не знали друг друга. Куприн производил впечатление обаятельного в своей простоте и на редкость умного человека. Мы действительно сдружились — Куприн, Тито Руффо, Нанни, Пингуччио и я. Мы весело проводили время, много гуляли, пели, рассказывали интересные случаи из своей жизни... Правда, скоро нам пришлось расстаться — ходили упорные слухи о готовящейся войне, и надо было поскорее возвращаться домой, пока не была закрыта граница.

У меня был рассказ «Соловей», я хранила его вместе с бесценными для меня подарками, но во время последней войны мой дом в Варшаве сгорел, и в огне все погибло.

Моя мечта — еще раз побывать в Москве. Не знаю, исполнится ли это мое горячее желание. Но думаю, что мне все же удастся его осуществить».

Вчера, сегодня, завтра

Из Азии, Африки, Латинской Америки... — Врач бракует работу конструктора. — Комнату привезут с завода. — Маршал благодарит школьников. — Таец, запечатленный в бронзе, мраморе, фарфоре.

ОНИ УЧАТСЯ В МОСКВЕ

Не считайте меня гостем!

На кафедру поднялся дипломант Камилль Бурджели. Он был взволнован, и его волнение невольно передалось всем, кто присутствовал в Литературном институте имени Горького на защите необычного диплома.

Этот день — примечательная веха на жизненном пути Камилля. Уроженец албанских гор, бывший партизан, один из организаторов вооруженного сопротивления албанского народа оккупантам — окончил Московский литературный институт. Первые произведения студента — песни партизан — и поныне любят и поют жители южной Албании. А сегодня Бурджели защищает дипломную работу — роман «Королевский конь и новые всадники», название которого аллегорично: умирает мир последнего короля Зогу и рождается свободная Албания. Борются за свободу новые всадники — люди из гущи народной.

Герой романа — албанский народ. Бурджели правдиво показывает его

судьбу, его дружбу с Советским Союзом.

...Албанская литература переживает зарю своего развития. Нов для нее жанр реалистической прозы. Албанские авторы написали пока десять романов. Многие из писателей — выпускники Литературного института. Фатмира Гията, Али Абдиходжа, Драго Силача, С. Спассе — все они учились у советской литературы, у ее лучших представителей.

Роман Бурджели, по отзывам оппонентов, это новый вклад в албанскую прозу. Проникновенно звучит заключительное выступление дипломанта:

— Не считайте меня гостем! Москва, институт учили меня, как учат сына. Сейчас я чувствую себя солдатом, уходящим на фронт. Прощаюсь с матерью и говорю ей, — жив буду — жди писем. Передо мной новая жизнь, новая борьба. Верю в светлое будущее. Ждите моих новых книг, родные москвичи!

Не чувствуют себя гостями и другие молодые иностранцы, приезжающие учиться в Москву. В столичных дворцах науки, в

библиотеках, общежитиях, клубах и лабораториях, среди юношей и девушек всех национальностей Советского Союза, как равные среди равных, встречаются посланцы стран народной демократии и других государств. Достаточно сказать, что в старейшем учебном заведении Москвы — Государственном университете имени М. В. Ломоносова — обучается свыше двух тысяч студентов из сорока семи стран мира!

Фиалка Тулузы

Немало стран облетели советские песни. Недаром говорится — песня не знает рубежей. Сотни тысяч зрителей за границей восторженно аплодировали ансамблям «Березка» и Игоря Моисеева, а Галина Уланова пленила страны Америки и Европы своим тонким искусством. Тысячи молодых людей за рубежом мечтают учиться на родине прославленных советских мастеров. Для многих эта мечта осуществилась.

В Государственном институте театрального искусства имени А. В. Луначарского можно увидеть вьетнамцев, монголов, болгар, китайцев, албанцев, венгров, индийцев и де-

вуху из озерной Финляндии.

Свыше пятидесяти иностранных студентов учатся и в Московской Государственной ордене Ленина консерватории. Это скрипачи и пианисты, вокалисты и дирижеры.

— Недавно мне довелось побывать во Франции, — рассказывает аспирантка консерватории Наталия Юзбашева. — Но еще в Москве я так ярко представляла себе замечательную страну. Мне рассказывал о ней французский пианист Жерар Фреми, учившийся вместе со мной в консерватории. А юная француженка — пианистка Блондин Кристи совсем породнилась с нами. Она вышла замуж за советского музыканта и навсегда остаётся в Советском Союзе. Москва стала для нее второй родиной.

Во Франции приветливое отношение к нам, советским людям, мы чувствовали на каждом шагу. Особенно запомнился концерт на одной из больших площадей Тулузы. После концерта зашла я в магазин купить конверты и марки.

— С каким удовольствием мы слушали вашу игру, я и моя восьмилетняя дочь Эвелина — она ведь тоже пианистка, — сказала мне владелица магазина. Девочка застенчиво протянула мне флакон духов «Фяллка Тулузы». — Пусть будет он памятью о нашем городе, — взволнованно сказала женщина, — о нас — почитателях советской музыки!

Я бережно храню этот трогательный сувенир. Как знать, может быть, недалек тот день, когда я снова встречу маленькую Эвелину, но на этот раз в стенах Московской консерватории.

Место рождения — сполица СССР

Провожать маленького Юргена Рихтера вышли все ребята восьмой группы. Юрген уезжал в Бер-

лин. Его родители — студенты, приехавшие из Германской Демократической Республики, окончили Московский университет и возвращались на родину. Всем было жалко расставаться с Юрой — так называли его маленькие приятели.

— Не забывай нас, Юра, не забывай! — кричали они, махая руками. И Юрген не забыл! Недавно в Дом ребенка № 2 пришло письмо из Берлина. Супруги Рихтер прислали фотографию сынишки с надписью: «Большое спасибо за хорошее воспитание».

...Нередко жизнь маленьких иностранцев начинается в Москве. Свои первые слова они произносят на русском языке. Их окружает забота советских врачей, сестер, педагогов... Немало детей зарубежных друзей зрелости Дом ребенка № 2. Здесь воспитываются обычно сыновья и дочери студентов — иностранцев, родившиеся в Советском Союзе. В Доме ребенка № 2 росли румынка Дойна Костан и чешка Ира Шимек, поляка Гражина Селяк и испанец Хосе Саболета...

— Я часто мечтаю о том, что мои питомцы когда-нибудь обязательно встретятся, — говорит главный врач Елена Степановна Жучина. — Может быть, Юрген Рихтер снова приедет в Советский Союз, а может быть, побывает в Монголии Дойна Костан или Мишу Булкина привлечет синее небо золотой Праги. Я верю в эти встречи, верю, что произойдут они в прекрасной новой жизни, в цветущем мире без солдат и оружия!

Улица Калинина, 16

Во время исторической миссии дружбы и мира в Индонезию Никита Сергеевич Хрущев объявил в Джакартском университете об открытии в Москве Университета дружбы народов. Учиться в нем сможет молодежь

Азии, Африки, стран Латинской Америки. С ликованием приняли эту весть тысячи юношей и девушек. В Москву, на улицу Калинина, 16, где находится приемная комиссия, полился поток писем.

Пишут из Нигерии, Берега Слоновой Кости, Японии и Сингапура, Пакистана и Сирии, Алжира и Ливана. Заявления уже пришли из 74 стран мира. Это, по большей части, письма тех, кто в условиях своей страны не может получить высшее образование.

Ливанский юноша Диас Хаким мечтает стать врачом. Он пишет: «...Высшее образование в нашей стране практически недоступно для широких народных масс. Имеющиеся в стране два университета — иностранные, обучение в них стоит очень дорого — 50 процентов месячного заработка».

А двадцатичетырехлетний гвинеец Канте Кабине не захотел доверить свою мечту бумаге: он сам привез в Москву заявление! Горячо говорит Кабине о своей стране: «Богата Гвинея. В ней есть железо и алюминий, нефть и алмазы. Но мало у нас промышленных предприятий, техники. Вот почему колонизаторы могут эксплуатировать наши национальные богатства. Хочу быть инженером, хочу работать на благо гвинейского народа».

На улицу Калинина, 16, приходят письма и много содержания: московские профессора и преподаватели предлагают свои знания новому университету. Руководитель лаборатории износоустойчивости научно-исследовательского института Стройдормаш Ф. Н. Львов предложил преподавать студентам в лаборатории курс долговечности машин. А доктор биологических наук профессор А. П. Кузьякин преподносит в дар университету свою уникальную коллекцию: 240 видов птиц и 180 видов грызунов.

Пройдет некоторое время, и в новый универ-

ситет приедут студенты. Им предоставят стипендии, учебные помещения и кабинеты, общежития. На-

чнется первый учебный год. В добрый час, посланцы дружбы и мира!

Л. Дарова

ВЕТО ДОКТОРА СТРИЖАК

Деревня Калитино не спеша живет лишь зимой. Опытные участки машиноиспытательной станции, или, как называют ее здесь, МИС, занесены в эту пору глубоким снегом. Но в первый весенний день, уже на рассвете, в дома врывается гул моторов. Сизый дым висит целыми днями над полями и рассеивается лишь тогда, когда умолкает последний трактор. Люди торопятся, и это понятно, — лето коротко, а предстоит испытать еще столько машин! Только в этом году — пятьдесят восемь моделей.

МИС — это государственный контроль новой сельскохозяйственной техники. Плуги, тракторы, комбайны, жатки, сноповзакатки, сеялки, зерносушилки, бульдозеры для корчевки пней и камней, машины для защиты растений — каких только новинок вы здесь не увидите!

При тихой погоде в деревню доносятся гудки маневрового паровоза. Это на маленькую железнодорожную станцию Кикерино прибыл новый груз для Калитино с заводов сельскохозяйственного машиностроения. Испытатели тщательно исследуют каждый винтик присланной машины. Ведь они не только испытатели, но и зоркие помощники конструкторов, хотя и не всегда их единомышленники.

— Не всегда, — подтверждает директор станции агроном Георгий Иванович Ведищев. — Мы не так уж часто доставляем радости конструкторам. Путь к совершенству, как известно, нелегок. А мы требуем от конструкторов, чтобы каждая новая машина была неизмеримо лучше своей предшествен-

ницы. Модели могут быть разными, только требования к ним всегда одинаковы — прочность, безопасность, экономичность, гуманность.

— Гуманность?

— Да, наша машина не должна утомлять человека. Я могу рассказать вам, как мы браковали, не разрешая пуска в серию, самые совершенные машины, очень нужные нам. И браковали только потому, что они утомляли водителя.

Георгий Иванович приглашает к себе в кабинет инженера-механика машиноиспытательной станции Льва Валентиновича Масловского, и я узнаю историю испытания одного комбайна.

Завод в Таганроге построил опытный образец нового комбайна, конструкторски очень интересного. У него не было соперников.

— Мы сразу высоко оценили этот экспериментальный экземпляр, сделанный в Таганроге для испытания на нашей станции, — заметил директор Ведищев. — Мы, — добавил он, — это — инженеры, агрономы, экономисты. Совершенно противоположного мнения придерживалась Марина Клементьевна Стрижак. Она изложила это мнение весьма кратко и ультимативно: «Не разрешать к производству». Вас интересует, кто эта женщина? Рядовой врач. Член комиссии по испытанию машин. Она запретила пуск в серию этого комбайна на самоходном шасси. И мы с ней согласились.

...Валентин Яковлев, опытный водитель машиноиспытательной станции, уже третий день чувство-

вал какое-то недомогание. Он вел машину на малых оборотах, сонный ритм мотора увеличивал качку. На каждой неровности отлогого холма комбайн дергалось. Глядя в спину удалявшегося водителя, врач Стрижак что-то записывала в своем блокноте. Как далекий прибор, доходил до нее шум комбайна, присланного таганрогским заводом. Она различала его среди многих звуков. Стоя на косогоре, Марина Клементьевна ждала, когда подъедет Яковлев. Машина вздрагивала, гудела, поспешно поворачивала туда, куда вели ее сильные руки Яковлева. А он раскачивался, подпрыгивал на сиденье. Когда в обеденный перерыв водитель подъехал к полемому стану, врач сказала инженеру-механику Масловскому:

— Лев Валентинович, представьте себя на минуту моим подопытным, пройдите-ка на разных скоростях километр пять-шесть, испытайте вибрацию кабины, а мы с Яковлевым посоветуемся.

И из рассказа Яковлева Марина Клементьевна поняла, что водителя утомили эти несколько часов, проведенные в кабине самоходного шасси.

— Не пойму, — говорил он смущенно, — что это со мной — гудит голова.

С этого момента власть над новой машиной взяла в свои руки доктор Стрижак. Она неотступно следовала за комбайном в поле и вместе с механиками вела все записи испытаний. Если бы прочесть их, мы нашли бы и такие строки: «Конструкторы все учли, но забыли о Яковлеве. Я имею в виду всех будущих водителей этого комбайна». И еще были строки в ее блокноте: «В кабине тряска, как в штормовую погоду на море». «Проверить срочно — во сколько раз амплитуда колебаний кабины превышает допустимые нормы».

— Путь к признанию каждой машины очень

труден. Он неизмеримо сложнее, чем мы представляем его себе,— сказал мне директор станции и, отвлекшись на минуту, вспомнил еще один случай, как комиссия инженеров, механиков, агрономов принимала недавно канавоочиститель.— Мы могли бы обойтись без врача,— заметил директор,— но Марине Клементьевне показалось, что тракторист Леонид Пехо как-то неестественно сидит за рычагами, испытывает неловкость, когда ему нужно повернуть голову и проследить за работой канавоочистителя. Проверили ее наблюдения на других водителях, и оказалось, что врач прав — машина сконструирована неудобно. Наша станция не разрешила ее в производство.

— Так чем же закончились испытания таганрогского комбайна? — спросил я Ведищева.

— Предложили заводу изменить конструкцию шасси, сделать для кабины водителя амортизационное устройство, снять жесткую подвеску.

...Маленькая делегация — всего два человека — держала путь с тихой железнодорожной станции Кикерино в Москву. Испытатели машин ехали на заседание Технического совета Министерства сельского хозяйства СССР. Из Таганрога на это же заседание был вызван главный конструктор комбайна.

— У модели превосходные качества,— сказал на Совете Министерства старый инженер Масловский,— прочность, экономичность, легкость, маневренность. Очень красив комбайн внешне. Но последнее слово сказали о комбайне не мы, механики, и не агрономы, а врач. Никто не властен в Калитине отменить это слово.

И в Москве, на заседании Технического совета Министерства никто не отменил запрета сельского врача. Вето доктора Стрижак стало законом.

А. Лазебников

Деревня Калитино,
Ленинградской области.

дет так: только что отлитая железобетонная коробка плывет по конвейеру в сборномонтажные цехи завода. Здесь она оборудуется всем необходимым: раковинами, ваннами или кухонными шкафами, а оттуда попадает в оформительский цех. Что сделают здесь с блок-комнатой — трудно предсказать: технология отделочных работ на грани революции. Штукатурка уже не удовлетворяет ни строителей, ни жильцов, а возможность применять вместо обоев, паркетных полов различные пластмасы и пластики так велика, что невозможно предугадать на каком именно материале остановят выбор. Во всяком случае блок-комната примет жилой вид и, по всей вероятности, будет даже обставлена мебелью.

В таком виде блок-комната попадает на строительную площадку. И здесь вступает в действие воспетый в романах и поэмах, но тем не менее очень неуклюжий и несовершенный, башенный кран. Неторопливые монтажники зачаливают тросы, поднимают блок-комнату, приваривают ее. Машина уступает место человеку.

Говорят, что самая крепкая цепь не может быть крепче самого слабого звена. Слабое звено в автоматическом процессе — монтаж здания.

Давно уже наши инженеры-строители задумывались над тем, чем заменить башенный кран. Но вот недавно профессор И. И. Загреев предложил принципиально новую конструкцию подъемного крана. «Универсальный монтажный автомат» — так назвал он свое изобретение.

Представьте себе лифт, увеличенный до размеров комнаты средних размеров. Лифт этот, подобно башенному крану, передвигается по рельсам вдоль строящегося здания.

Тяжелый домовой осторожно подает прицеп с блок-комнатой в клеть

ЛИФТ ВМЕСТО КРАНА

Позволим себе некоторую вольность и перенесемся в читальный зал библиотеки 1985 года. За одним из столов сидит студент строительного института. Он листает подшивку старых газет. Увидев на фотографии панораму строительства, студент с досадой захлопывает подшивку. Что же взволновало его? Что возмутило?

Представьте себе, крапы... Те самые башенные краны, которые плавно движутся над городами, чаруя поэтов, писателей и журналистов, рассказывающих о строителях. Да простят мне они, но правы не они — поэты, писатели, журналисты,— а их потомок, который презри-

тельно, с нескрываемой иронией смотрел на эмблему современного строительства — башенный кран.

Наше строительство все больше и больше переходит на индустриальные рельсы. Ближайшая задача конструкторов, архитекторов, инженеров-домостроителей — создать удобный и красивый дом из объемных элементов. Впрочем, несколько типов таких домов уже создано. Нужно решить, какой из них выгоднее, лучше, удобнее.

Это — вопрос ближайшего будущего. Вскоре мы сможем пойти на экскурсию на завод-автомат, выпускающий многоквартирные дома. Выглядеть он, по всей вероятности, бу-

лифта. Крановщик из расположенного сверху монтажного автомата машинного отделения захватывает блок-комнату специальным приспособлением и подает ее вверх, на монтажную площадку.

Захватывающее приспособление может выдвигаться во всю ширину строящегося дома. Четко, с предельной точностью оно устанавливает блок-комнату на ее место. Затем крановщик включает сварочные аппараты, пять минут — и в строящемся доме появилась еще одна

квартира. Все монтажные работы, установка лестничных маршей, площадок, крыши — по идее автора — тоже производит машина-автомат.

Сейчас готовится технический проект универсального монтажного автомата. В ближайшее время начнется изготовление опытного образца машины, которая, возможно, и вытеснит с монтажных площадок дорогостоящие башенные краны.

М. Толмачев

ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОТРЯДА

Мое знакомство с этими исключительно интересными экспонатами началось с посещения Дома Союзов, где происходил туристский праздник, посвященный итогам походов и экспедиций 1959 года. К сожалению, не все экспонаты могли быть здесь представлены.

Одна из выставок разместились в специальной средней школе № 3. Ее собирали школьники, которые во время летних каникул совершили увлекательный поход. Они прошли 160 километров пешком, ехали по железной дороге, плыли по реке. Ребята не отказывались от свойственных их возрасту развлечений, но это не мешало им со всей серьезностью отнестись к делу, ради которого они совершили поход, возвращающий нас к незабываемым дням обороны героического Ленинграда.

...Это было год назад. Руководитель комитета ДОСААФ Ю. Р. Барановский, бывший начальник разведки артиллерийской стрелковой бригады, награжденный орденом Красной Звезды за прорыв блокады Ленинграда, предложил ребятам собрать сведения о боевой

деятельности войск на хорошо знакомом ему Волховском фронте.

Комсомольская группа девятого класса горячо откликнулась на это предложение. Участвовать в походе пожелали сто тридцать старшеклассников.

Энергичные, живые, любознательные ребята стали работать на стройках, разносить почту. Таким образом они скопили на свою экспедицию десять тысяч рублей.

Настал июль, и экспедиционный отряд выступил в поход по маршруту Новгород — Кириши — Петрокрепость — Ленинград.

По местам боев до Новгорода вел ребят генерал Т. А. Свиклин. Он рассказывал школьникам о мужестве защитников Родины, о кровопролитных боях под Мясным Бором. Здесь 2-я Ударная армия с конным корпусом генерала Гусева прорвала оборону противника.

В четырех километрах от Мясного Бора, в сильно заболоченной лесистой местности, находилась «Долина смерти». Весной и летом 1942 года войска 2-й Ударной вели здесь кровопролитные бои.

Каждый участок по

несколько раз переходил из рук в руки. Полоса переднего края была сплошь изрыта снарядами, усеяна оружием и снаряжением.

Связавшись с саперами, ребята смело пошли в разведку. Они пролезли в болота, куда после войны не ступала нога человека.

В Зеленцах, близ 83 километра, в заболоченной роще участники похода обнаружили следы боя, который вела группа советских воинов. Они погибли при вынужденном отходе наших частей. На одном медальоне с трудом удалось прочесть: «Мухачев Василий Яковлевич». Позже, в ответ на запрос, ребята получили письмо, из которого узнали, что Мухачев — родом из города Шадринска.

День за днем учащиеся писали в путевых дневниках о встречах с людьми, которые помогали им «открывать» героев.

В деревне Русска, Новгородской области Т. Тихонова сообщила не известные ранее подробности гибели попавших в плен к гитлеровцам трех офицеров — А. А. Красноборова, М. С. Романюта и П. Ф. Фрыкина.

— Дело было так, — рассказывала Тихонова. — Эти офицеры стояли в доме моей матери. В январский день 1944 года они пошли на аэросанях в разведку, были захвачены врагом и зверски замучены. У каждого на лбу гитлеровцы выжгли звезду. Жители с почестями похоронили воинов в своей деревне, а в 1956 году их останки были перенесены в деревню Холынья, на кладбище. На могиле героев установлен пропеллер от аэросаней.

Замечательную выставку посещают бойцы, офицеры, генералы, писатели, скульпторы, педагоги. Они оставляют в книге для посетителей взволнованные записи.

«Признаюсь, что не ожидал увидеть такую содержательную выставку в школе, — пишет генерал-майор Городилов. — Учащиеся сделали хорошее,

благородное дело. Молодцы!»

«Все, что представлено на этой выставке, поражает воображение даже бывалого солдата,— пишет генерал-майор Копылов.— Если бы это были раскопки, тогда другое дело. Но ведь все, что здесь экспонировано,— собрано руками ребят непосредственно на поле битвы, отшумевшей еще не так давно... Такой поход не может не сказаться благотворно на духовном облике его участников».

«Вот так я себе представляю настоящую, живую работу учителя с ро-

манткой!» — восклицает скульптор, лауреат Сталинской премии Кербель.

Собранные школьниками материалы пополняют богатейшие фонды Центрального музея Советской Армии.

Недавно маршал Мерецков, командовавший в годы войны Волховским фронтом, принял участников экспедиции, дал высокую оценку их работе и поблагодарил ребят.

Нынче школьники отправились в очередной поход по местам боев на Западном фронте.

Э. Шолок

БАЛЕРИНА И СКУЛЬПТОР

В этих двух комнатах десятки отличных скульптурных портретов. Скульптор Елена Александровна Янсон-Манизер запечатлела многих выдающихся мастеров советского балета. Ольга Лепешкина... Майя Плисецкая... Райса Стручкова... Вера Каминская... Статуетки передают изящество, грациозность и поэтичность вдохновенного танца.

Но больше всего привлекает взгляд образ Галины Улановой. В мраморе, в бронзе. В гипсе и пластине. В дереве и фарфоре. Стремительная, легкая, почти невесомая, в движении гармоничном и уравновешенном, точном и технически совершенном, балерина предстает во всем многообразии своего искусства.

Елена Александровна показывает первую свою работу над образом Улановой. Мария, задумчиво сидящая в гареме... Как трогательна она в своей горестной тоске! А вот другая Мария. Хрупкая, нежная, мятущаяся. Она подняла руку, будто хочет закрыться от Гирея.

Мы идем по мастерской, и везде я вижу Уланову, Жизель, Лебедь... Сколько же их, портретов танцующей Улановой? Не было за четверть века такого образа, воплощенного балериной на сцене, который не отразился бы в творчестве скульптора.

Мы рассматриваем работы Елены Александровны, и я задаю ей вопрос за вопросом.

— О чем говорим во время сеансов? Могу сказать, что специфические женских разговоров не ведем. Ни о туалетах, ни о знакомых. А вообще-то скульптор обычно больше слушает. Говорить положено натуре. Но эта моя натура довольно молчалива, сдержанна. Хотя должна сказать...

Елена Александровна лукаво смотрит на меня и со вздохом продолжает:

— К моим работам Галина Сергеевна относится очень строго. Она ведь, как и скульптор, очень хорошо знает анатомию, пластику движений и следит, правильно ли передан характер танца, позы... С нею работать непросто, но приятно.

Одна из работ скульптора — «Танцующая Уланова» установлена в ленинградском парке имени Кирова и Центральном парке культуры и отдыха в Москве.

Чем сейчас занята Елена Александровна? Какие ее волнуют образы?

Скульптор подходит к маленькому станку, на котором стоит пластилиновая фигурка Улановой в роли Тао-Хоа.

Она стоит на колене, в обеих руках ее — вееры. Это финал танца с веерами.

— Я видела ее много раз в «Красном маке», — говорит скульптор. — Мне казалось, что знаю уже наизусть партию Тао-Хоа. Но вот пошла на спектакль и вижу вместо обычного приседания в финале танца с веерами балерина опускается на колено, и весь рисунок финала меняется, приобретает новую окраску. Конечно, я не могла не отразить эту новую страничку в старой партии...

Елена Александровна помолчала, отошла к большому окну, у которого стоит другой станок с пластилином, приготовленным для новой работы.

— Что это будет, Елена Александровна?

— Галина Сергеевна в танце. Хочется создать общенный образ. Уланова танцует. Это — и Джульетта, и Мария, и, быть может, это будет новый образ, который она еще создаст...

Вот так и длится до сегодняшнего дня знакомство балерины и скульптора, которое началось еще в декабре 1934 года.

Почти каждый раз балерина вносит что-то новое в свой, казалось бы, известный уже танец. И каждый раз скульптору хочется это новое удерживать в изваянии, остановить неповторимое мгновение, передать его будущему.

Бор. Надеждин

«МОСКВА» — ЧИТАТЕЛЯМ

ДО КОНЦА 1960 ГОДА НАМЕЧЕНО ОПУБЛИКОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Н О В Ы Е Р О М А Н Ы:

Л. Никулин — «ТРУС»; Елизар Мальцев — «СТУЧИТЬСЯ В КАЖДУЮ ДВЕРЬ...».

О К О Н Ч А Н И Я Р О М А Н О В:

О. Гончар — «ЧЕЛОВЕК И ОРУЖИЕ»; Э. Хемингуэй — «ЗА РЕКОЙ, В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ».

Н О В Ы Е П О В Е С Т И:

Ю. Пиляр — «ПОЗДНЕЙ ВЕСНОЙ»; Г. Беленький — «ТЫ НЕ ОДИН»; К. Симонов — «ШТРИХИ ЭПОПЕИ».

К Р О М Е Т О Г О

будут опубликованы и другие произведения советских писателей и журналистов, посвященные современности и героям наших дней — людям науки и труда:

Г. Блок — «С НАМИ РЯДОМ — КОСМОС»; М. Демин — «ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ»; Бор. Ефимов — «ВОСПОМИНАНИЯ ХУДОЖНИКА»; С. Марков — «ОТ МОСКВЫ ДО ЗАБАЙКАЛЬЯ»; Вл. Немцов — «В БОРЬБЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО»; Л. Подвойский — «ЗАВОДСКИЕ БЫЛИ»; Е. Шевелева — «У НАС В ИНДИИ...»

В книжках журнала печатаются также поэмы и стихи; литературно-критические статьи и рецензии на книги советских писателей, материалы под рубриками «Дела и люди семилетки», «Заметки публициста», «Живое прошлое» и «Юмор».

Под рубрикой «Страницы минувшего» будут напечатаны воспоминания И. Шнейдера «АЙСЕДОРА ДУНКАН».

В НАЧАЛЕ 1961 ГОДА
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОПУБЛИКОВАТЬ

Р О М А Н Ы:

Аркадий Васильев — «ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ»; Ф. Вигдорова — «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»; Алва Бесси — «АНТИАМЕРИКАНЦЫ» (перевод с английского); Г. Семинихин — «НАД МОСКВОЮ НЕБО ЧИСТОЕ»
и другие ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПОЭМЫ, СТИХИ, ОЧЕРКИ И СТАТЬИ.

СВОЕВРЕМЕННО ВОЗОБНОВЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ
НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 1960 ГОДА, ТАК КАК
В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЖУРНАЛ ПОСТУПАЕТ
В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ.

